

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗ НАСТОЯЩЕГО



НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗ НАСТОЯЩЕГО

*О. Седакова
В. Бибихин
А. Шмаина-
Великанова
А. Ахутин
А. Вустин
С. Хоружий*

Москва
Издательство
гуманитарной литературы
2000

УДК 00
ББК 70
Н 37

Нз7 **Наше положение: Образ настоящего / О. А. Седакова, В. В. Бибихин, А. И. Шмаина-Великанова, А. В. Ахутин и др. — М.: Издательство гуманитарной литературы, 2000. — 304 с.**
ISBN 5-87121-023-6

Российская ситуация в начале III тысячелетия, взятая в ее интимной, жуткой и обещающей сути минуя поверхность властного скандала и журналистики. Судьба страны, настроение современного человека, поэтическое пророчество, вера и церковь, правда спасения определяют направленность внимания.

Книга касается всех.

УДК 00
ББК 70

ISBN 5-87121-023-6

© О. А. Седакова, 2000
© В. В. Бибихин, 2000
© А. И. Шмаина-Великанова, 2000
© А. В. Ахутин, 2000
© А. К. Вустин, 2000
© С. С. Хоружий, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

<i>О. Седакова.</i> Путешествие в Тарту и обратно	7
<i>О. Седакова.</i> Элегия, переходящая в реквием	37
<i>В. Биbihин.</i> Нищета философии	43
<i>О. Седакова.</i> Морализм искусства, или О зле посредственности	54
<i>В. Биbihин.</i> Власть России	67
<i>О. Седакова.</i> Ничто	80
<i>В. Биbihин.</i> Наше положение	81
<i>С. Хоружий.</i> Наше положение как повод для раздражения	86
<i>В. Биbihин.</i> Герой нашего времени	88
<i>О. Седакова.</i> При условии отсутствия души	104
<i>О. Седакова.</i> Поэзия и антропология	112
<i>В. Биbihин.</i> Сильнее человека	123
<i>О. Седакова.</i> Письмо	129
<i>О. Седакова.</i> Речь при вручении премии имени Владимира Соловьева	131
<i>О. Седакова.</i> Успех с человеческим лицом	141
<i>О. Седакова.</i> Памяти поэта	149
<i>А. Ахутин.</i> Анкета	154
<i>О. Седакова.</i> Учитель музыки	187
<i>О. Седакова.</i> Маруся Смагина	198
<i>А. Вустин.</i> Музыка — это музыка	205
<i>О. Седакова.</i> Походная песня	217
<i>А. Шмаина-Великанова.</i> О новых мучениках	218
<i>В. Биbihин.</i> Старец Таврион	226
<i>О. Седакова.</i> В ожидании ответа	242
<i>В. Биbihин.</i> Единство веры	252
<i>В. Биbihин.</i> Родосская декларация	261
<i>А. Шмаина-Великанова.</i> Образ первоначальной Церкви в Одах Соломона	263
<i>В. Биbihин.</i> Вера и культура	273
<i>В. Биbihин.</i> Эстетика Льва Толстого	275
<i>А. Шмаина-Великанова.</i> Поэзия как выход из богословского тупика: «Доктор Живаго» и его последствия	280
<i>В. Биbihин.</i> Путешествие в будущее	292
<i>О. Седакова.</i> Дождь	303

О. СЕДАКОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТАРТУ И ОБРАТНО ЗАПОЗДАЛАЯ ХРОНИКА

Еще подобно царство небесное дырявому мешку.
Евангелие от Фомы

I.

Объявили то, что, в общем-то, уже давно ожидалось: Юрий Михайлович умер. Сам он не скрывал, что оставшиеся ему годы, после смерти Зары Григорьевны, он видит как эпилог — и, вероятно, не слишком пространный.

Эпилог! На языке классической драмы жизнь человека при позднем социализме состояла из двух частей: из несколько затянутой экспозиции — и непосредственно следующего за ней финала, многоступенчатого и многолетнего, финала длинной во взрослую жизнь. Кульминации и развязки не предполагалось: для этих композиционных узлов необходим герой, необходимо действие. Что же говорить об эпилоге. Редко дело доходило до завязки. «Вся жизнь впереди!» пел в своей вечной экспозиции человек тех лет, а про себя знал: ах, давно, давно и необратимо позади. Да впрочем, и позади — что там было? было ли вообще что-нибудь, как заметил классик этой литературы?

Известие о кончине Юрия Михайловича произвело ясное впечатление, оптическое и звуковое: свет потушен, музыка голосов рассыпалась и стихла, гости расходятся. Ассамблея кончилась. И уже во внешней темноте, где, как всегда, непогода и бездорожье, оглядываясь на опустевшие окна, мы не верим себе, что только что было так хорошо.

Свет — или блеск? возразит мне кто-нибудь: свет ума или блеск интеллекта? Пускай блеск, отвечу я, но попробуйте блистать в наших окрестностях — посмотрим, что у вас получится. В глухие дни нашей юности, во времена тусклые и мутные, среди косноязычия, неуклюжести и тяжелой несообщительности — нет, все-таки не блестела: сияла нам далекая рабочая лампа в почти иностранном Тарту. Блеск Школы Лотмана, поздний свет Просвещения, грация свободной мысли и прелесть обхождения *своих* людей.

О, грозный быт семидесятых! На передовой линии борьбы за мир, на идеологическом фронте. («Работники идеологического фронта! Крепите...») — так приветствовал входящего Институт Информации, куда я носила свои рефераты, секретные обзоры американского достоевсковедения: «Работники идеологического фронта! Крепите...» не помню, что именно следовало крепить.) Вы не забыли еще этих вещиц отечественного производства? Каждая мыльница глядела танком, снятым с вооружения за моральную устарелость. Как правило, все эти вещи не очень открывались и закрывались, пачкали руки, прищемляли пальцы, но боевое свое задание они исполняли и на последнем дыхании: они смотрели тебе в душу прямыми глазами Родины: Руки вверх! ни с места!

И вот, среди этих незабвенных мыльниц разного наименования, среди сограждан, выходящих на охоту за мылом и другими предметами первой необходимости, задевая при этом друг друга всеми частями тела и поклажи и неотразимо парирруя любой вопрос, обращенный к ним: «своих глаз что ли нет!» — среди всего этого, в казенном помещении с портретом генсека, погребальными скатертями и пехотными стульями — одним словом,

*Посреди приемной советской,
Где все могут быть сожжены,*

как в последних стихах Блока...

— Сударыня, что я могу для Вас сделать? принести печенья? — профессор Лотман, *тот самый* Лотман с умной улыбкой стоит передо мной, приглашая к чаепитию после ученой части.

Кто помнит, как все оно было (боюсь, мало кто помнит, и непременно заметят, как тогда, что я *очерняю и преувеличиваю*, и, как тогда, обидятся: «А ты-то кто? ты что, не у нас росла?»), но кто помнит, вряд ли возразит, что простой свет учтивости был тогда вещью более чем *самодостаточной*. Что ему чего-то не доставало. Тепла, например. И много ли тепла в Пушкине? Тонкий холод, светлое безучастие.

*Колокольчик небывалый
У меня звенит в ушах.*

Как славно, что он звенит, не заботясь о нашей пользе.

Ах, не надо мне жечь сердце никакими глаголами, мне не нужно ни жгучей правды, ни овечьего тепла, и таинственных изгибов неизъяснимой глубины мне давно не нужно; мне нужно ощутить на лбу холодные умытые пальцы, легкое прикосновение опрятной души. Это значит: сиделка здесь, врач неподалеку, звенит крахмалом госпитальная белизна прохладных небесных риз.

*На заре . . . алой
Серебрится снежный прах.*

Вот что в конце концов я назову свободой: возможность предпочесть чистоту всему прочему. Не поставить никакого эпитафия, если единственно правильный не приходит на ум.

На заре морозной алой,

дописал эту строку композитор Свиридов. Он окутал пушкинские слова звуковым волшебством, которое всякий сразу узнает как волшебство. Конечно, волшебство таким и бывает. Это бесспорно, как и то, что зимняя заря — морозная. Но Пушкин почему-то этого не сказал! И волшебство его, если это волшебство, так сразу не узнаешь: оно *небывалое*. Оно не звучит и не действует, а молчит и ждет.

Холод структуралистского словаря и бескомпромиссного рационализма блестел, как стеклянные лабораторные сосуды в воде, как слово «скальпель», как само это легендарное имя, холодное и светлое на слух: Лотман.

Юрий Михайлович умер. Мутное начало новых времен расходилось все шире. Город Тарту, некогда Дерпт, когда-то Юрьев, уже не первый год был за границей.

2.

Этим обстоятельством объясняется то, что поездка на похороны Юрия Михайловича начиналась в эстонском посольстве. С той любезностью, которую мы привыкли называть европейской, и той широтой, которую принято считать российской, эстонское правительство безотлагательно и бесплатно выдало въездные визы всем, кого ожидали на похоронах, по списку. Но сложность состояла не только во въезде в другую страну: нужно было еще выехать из своей. Для этого также тре-

бывалась виза, и ее-то никто не собирался давать в особом порядке. Лотман не был даже российским академиком. Так что разрешение на выезд поспело бы не раньше, чем к сороковицам.

Если не брезговать деталями, сообщу, что выездная виза требовалась только тем, у кого заграничный паспорт был определенного типа: такого, как у меня. И решив, что Бог даст обойдется, что выезд, как-никак, не въезд, тем более, ввиду крайне скорого возвращения, я присоединилась к удачливым обладателям паспортов другого образца. Обнаружив, тем самым, что в отношении правового сознания я не далеко ушла от чеховских мужиков. Может быть, впрочем, право наше ушло дальше: сознанию оно не поддается. Его понимают чем-то другим.

3.

Нас было много. Легче назвать, кого там не было, кто из «наших» не ехал в этом вечернем поезде на северо-запад, в недавнюю «свою», а теперь просто Европу. Почти просто. Не было главным образом тех, кто в это время трудился далече, в других университетах, откуда наш запад видится на востоке, а наш почти свободный мир располагается в «пост-тоталитарном пространстве».

В самый раз вспомнить историю и географию. И, конечно, их вспоминали на следующий день, на поминальном обеде. Пока же время шло ко сну.

Мне с детства нравился железнодорожный сон, как нравится не сладкое, а крепкое, как может нравиться болеть или быть в плену, как Пушкину нравилась поздняя осень и чахоточная дева. Странствие и болезнь — лучшие из дней нашей жизни, заметил меланхолический библейский автор, «ибо скоро проходят». И потому еще, что в такие времена можно утешаться собственной невинностью: больше сейчас ничего не придумаешь, ход событий целиком взят из твоих рук. Если жизнь есть сон, то эпизоды болезни сняты на шаткой верхней полке.

Так вот, кто-то из тех, кто ехал сейчас, обсуждая последний доклад Аверинцева и другие умственные новости, назавтра, взяв слово, сказал, что впервые ему не стыдно быть в Эсто-

нии, впервые он приехал сюда как гость, а не как оккупант. Все были солидарны с ним и желали добра наконец-то свободной от нас Эстонии.

Она и прежде была заметно свободнее от нас, чем мы. Это поражало приезжего. Когда в студенческие годы в университетском здании на месте положенных статуй я увидела Еврипида — кажется, я обернулась: не видит ли кто-нибудь, *что я вижу*. Это почище, чем читать запрещенную книгу! Статуи, писал безумный Хлебников, суть основной язык, которым власть говорит с народом. Какая же власть говорила этим вопиющим Еврипидом у входа?

Впрочем, как мне приходилось писать в хронике другого, теперь уже давнего путешествия, и Москва была свободнее от нас, чем Брянск или Челябинск. И Брянск, в свою очередь, не был окончательно нашим. Окончательно, радикально нашими были, вероятно, среднеазиатские хлопковые подвалы, где власть разговаривала с народом не одними только статуями: статуям в ее языке принадлежало скромное место обстоятельства образа действий, а сказуемое и подлежащее были покрепче: под ритуальными изображениями хлопкоробов секли кнутом, а их жен разбирали партийные руководители.

Как помнится, эта первая, теперь уже с трудом различимая в памяти скандальная огласка («хлопковое дело») оказалась началом обвала, лавины разоблачений номенклатурного злодейства. Впрочем, эта лавина, в отличие от вещественной снежной лавины в сванских горах (которая приблизительно в то же время начала ряд природных катастроф) никого не накрыла. Прошла — и оставила всех на своих местах, унеся с собой только кое-какие красные повязки и словарь пропаганды. Она оставила на своем месте даже заклятый непогребенный труп вождя в центре отечества. Эта вещь — продолжая тартуские разговоры — очевиднейшим образом обнаруживает, что кроме знаков и знаковых систем существуют *символы*: единицы силовые, а не семантические, образующие не системы, а силовые поля, мифы, которые никак в *знаки* не превратишь. Они принадлежат не второй или вторичной реальности, а самой что ни на есть первой. Или даже до-первой.

Итак, в уже свободную от нас и от наших непогребенных символов Эстонию ехала элита гуманитарной культуры, к этому времени не опальная, а почтенная разными званиями

и приглашенная во власть. Среди нас были депутаты и даже советник Президента! Совсем недавно отгремели выстрелы у Белого Дома. Это и обсуждалось за купейными переборками.

Время плавно, как равнина в низину, впадало в безмятежный путевой сон. В механическое море, в коридоры больной дремы, в ветки ее лабиринта с золотыми плошками в дальней глубине.

4.

Но долго бродить по ним не пришлось. В шесть утра поезд остановился, резко и прочно, как останавливаются на государственном рубеже. Печоры Псковские.

— С кем граничит Россия? — спросил меня парализованный.

— Россия граничит с Богом, — ответил я.

Так, с некоторым привкусом югендштиля, писал Рильке. К настоящему моменту Россия вновь граничит с Эстонией, и эта новая граница — такая же военная вещь, как все границы России, и охраняется так же неусыпно. Попробуйте пересечь ее и попасть в любую другую страну из тех, которые с Богом не граничат. Такой попытке и посвящено мое нынешнее повествование. И рассказ мой, как водится, будет печален.

Команда пограничников с сердитым главарем, перелистав паспорта, быстро обнаружила и обезвредила злоумышленников. Нас оказалось четверо, со старыми паспортами без выездных виз. Мы были высажены. Поезд двинулся дальше. К Балтике, в Тарту, на последнее свидание.

5.

У благоразумного автора здесь бы и стояла точка. Сюжет исчерпан. На вечернем поезде мы вернулись бы в Москву. Но юность судит иначе, а все трое моих спутников были юны, ученики ЮрМиха (так они его звали) последнего призыва. Они долго не раздумывали. Переходить свежую границу им было не впервой. Они знали, что до эстонских рубежей приблизительно час пути по прямой. Есть другой путь, тайная тропа спекулянтов, но е-то как раз сторожат пограничники.

Сняв нас с поезда, они наверняка отправились туда, так что мы ничем не рискуем.

И мы пошли по шпалам, вслед за поездом, на ходу отыскивая общих знакомых и общие воспоминания. Утро стояло ясное, идти быстрым шагом одно удовольствие. Похороны были назначены на двенадцать.

6.

На эстонской границе нас приняли любезно (эту фразу мне еще придется повторить в более драматическом контексте). Пограничники заглянули в список приглашенных, который лежал у них на столе: мы в нем значились. Мои спутники говорили по-эстонски. И это, и, как мне показалось, само наше непринужденное обхождение с отечественной границей доставило хозяевам заметное удовольствие. Среди легковых машин у пограничного шлагбаума они нашли идущую в Тарту и попросили водителя подвести нас. Водитель, узнав о наших планах, отказался брать деньги. Благоприятный ветер дул в наши паруса. Мы прибыли задолго до начала, так что девицы успели привести в порядок траурные платья.

7.

Пели университетские латинские гимны. Играл органной Бах. Никто не говорил. Так хотел Юрий Михайлович. Прощальное и завершающее слово было передано музыке.

*Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Иоганна Баха...*

Не говорил даже Президент Эстонии, опоздавший на пять минут.

— Начнем точно в двенадцать, — сказала Анн Мальц, — пусть посмотрят, кто здесь Европа!

Анн, вдохновенная сподвижница Профессора, еще раз готовилась выступить за честь России перед своими соотечественниками.

8.

Я не видела Анн почти десять лет. Ее красота стала еще удивительнее и в достоинстве скорби казалась почти невыносимой для глаз.

Пастернак в «Охранной грамоте» заметил, что все прекрасное кажется нам непомерно большим. Такая аберрация размера происходит у меня с другими вещами. Непомерно большим мне кажется жалкое: вернее, то, что стоит на пороге жалости. Ничтожное и скверное, такое, что естественнее всего было бы ненавидеть, *не видеть раз и навсегда*, но по каким-то причинам это невозможно. И вот его присутствие, его непоправимая видимость, ставящая в тупик, набирает необыкновенную величину и неподъемный вес: Ну сделай что-нибудь со мной! — требует оно от сердца, и сердце находит единственный выход: пожалеть. Тогда это невыносимое и возвращается к размерам, с которыми можно иметь дело. Оно предано земле, оно лежит в жалости. Requiem aeternum. Вечный покой дай им от моего несчастья, от моего раздражения. Земля жалости упокоит их и помирит нас.

Конечно, это худой мир, и я предпочла бы ему хорошую войну. Это как ландшафт без неба, потому что в небе гнев. Чистый гнев — вот что в самом деле оживило бы все это! Чистый гнев, очищающий бич, который вручают пророкам и святым. Нам же остается привычное дело, полудело, безделье: извятие словес, плетение венка, который всегда почему-то оказывается надгробным.

Что до красоты, она не представляется мне ни огромной, ни упоительно маленькой: просто невидимой: стоя у тебя перед глазами, она как будто глядит в спину, в то место между лопатками, которое осталось смертным у бессмертного героя. Вот он входит в лес, и лесные птицы поют на понятном ему языке: Зигфрид! Зигфрид! не забудь про смертное пятно, про мишень на спине... Голос красоты?

Все знали, что Анн не совсем человек и не то чтобы сотрудник кафедры, даже бессмертной Кафедры Лотмана. Она Душа и Муза. Эстонцы обожали ее как саму душу своей земли: дочь последнего Президента свободной Эстонии. Мы писали из Москвы на конвертах в графе «Кому»: Анн Мальц, когда просили выслать очередной том Ученых Записок. Мне ка-

жется, если бы Муза Юрия Михайловича (а у него несомненно была Муза) приобрела наглядную очевидность, получилась бы Анн Мальц. Безукоризненная Анн с ее фантастической прической, напоминающей и о шлеме Афины, и о боттичеллиевых хитроумно перевитых прядях.

Сейчас, в час прощания Анн явилась в той особой — полной — красе, торжественной, едва ли не торжествующей, красоте, которая называется: в последний раз. В последний раз *есть* все, что было — и что никогда не было все разом. Посмотрите, если прежде не насмотрелись. Солнце настоящего выходит из облаков житейского обыкновения, как Анадиомена из вод морских.

9.

Итак, все молчали. Почетный караул менялся у гроба, звучал Бах и множество людей тихо подходили прощаться. Эстонские люди красиво стояли и склонялись у гроба, красиво опускали цветы. Российские ежились и не знали, что делать со спиной и плечами. Ритуальная геральдика поз и мимики давно покинула наше социальное бытие, на этом иностранном языке, на языке телесного этикета они не могли бы сказать ни слова. Церковные люди, конечно, могли бы, но таких как будто не было — или же они, как одна из моих юных спутниц, старались быть как все и приличное происходящему движение совершали только в уме.

Юрий Михайлович говорил на этом языке. Кланялся ли он при встрече или подавал пальто, брал мел у доски или опускал нож и вилку, начиная за столом какой-нибудь очаровательный анекдот о нравах восемнадцатого века, каждый жест его был окружен быстрыми пучками света, как вокруг хрустальной призмы. Эта танцевальная, фехтовальная огранка жестов — как и навык легко шутить, как бы придерживая смысл фразы, не давая ему рухнуть на собеседника всей тяжестью — все это изящество приобретало особую значительность рядом с его взглядом, не по-светски умным и печальным. Он не любил шутовства и не терпел тени разнузданности. Если кто-нибудь не понял этого сразу... Картель. Выйдем, сударь! Глядя, как он слушает стихи или музыку, я вновь убеждалась в том, что благородство и одаренность

рождаются из простодушия, и состоят из простодушия, и лукава и недоверчива только посредственность. Как все печально.

Люди шли и шли. Светская церемония, силой давней университетской традиции приподнятая до какого-то другого, не храмового благочестия, *pictas*. Где-то — для нас в чужой дали — она уходит в монастырскую твердь Европы, во всеобщую латинскую образованность, раскинутую, как шатер, над народными наречиями. Клирики, потом клерки, миряне, но не совсем: посторонние сословным, политическим, имущественным, национальным интересам. Служители свободных искусств, единого прекрасного жрецы. Этого в России не было: в России все, не только ученые и поэты, но и монахи-затворники, служили России. И вот что удивительно: страна, которой все ее жители так самозабвенно служат, отложив прочее на потом, находя в этом свое первое и священное призвание, должна была бы стать самой счастливой, самой ухоженной страной в мире! И что же: там, где философ занят истиной, а не Германией, или живописец — светотеневыми эффектами, а не Францией, и никто не клянется, что и себя, и дар свой, и деток — как в сказке «Тараканище» — принесет в жертву Родине, там и страна получается покрепче и поопрятнее... Господа! друзья! Вы не заметили? что-то не так вышло у нас с этим служением...

Хлебнув из вселенской Иппокрены, возвращались на служилую Русь люди восемнадцатого века, которых так хорошо знал Юрий Михайлович.

Как в волшебном фонаре, огонь свободного ума, бескорыстного служения Музам и ясного гражданства — и, конечно, дружбы, венца всему — был перенесен в царскосельский Лицей. О, Дружба, вершина классического счастья! «Между низкими дружба невозможна; порочные не дружат, они вступают в сговор», утверждал Стагирит. Дружба, солнце в зените, ключ гармонии, зеленый холм, на который волен взойти каждый, в ком есть чувство и честь: из пещеры уединения, из погребка кровных связей, из трясины обоюдovýchодных знакомств, из морозилки казенных отношений, и даже из пламени любовной страсти. Здесь, под солнцем дружбы, на ее открытом воздухе он найдет себе все: и новое уединение, и другую кровь родства, и другую выгоду, и другую службу.

*Бог Нахтигаль! дай мне судьбу Пилата
Иль вырви мне язык: он мне не нужен.*

И в самом деле, зачем язык, если в дружбе отказано? разве не дружба — родное пространство речи? во всяком случае, речи украшенной и обработанной. Любовь обходится без слов и не очень им верит.

На старом добром структуралистском жаргоне, наша гуманитарная элита в советском обществе исполняла культурную функцию дворянства — как понимал эту функцию Пушкин:

«Чему учится дворянство? независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так, но образ жизни может их развить, усилить — или задушить. Нужны ли они в народе так же, как например, трудолюбие? Нужны, ибо они *sauegarde* трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».

И венец *сих качеств* — дружба, аристотелевская, томистская дружба, которую в нашем веке знала Ахматова («Души высокая свобода, Что дружбою наречена»), и воспел Эзра Паунд («Здесь место дружбы. Здесь земля священна»), вещь неведомая варварам и рабам. Структурализм созидал дружбу, и это значило не меньше, чем труды эрудиции и эвристический дар.

Но как странно звучит Бах. Как печальна, в конце концов, эта возвышенная задумчивость. Как дым, который стелется по земле. Серьезное и честное размышление обо всем кроме невозможного. Странно. Кажется, впервые мне так явно слышится, что в Бахе — страшно сказать — нет и не предусмотрено взрыва чуда, что эта звуковая сила движется в замкнутых руслах. Или так: что он проходит *вдали*: в дали высокой и строгой, но самого близкого, самой сильной и секретной мембраны сердца не касается. Может быть, с такой же далью —

И даль пространств, как стих псалма —

могучей и сумрачной — отеческой — далью остался бы Рильке, если бы он не встретил того, что назвал Россией...

Плачу и рыдаю, вот что касается близи: невозможного, безумного, недозволенного. *Житейское море*... Человек склоняется над собой, как мать, и плачет себе, как младенец, не от боли, не от страха, не от горя, а просто от плача, плачет от плача, потому что все плач, все последнее целование и последняя цар-

ская почесть, и это чудо как хорошо в конце концов. *А може вси человецы пойдём надгробное рыдание творяще песнь...*

Понятно. Все это потому, что нет панихиды. Вот что превратило для меня Баха в сумрак и стелящийся дым, или в сушу, которая не знает прикосновения прибоя. Но почему Рильке? Ах да, «Смерть поэта», о лице и маске:

*Лицо его и было тем простором,
Что тянется к нему и тщетно льнет,
А эта маска бедная умрет,
Открыто предоставленная взорам...*

Юрий Михайлович не знакомил публику с собственными стихотворными опытами; не знаю, существуют ли они. Но теперь, издали, мне кажется, что лицо его было таким, как представлял себе Рильке лицо Поэта:

Лицо его и было тем простором...

Не простором природного ландшафта, как у Рильке, но простором истории, человеческого творчества, с его холмами и реками, над которыми тоже звезда с звездой говорит. И этот простор как будто сам тянулся к нему, и в устной и письменной речи Лотмана слышалось, что это они, его герои и собеседники, первыми обратились к нему — и через него к нам — с проснувшейся надеждой быть заново услышанными. Текст, говорил Юрий Михайлович, выбирает себе читателя; можно добавить: выбирает и собирает:

Сбирайтесь иногда читать мой список верный.

Мы с радостью собрались — и долго слушали.

10.

На кладбище сыновья и ученики кидали лопатами зимнюю землю. Почему-то играл плохой скрипач. Что-то совсем неподходящее, чуть не танцевальное. Гриша смотрел на происходящее из своего буддийского колодца. В его взгляде земля и люди и все, что эти люди делали, переворачивалось и плавало, как в камере невесомости.

Мир! мир! мир! буддийский мир, как океан, держал и качал вещи, готовые вступить между собой в драку, — но вол-

ны разносили их и делали всякую встречу невозможной. «Отчаяние, последнее убежище самости», говорят буддисты. Этот бедный шалаш, который многие у нас принимают за неприступную цитадель, или за Фермопилы, которые следует защищать до смерти, даже и зная, что в конце концов победят персы, это утлое и узкое отчаяние давно было снесено неукротимым прибоем: никакого «я» на месте не оказалось, горевать и бунтовать было некому: другое Я, великий Никто, золотой оксан, выныривал из вещей, как рыба, плавал в их колодце, как пустая бадья на цепи...

Гриша посмотрел на меня. Да, спасибо, все хорошо, у него теперь есть гуру, и он занимается медитацией.

— А Вы еще сочиняете Ваши стихи? — спросил он меня.

— Больше прозу.

— Хорошо. Все хорошо. Правда? — сказал Гриша.

Тишина кончилась. Вспыхнули разговоры, там, здесь, шепотом, вполголоса, на обратном пути уже в полный голос.

II.

Прощай, Тарту, версильская Европа нашей юности, священные камни, иной мир. Теперь ты наконец совсем иной. Следы советской жизни исчезают с улиц, как будто дом прибирают после долгого и безобразного дебоша. Без нас тут будет хорошо. А без Юрия Михайловича? Здесь жил Мартин Лютер, здесь братья Гримм.

Кстати, о Европе. Заблудившись в Веймаре, я случайно и напоследок увидела в переулке табличку: Здесь жил Эккерман. Почему-то я очень люблю Эккермана, и была так рада, будто это он сам ршил мне кивнуть из окна на прощание. Спасибо Вам, господин Эккерман! Сидя за столиком на виа Мерулана в ресторанчике «Дом Мецената», я обернулась и вдруг поняла, что древняя хижина рядом и есть настоящий дом Мецената. Мецената я тоже люблю: Гораций не хотел его пережить. Спасибо тебе, Меценат. Прощайте, служители свободного искусства. Прощайте, его покровители. Прощайте, Орест и Пилат и Бог Нахтигаль. У нас таких нет и не будет. Клочок вашего вольного простора возвращается в родную стихию из номадского плена. Прощай, старая Европа.

Анн Мальц вернули наследственный хутор, и она собира-

ется уехать, попробовать новую старинную жизнь. На широких холмах парка с латинскими стелами, над темной рекой, чье имя трудно запомнить, на университетской площади, где я впервые в жизни увидела, что ложные окна бывают не только в истории архитектуры и в стихах Блока («Окна ложные на небе черном»), на опрятных улицах среди не по-русски сдержанных людей больше не появится Юрий Михайлович.

И нам здесь появляться как будто больше незачем.

12.

На ночь после поминок нас приютила Тамара Павловна, которой с этих страниц я шлю мой низкий поклон и сердечно почтение.

Как в «Синей Птице» Метерлинка Бабушка и Дедушка просыпаются и живут, когда их кто-нибудь вспоминает, так, мне казалось, просыпается и живет Блок, когда на его стихи глядят глаза Тамары Павловны, крылатые, как в гимназической юности. В глазах любого читателя кто-то, создавший эти строки, живет, — но кто этот кто-то? Блок живет в крылатых глазах; в других это будет не он. Мы остались среди других глаз.

И самыми пугающими среди них мне кажутся глаза нового благочестия, светлые и сладкие, как приворотное зелье. Такие присушки варят олонецкие колдуны из болотного мха, щепок и лягушачьей кожи на меду. Радиоактивный елей, мертвая зона. Смирись, гордый человек. Ну, говорю, смирись! — Это зелье покрепче комсомольского.

Что случается с Александром Александровичем Блоком в этих глазах, все знают. Что случится в них с Тамарой Павловной, внучкой православного батюшки, расстрелянного красными в 19 году, вдовой Ивана Лаговского, убитого НКВД в 40 году, сотрудницей матери Марии, отбывшей за это свои сроки, а теперь справляющей Рождество по новому стилю, «чтобы вместе со всеми»... Как они посмотрят на ее книгу...

Иногда мне жаль, что я не сумасшедшая, а главное, что нет у меня об этом справки с печатью. Тогда, со справкой, я бы не церемонилась, тогда я бы сказала им все, что думаю: Вы ошиблись дверью! Вам не сюда! И не шарьте глазами по углам, не высматривайте: ничего вашего тут нет. Идите к сво-

му преподобному Нилусу, идите, не забудьте свои шпаргалки «В помощь кающемуся». Напугался сам, напугай товарища. Почему вы решили, что это делают здесь?

И подмосковная картинка хрущевских времен встает передо мной. Ранняя весна. Дурочка Лизавета, известная всей округе от Никольского до Салтыковки, стоит у ограды, озирает народ. Великий Пост, первые недели, снег еще не сошел. Лизавета, как всегда, в летнем платье и тапочках на босу ногу. Говорят, у нее два сердца, поэтому она не зябнет. Но она говорит, что мы зябнем, потому что неверующие. — Ну, скажите: Пресвятая Богородица, согрей меня! Бойтесь, да?

Старушки в вязаных платках, бледно-, темно- и буро-серых, опрятные и порядливые, идут от вечерни, упрятывая свою секретную радость, как любимую скатерть, в дальний ларь, подальше от глаз. Но не вдруг у них это получается: там, сям красшек еще виден. Лизавета орет: «И зачем это вы явились? Зачем пришли? Тоже, видите, люди Божии! Своих-то Бог от утробы матери призывает! А вы кто? порождения ехиднины!» Ехиднины порождения тем временем проходят не споря мимо Лизаветы, сокрушенно кивают головами: ведь правду говорит, так все и есть, куда нам...

Что же, прощай, русское Тарту. Скажу ли я и это: прощай, последняя Россия. Тамара Павловна со мной, конечно, не согласится.

13.

*Кому повем печаль мою,
Кому скажу рыдание?*

Вам доводилось слушать, как Сима Никитина поет этот стих об Иосифе? Иосиф знает, кому:

*Скажу печаль Иакову,
Отцу моему Израилю.*

Кому же я ее повем? Кто вообще кому повест печаль свою на наших равнинах? Здесь, где человек — отдельно взятый человек — никому не знаком и не нужен никому: ни своему врачу, ни своему учителю, ни шоферу, ни портному, ни повару, ни президенту? Впрочем, нет: он нужен — и насущно ну-

жен — всем, кто ему что-нибудь запрещает и куда-нибудь не пускает. Эти любят свое дело. Эти не скажут: «Вас много, а я один!» Чем больше, тем лучше. Подходите, милости просим.

Итак, кому же повем печаль мою? печаль, в серьезность и законность которой и сам-то вряд ли веришь: печалей много, и нас много, всех не выслушаешь, по всем не наплачешься. И что за печаль-то? Чушь какая-то. Грех жаловаться. Сами виноваты. И кроме того: могло бы быть хуже, много хуже.

Но когда-то, давным-давно, зимним вечером, помнится, разбирая гречневую крупу, не то перебирая спицами, бабушка говорила мне этот стих:

Скажу печаль Иакову...

И с тех, четырех, наверное, лет, я все-таки не могу не предполагать, что есть где-то какой-то Иаков, что есть печаль, которую говорят и слушают, и что рядом с ней может стоять дательный падеж: кому, чему. Не сейчас, так через сорок лет, в тощие годы, приведут сюда Иакова, и мы останемся вдвоем в этом Египте, *в земли чуждей*. Тогда я ему все и расскажу. Это не займет много времени. Один взгляд.

— Ну что, очень тебе плохо было здесь?

— Да нет, — скажу я, опомнившись, — ничего, ничего, не огорчайся. Прости, пожалуйста.

14.

В вечернем поезде разговоры продолжались. Мы оказались свидетелями агонии того режима, который столько лет ненавидели, как могли, и считали вечным. Было о чем поговорить.

С самого своего почти комического начала, с отмены винопития в России, и вплоть до нынешнего дня, когда я пишу эту страницу, дня дефолта, за которым маячит очередная реставрация, весь этот процесс принял у меня в уме ясную пластическую форму. Группа Лаокоона. С тем усложнением, что и сам троянский жрец с сыновьями, и нездешние змеи, из которых они выпутываются, — это *одно* действующее лицо. Общество выпутывается из себя и себя душит. Общество хочет предостеречь себя от рокового дара данайцев — и хочет ни за что не узнать о его начинке. Боги борются с богами, как

в гомеровских песнях. И каждый из нас как этот конь: в какую Трою его ни введи, поминай, как ее звали.

Неразделимость и неразличимость жертвы и мучителя невыносима для рассудка — и толкает разделить их, каким-нибудь известным рациональным способом рассечь, развести по сторонам, отвлечь одного от другого: коммунистов от некоммунистов, русских от нерусских, центр от провинций. Но каждый отсеченный на таком основании «чистый» кусок тут же начинает клубиться знакомой картиной: оплетающие змеи и выпутывающиеся из них подростки и старик.

Есть на свете, однако, и другая прославленная картина, касающаяся змей: Георгий Победоносец. Ветер битвы, складки боевого плаща и безупречная прямая: длинное и крепкое разящее копьё — и жалкий гад в левом нижнем углу. Кончено! Победа!

Может быть, это копьё блеснуло здесь однажды, в августе 91. Три дня без змеиноного отродья.

По мнению моих спутников, которое особенно горячо отстаивала М., это же копьё блеснуло и в октябре 93.

— Нечего с ними церемониться! — говорила она. — Прикончить раз и навсегда.

Беседа с приятным ужасом пошла об *их* злодеяниях. Как славно было без *них*. Крапивное семя, шпана, — вспоминал ВН, — так о них думали почтенные московские мещане. Как тепло было в докоммунарской Москве! Еще до 30-х годов хватило этого тепла. Еврейские соседи угощали православных в свою Пасху, а те носили им в ответ куличи... За воспоминаниями о сладостной патриархальной Москве и о ее вымирании приближалась полночь, мы подъезжали к границе. Печоры Псковские. В купе вошла бригада пограничников: та самая, которая высадила нас позапрошлой ночью.

15.

Немая сцена продолжалась недолго.

Нет, не то чтобы все и сразу согласилось отдать нас пограничникам. Спорили, убеждали, упрасивали. Минут через двадцать мы, трое отловленных нарушителей (четвертый остался в Тарту), шли мимо раскрытых купе, откуда неслись напутствия.

— Статья УК такая-то: переход государственной границы, два года плюс конфискация имущества, — комментировал подкованный в мерах пресечения известный диссидент.

Критик, похожий на Лермонтова, мелькнул в дверях.

Уже на платформе мы услышали энергичный голос М.:

— Главное, не забудьте сказать, что вы уважаете законность! Что вы не правовые нигилисты. Это сейчас *очень* важно.

Втроем мы стояли на длинной, длинной платформе, длинной, кривой и такой голой, какие бывают только в наших палестинах. *Меонической*, подумала я. Рядом урезонивали десантников, высаженных из соседнего вагона за битые стекла в нетрезвом состоянии. Десантники еще шумели.

Когда теплые и светлые вагоны с застеленными на ночь полками и горячим дорожным чаем дрогнули — и уже собирались покинуть нашу меоническую местность — с подножки прыгнул молодой и никому из нас прежде не знакомый человек.

— Не мог я смотреть на вас троих на этой платформе, — сердито объяснил он. Его звали Сергеем. Он приехал на похороны из Армении.

Поезд неторопливо удалялся.

16.

Прощайте, коллеги, прощайте, наставники, доброй ночи, счастливого пути. Меня всегда удивляла география. Почему нам суждено было проститься именно здесь, в пограничных Печорах, где вряд ли и вам, и мне доведется оказаться во второй раз, как в гераклитовой реке. Как известно, *панта реи*. Как еще известно, неподвижно лишь солнце любви. Может быть, еще и дневная звезда дружбы. Но к нашему случаю это не относится.

17.

Нас отвели под стражу, в такое же меоническое, как платформа, служебное помещение. Сергею войти не разрешили. Солдаты, изнуренные хронической праздностью, играли в какую-то экзотическую игру: кости не кости, шашки не шашки. Вероятно, стража всегда играет во что-то такое. Но ничем

другим на тех, римских солдат наши похожи не были. При них был мешок с белыми сухарями, который они благодушно подвинули к нам. Угощайтесь.

— А какой он был, ваш учитель?

Девочки достали тартускую газету с траурным портретом Юрия Михайловича.

— Понятно. Строгий, но справедливый.

Нас поодиночке стали вызывать для дачи письменных показаний.

— Пишите «я», а не «мы», от первого лица каждая! *Как я пересекла государственную границу.*

«Следуя в поезде номер такой-то, я была высажена на станции Печоры Псковские пограничной бригадой номер такой-то. Не считая для себя возможным не проститься с Юрием Михайловичем Лотманом, я пошла по рельсам, и через некоторое время беспрепятственно достигла эстонской границы. На эстонской границе нас приняли любезно...» Добавить, что ли, о моем уважении к законности? Да что там, все свои...

18.

Офицер соблюдал общечеловеческие приличия и этим решительно отличался от своего подчиненного (старшины, который кричал в вагоне: «Увидите у меня! Значит, вы образованные, так вам все можно? а мы, значит, люди маленькие?»). Офицер изучил наши отчеты и решил обсудить дело со мной, как со старшей.

— Итак, Вы пишете: «На эстонской границе нас приняли любезно». Почему, как Вы думаете?

— Пограничники располагали списком приглашенных на похороны профессора Лотмана.

— Так. А откуда, Вы думаете, был у них этот список?

— Я думаю, он был прислан правительством Эстонии.

— А почему Вы так думаете?

— Потому что все расходы правительство брало на себя, как было объявлено, и открывал церемонию Линнарт Мери, Президент Эстонии.

— Президент?

— Президент.

Как беден наш язык — и особенно его графическая форма!

Музыкальная запись, партитура, быть может, передала бы богатый смысл этого точного повтора, пустого в его буквенной фиксации. *Президент?* офицера, вероятно, выражался бы септимой вверх и был передан тревожной струнной группой. Мой *Президент*, октава вниз, сопровождался бы тихим рокотом ударных. *Piano e maestoso*.



Пре — зи — дент? Пре — зи — дент.

— Хорошо, мы подумаем. Подождите здесь.

Еще час, наверное, мы грызли сухари с солдатами. Наконец, дверь открылась и вошел давешний вежливый офицер.

— Обдумав все, мы решили: Ваши намерения были добрыми — Вы хотели проститься с учителем. Поэтому мы не будем открывать на вас уголовное дело по статье УК такой-то (диссидент не спутал!). Вам придется только заплатить штраф в местном отделении милиции.

Рильке, видимо, ошибался: Россия не граничит с Богом, она уже за этой границей.

*Твои слова, поступки судят люди,
Намеренья единый видит Бог.*

Мы там, где судят намерения. Причем уголовным судопроизводством.

Однако разговор был еще далеко не кончен. Оставалось еще что-то, и поважнее, чем штраф. Внимательно вглядываясь и что-то во мне просчитывая, офицер спросил:

— Итак, у вас есть какие-либо претензии к нам?

— Нет, — не раздумывая, решительно отвечаю я.

— Никаких? — уточняет он.

— Никаких.

Этот повтор должен быть оркестрован иначе, чем предыдущий: утвердительная интонация в данном случае принадлежит вопросу офицера, просительно-тревожная — моему ответу.



Ни — ка — ких? Ни — ка — ких.

— Что же. Иначе... Если у вас есть какие-то претензии... то и у нас... е с т ь — т а м! — указательный жест в потолок. Занавес.

19.

Погранбригада в полном составе сопровождает нас в печорское о. м. и сдает дежурному офицеру.

У него такое доброе лицо, какое можно вообразить только у старинного детского врача. Кажется, я не припомню такого кроткого, попечительного и более чем отеческого взгляда с тех пор, как в четыре года на меня смотрел старый доктор с зеркальцем во лбу. Глаза мои невольно искали такого же зеркальца на лбу начальника милиции. Что-то такое там было, на лбу, только не вещественное... Он слушал оперативную сводку.

— Ну и как его матушка?

— В больнице, переломы обеих плечевых костей. Вот здесь и вот здесь.

— Как же это он ее? что-нибудь спрашивал, наверное, узнавал... — вдумчиво и без малейшего негодования предположил главный милиционер. Картина сыновних расспросов встала у нас перед глазами.

Повернувшись к нам, главный милиционер сказал, краснея:

— Ой, девчонки, мне даже стыдно у вас такое спрашивать... Вы уж простите, форма.

— Спрашивайте, спрашивайте, — ободряем мы.

После долгих уговоров он решается:

— Сколько вы... извините, получаете? Это чтобы штраф оформить. Честное слово, я бы не стал. За такое доброе дело еще и деньги брать! Человека хоронить ехали! в такую даль! Но я же им должен квитанции отдать. Вы уж простите.

Размер штрафа за переход государственной границы точно совпадал с платой за постельное белье в поезде. Сколько это составляло тогдашних сот или тысяч рублей, не берусь вспомнить.

Заполнив квитанции, главный милиционер позвонил куда-то и сказал нам:

— Ну вот, нашел для вас место на ночь, в общежитии обещали. Следующий поезд на Москву завтра в полночь.

На милицейской машине нас подвезли к двухэтажному зданию такого же меонического состава, как платформа, пограничная застава и отделение милиции. Долгая зимняя ночь еще не собиралась кончаться. Полчетвертого.

Участливые глаза милиционера навяли нам нелепую надежду на сон под одеялом, в постели. Все такие надежды следовало оставить в прошлом.

Дежурная общежития, потягиваясь, сказала:

— Так. До утра побудете здесь. В вестибюле. Комнат нет. Это общежитие для югославы, а вы не югославы. Вон кресла. Устраивайтесь.

В бронированных черных креслах у ледящего входа мы устроились и стали ждать смерти от переохлаждения. Мы не роптали. Все правильно: мы не югославы, с этим не поспоришь. Но Сергей думал иначе. Он поднялся на второй этаж и вернулся с приятным известием: там, наверху, есть такой же холл и такие же кресла: мы можем посидеть и там, все-таки не дуем!

Однако, от судьбы не уйдешь; сон дежурной был чуток. Стуча каблуками, она поднялась на второй этаж и закричала:

— Это что такое! Я вам русским языком сказала: вы не югославы. Вам — здесь — нельзя. Вам — можно — только — там.

.....

Ранним утром мимо наших кресел, не оглядываясь, зашагали югославы в спецодежде. Оказалось, они возводят российско-эстонскую границу. Такой исторический момент. Интересно, кто строит границу между частями их империи... Они шли, не сомневаясь в предстоящем завтраке. С вновь вспыхнувшей неуместной надеждой мы поспешили за ними в столовую.

— Только для югославы, — сказали нам. — Вам не полагается.

— А за деньги? Чая, горячего, за деньги?

— Денег не берем! — был неожиданный ответ. — Не нужны нам ваши деньги!

— А без денег, просто кипятка, горячего?

— За талоны. У югославы есть талоны. Вы не югославы. Ну что смотрите, что вам непонятно?

Непонятно было все. На печорских улицах мы стали спрашивать, где тут столовая, или кафе, или буфет.

— Вон там столовая была. А на том углу кафе. Видите? Вон там еще была столовая, за тем домом. Недавно. Теперь уже нет. Теперь ничего нет. Теперь приватизация. И *пограницы* на каждом шагу. В автобусе паспорта спрашивают, на рынке. Надоели.

Напоминание о *пограницах* заставило нас поспешить назад в общежитие. Мы заснем в креслах, пока югославы работают, сооружая нашу границу, и будем спать, как микельанджелова Ночь, и не проснемся до поезда.

20.

Но все же. Печоры Псковские... Как же не зайти?

Двое из нас оказались агностиками, и мы оставили их, Сергея и аспирантку, похожую на дюймовочку, в ледяных югославских креслах — и отправились к обители.

Но хронотоп, в который мы, как давно можно было догадаться, попали, назывался: «Оставь надежду!» Во всяком случае, надежду на естественное, казалось бы, поступательное движение событий. Например, на то, что направляясь к монастырским воротам, ты в них войдешь. «Все должно происходить медленно и неправильно, чтобы не загордился человек.» Иногда Веничка бывает особенно прав. У самых монастырских ворот я поняла, что на мне брюки. Брюк этих, собственно, невооруженным взглядом из-под пальто видно было не больше двадцати сантиметров, но привратник не дремал. Он, как недавний офицер, как все в России, видел не только то, что у меня под пальто, но и то, что под сердцем. То, что под сердцем, ему не понравилось.

— А! — закричал он из своей сторожки, — вижу, вижу, что у тебя на уме: в нечестивом виде не пуцу! Не надейся!

Мы встали на пристойном отдалении от входа, ожидая неизвестно чьей помощи. Глаза отдохали на еще небогатых снегах и совсем голых ветках. Ранней зимой деревья на равнине в самом деле похожи на слепых без поводыря. Куда-то они идут, в долгую, долгую, темную зиму, как будто выставленные за дверь и не стучась в другие, без вины виноватые. Но они никогда не собьются с пути и не оступятся: им ничего не нужно. Северная природа поучительна. Она похожа на подавание, которое, как говорил Златоуст, прямо из принимающей

руки взлетает в небеса, наподобие быстрой голубки с серебряными раменами и золотыми воскрыльями.

Сторожевое рычание не умолкало. Но вскоре на снежной тропинке, ведущей к воротам, появился старый батюшка; он тихонько благословил нас войти в *дорожной одежде* и повел с собой. Привратник не сдавался. Он бежал за нами, честил, кричал вслед — и напоследок заклил меня:

— Вот, за то, что ты меня искушала и в гнев ввела, будешь теперь за меня молиться каждый день до смерти!

— За кого? — спросила я, — имя скажите.

— Еще чего! — ответил он. — Так молись.

За привратника, за дежурную, за пограничника, за всех, на чьих плечах лежат охраняемые от нас пространства и помещения. В самом деле, кто за них молится?

Дальше преград не было. Встреченные братья отнеслись с пониманием к нашему виду: еще бы, попробуйте переходить границу в юбке! Им явно понравилась наша история. Они предложили даже отслужить панихиду по Юрии Михайловиче...

— Ну что ж, если некрещенный, ничего не поделаешь. Подайте на помин ваших крещеных.

Нас проводили в пещеры и оставили там.

В конце каждого из длинных и выющихся ходов горели лампы у образов. Мы шли вдвоем со своими свечами по глубокому, до щиколоток, чистому песку, побаиваясь забыть, откуда и куда повернули. В земной тишине было не тепло, не холодно, не сухо, не сыро: было глубоко. О, человек хочет многого: всего. Они это понимали, создатели и жители пещер, здесь, и в Киеве, и в Кумранских скалах. Они знали, что человек не успокоится ни на чем кроме всего. Кроме неба и земли.

Пещеры, кажется мне, напоминают о том, что *небо и земля*, о которых говорится в первом стихе Бытия, совсем не то, к чему мы привыкли как к «небу» и «земле», то есть, не небесный свод и суша (или космос и земной шар). В каком-то смысле здания, поднимающиеся над поверхностью земли, охраняют от неба, как навес от дождя. Я подумала это под иерусалимскими небесами, через пять лет после того, как мы бродили в печорских подземельях. Но в мысли нет «раньше» и «позже», она покрывает все посещенные места и времена.

Поэтому может быть, и в Печорах я это думала, о том, что небесный шатер и подражающий ему свод, водруженный на стенах, охраняют от неба. И вырытая или вырубленная в нижней глубине каверна открывает ход к нему. Они бежали к небу. В этих темных ходах и подземных горницах мы были явно беззащитнее перед небом, чем под высоким куполом небес. Впрочем, для этого отчетливого чувства я вряд ли подберу слова. *Небом* называется страх и бесстрашие. А *землей*... я не знаю, что называется землей. Она ведь безвидна. Мне нравится, как сказано у Елены Шварц:

*Земля, земля, ты ешь людей,
Рождая им взамен
Кастальский ключ, гвоздики луч
И камень и сирень.*

Один из этих длинных ходов, похожих на руки, которые не протянуты к прохожим, но прижаты к бокам, как у скромных нищих, кончался прекрасным древним образом Спаса. Книга Его на этом образе была раскрыта на стихе: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. По сему узнают...»

Мы переглянулись. *Этого* не перетолкуешь. Какое счастье. Нашему лукавству нет, кажется, предела, и ничего от него как будто не упасешь и не огородишь: но до Твоих слов, Господи, оно не дотянется. «По сему узнают.» Как хорошо. Вот граница без сторожей, и ангела с огненным мечом больше не нужно. *Не к тому пламенное оружие...* Первый дар и последний суд, начало и конец.

Два молодых послушника сидели у входа в пещеры и тихо разговаривали:

— Вот я ему и говорю: придешь со службы и магнитофон включаешь. Что же ты делаешь? сколько собрал, столько и высыпал. Как в дырявый мешок.

Сергей, как оказалось, тоже тем временем не сидел сложа руки. Он пошел на станцию, и там ему посоветовали, чтобы мы с нашими билетами уехали из Пскова. Там поездов на Москву много, и нам не придется дожидаться полночи в юго-

славском вестибюле. Больше того: около монастыря Сергей обнаружил группу псковских школьников, и договорился, что нас возьмет их автобус.

Мы вновь забыли о роковом устройстве нашего хронотопа и поспешили на площадь. Учительница, которая привезла детей на религиозно-патриотическую экскурсию (года три назад она наверняка возила таких же на антирелигиозно-патриотическую), осмотрела нас с головы до ног и не полюбила. Ночь под стражей и в креслах, вероятно, ясно запечатлелась на нас, и она решительно отказалась разделить школьный транспорт с такими, как мы.

— До Пскова ехать два часа. За это время вы можете научить моих детей неизвестно чему. Нет, категорически нет.

— Садитесь, — из-за спины учительницы зашептал шофер и показал подбородком на дверь, — садитесь, что стоите?

Мы не то что вошли, мы просочились в автобус как струя дыма, как слабый запах или магнитная волна — и постарались и дальше оставаться невидимыми и неосязаемыми. Судя по всему, нам это удалось.

Школьники играли в дурака, что-то друг другу продавали, обменивались информацией и шутками, которые часто оставались мне не до конца понятными. Не до своего, как чувствовалось, опасного конца. Даже если ехать нам предстояло бы не до Пскова, а до Камчатки и даже если бы на нашем месте сидели не мы, а набоковский селадон, честное слово, не знаю, чему *еще* можно было бы их научить. Это были дети новых времен, дети легализации религии и приватизации морали. С некоторым облегчением мы вышли на городскую площадь.

22.

В Пскове тоже шла приватизация, сметая с улиц столовые, кафе и другие точки общественного питания. Поезда в Москву и в самом деле отправлялись каждые два часа, но нам, как выяснилось, вход в них был заказан. Вопреки печорскому мнению, мы имели право сесть в поезд только на той станции, на которой были высажены. То есть, в Печорах Псковских. Предположение о доплате вызвало такой же гнев, как в утренней столовой:

— Зачем нам ваши деньги?

И правда: зачем?

.....

Вокзальный ресторан, вопреки всему, действовал. Страшная белокурая официантка с лазурными веками открыла блокнот и угрожающе сказала:

— Ну. Что берем.

Дуло, как в вестибюле у югославо. Шел рождественский пост.

— Чаю! — простонала аспирантка.

Глаза у нее разгорелись. Незаметно для нас она, оказывается, потеряла разум. Сквозняки и стужа, письменные показания, приватизация, погранцы, югославы и дети-паломники...

— Чаю! только не стакан! Чайник! Лоханку! Много! Чтобы и руки и ноги туда! Погорячей!

— Нет у нас чаю! — с презрением сказала официантка. — Вы куда пришли, не видите?

И в наказание, захлопнув блокнот, пошла прочь.

— Ну что-нибудь горячее и жидкое есть у вас? что-нибудь?

— У нас рес-то-ран. Понятно?

Это замечание вразумило нас.

— Водки?

Официантка обернулась с другими, родными глазами: так вы наши! а я-то, извините, подумала...

— Сколько?

— Пятьсот. Нет. Семьсот пятьдесят.

— Еще что? Есть... — она задумывается, поднимает глаза вверх и выключает силу зрения, как на барочных изображениях мистического экстаза: она видит невидимое, она шарит в нем: нашла!

— Есть салат мясной столичный и щи с бараниной.

— А без мяса, простите, ничего у вас нет?

Первоначальное подозрение вернулось на лицо официантки и сковало его.

— А это по-вашему с мясом, что ли? Или с бараниной? Смейтесь, что ли, надо мной?

С перепуга мы заказываем и то, и другое. Мы заказали бы все, что она велела. Но список, к счастью, кончился.

Из чего состояли щи с бараниной и салат мясной столичный, и состояли ли вообще? идея различения скромного и

постного была здесь явно неуместна. Они были все тем же меоном, из которого выдуты платформы, кресла, книги, мыльницы, вся вещественность, которую нам оставило недавнее прошлое. Но водка была настоящей. К аспирантке на глазах возвращался рассудок.

Пора было уходить. Пора было возвращаться в Печоры Псковские, родные пограничные Печоры. В электричке, на которой мы туда ехали, стекла были выбиты через одно, но водка еще действовала, и аспирантка безмятежно дремала. Снилось ей вешняя Англия: Чеширское графство, университет, где она провела прошлый год, дикие нарциссы в британской траве, редкие деревья на невысоких холмах.

23.

До полуночи оставалось немного. На кривой, голой и длинной платформе уже собирались пассажиры. Молодые люди, как еще недавно сказали бы, комсомольского возраста, обступили старого монаха, который тоже ждал поезда. Он дружелюбно отвечал им.

Под волнистым пластмассовым козырьком на четырех столбах я закурила.

И тут появились *они*. Бригада пограничников, с которой мы уже дважды так несчастливо встречались за последние дни! Они шли так же грозно и так же целенаправленно. Они шли ко мне.

Передумали, решила я. Не дадут усхать. Теперь опять в караулку, опять к сухарям и нардам и, при лучшем исходе, к милиционеру-педиатру и к югославам в вестибюль. К злему привратнику, за которого я и так уже с нынешнего утра должна молиться. К детям-сквернословам. К старой русалке официантке. Это уже не жизнь, подумала я. Это что-то другое. Заело, как пластинку.

— Встать! — сказал мне старшина. — Бросьте сигарету и платите штраф. За нарушение правил поведения в помещении. В помещении курить запрещено.

— В каком помещении? — спросила я, оглядываясь кругом. — Где помещение?

Мело на платформе. Мело у меня под ногами.

— Во всяком помещении. Вы не знаете правил поведения в помещении? Сейчас принесу.

В этом человеке что-то творилось. Дело было не во мне. Дело было в исправлении мироздания, немедленном и окончательном. Он знает, как это сделать, и никто не встанет у него на пути.

Он вернулся с толстым потрепанным томом, напечатанным на гектографе: «Правила поведения в помещении». Он торжествовал.

Я заплатила еще один штраф и отошла курить на дальний край платформы, ближе к Москве, туда, где фонари уже кончились, тьма и стужа набирали силу, ветер выл и снег хлестал так, что никто на свете не назвал бы это помещением.

.....

24. ПОСТСКРИПТУМ

Дорогой коллега Д. Б.,

вот я и записала, как Вы просили, историю, которую рассказывала Вам в челябинском аэропорту.

Чтобы завершить сюжет, сообщу, что поезд подошел вовремя и нас, как ни странно, впустили в него без пререканий. Хронотоп мытарства кончился и дальше все шло, как по маслу. В соседнем купе старый монах беседовал с соседями, и его голос без слов доносился ровно и утешительно, наподобие прибора. Колеса ровно стучали. Когда отбивают членения времени, стучат ходики или колеса, жить как-то надежнее. Время таким образом обнаруживает свою корпускулярную, а не волновую природу (ведь кажется, у него, как у света, их две), а с корпускулами все-таки спокойнее.

Утром мы были в Москве. Из Тарту позвонила встревоженная Тамара Павловна: Говорят, с вами что-то случилось? Московские спутники не звонили в течении всех последующих пяти лет. Быть может, они считают, что мы еще отбываем заслуженное наказание или бродим по монастырским пещерам. Впрочем, скорее всего они ничего не считают.

Сергей исчез без следа и адреса. Вот и финал.

И хотя я еще долго потом вздрагивала при самом беглом и фигуративном употреблении слова «граница»: «это перехо-

дит всякую границу», «за границами моего понимания», «пограничная ситуация» и т. п. — вздрагивала и оглядывалась, ожидая приближения пограничников со старшиной; хотя некоторые книги и статьи мне стало неинтересно читать после этих происшествий; хотя идея *помещения* с тех пор утвердилась у меня в уме; тем не менее, никакого общего урока и морали из всего описанного выше я извлечь не могу. Может быть, таким уроком и выводом могли бы стать какие-то последние долетевшие слова печорского старца, но не буду сочинять: я не расслышала ни единого. Они уходили себе в механический прибой колес, в шум времени, в его открытое — как говорят итальянцы, высокое — море, в житейское море, в смену богатых созвучий, в дырявый мешок.

Август 1998, Азаровка — ноябрь 1998, Москва

О. СЕДАКОВА

ЭЛЕГИЯ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В РЕКВИЕМ

Tuba mirum spargens sonum...

1

Подлец ворует хлопок. На неделе
постановили, что тискама и дрели
пора учить грядущее страны,
то есть детей. Мы не хотим войны.
Так не хотим, что задрожат поджилки
кой у кого.

А те под шум глушилки
безумство храбрых славят: кто на шаре,
кто по волнам бежит, кто переполз
по проволоке с током, по клоаке —
один как перст, с младенцем на горбе —
безвестные герои покидают
отечества таинственные, где

подлец ворует хлопок. Караваны,
вагоны, эшелоны... Белый шум...
Мы по уши в бесчисленном сырце.
Есть мусульманский рай или нирвана
в обильном хлопке; где-нибудь в конце
есть будущее счастье миллиардов:
последний враг на шаре улетит —
и тишина, как в окнах Леонардо,
куда позирующий не глядит.

2

Но ты, поэт! классическая туба
не даст соврать; неслышимо, но грубо
военный горн, неодолимый горн
велит через заставы карантина:
подъем, вставать!

Я, как Бертран де Борн,
хочу оплакать гибель властелина,

Мне провансальский дух
внушает дерзость. Или наш сосед
не стоит плача, как Плантагенет?

От финских скал до пакистанских гор,
от некогда японских островов
и до планин, когда-то польских; дале —
от недр земных, в которых ни луча,
праматерь нефть, кормилица концернов,
до высоты, где спутник, щебеча,
летит в капкан космической каверны —
пора рыдать. И если не о нем,
нам есть о чем.

3

Но сердце странно. Ничего другого
я не могу сказать. Какое слово
изобразит его прискорбный рай? —
что ни решай, чего ни замышляй,
а настигает состраданья мгла,
как бабочку сачок, потом игла.
На острие чьего-либо крушенья
и выставят его на обозренье.
Я знаю неизвестно от кого,
что нет злорадства в глубине его —
так к существу выходит существо,
поднявшееся с горном состраданья
в свой полный рост надгробного рыданья.
Вот с государственного катафалка,
засыпана казенными слезами
(давно бы так!) — закрытыми глазами
куда глядит измученная плоть,
в путь шедше скорбный?.. Вот Твой раб, Господь,
перед Тобой. Уже не перед нами.

Смерть — Госпожа! чего ты не коснешься,
все обретает странную надежду —
жить наконец, иначе и вполне.
То дух, не приготовленный к ответу,

с последним светом повернувшись к свету,
вполне один по траурной волне
плывет. Куда ж нам плыть...

4

Прискорбный мир! волшебная красильня,
торгующая красками надежды.
Иль пестрые, как Герион, одежды
мгновенно выбелит гидропирит
немногих слов: «Се, гибель предстоит...»
Нет, этого не видывать живым.
Оплачем то, что мы хороним с ним.

К святым своим, убитым, как собаки,
зарытым так, чтоб больше не найти,
безропотно, как звезды в зодиаке,
пойдем и мы по общему пути,
как этот. Без суда и без могилы
от кесаревича до батрака
убитые как это *нужно было*,
давно они глядят издалека.

— Так нужно было, — изучали мы, —
для быстрого преодоления тьмы. —
Так нужно было. То, что нужно *будет*,
Пускай теперь кто хочет, тот рассудит.

Ты, молодость, прощай. Тебя упырь
сосал, сосал и высосал. Ты, совесть,
тебя едва ли чудо исцелит —
да, впрочем, если где-нибудь болит,
уже не здесь. Чего не уберечь,
о том не плачут. Ты, родная речь,
наверно, краше он в своем гробу,
чем ты теперь. О тех, кто на судьбу
махнул — и получил свое.

О тех,
кто не махнул, но в общее болото
с опрятным отвращением входил,

из-под полы болтая анекдоты.
Тех, кто допился. Кто не очень пил,
но хлопок воровал и тем умножил
народное богатство. Кто не дожил —
но более того, кто пережил!

5

Уж мы-то знаем: власть пуста, как бочка
с пробитым дном. Чего туда ни лей,
ни сыпь, ни суй — не сделаешь полней
ни на вершок. Хоть полстраны — в мешок
да в воду, хоть грудных поставь к болванке,
хоть полпланеты обойди на танке —
покоя нет. Не снится ей покой.
А снится то, что будет под рукой,
что быть *должно*. Иначе кто тут правит?
Кто посреди земли себя поставит,
тот пожелает, чтоб земли осталось
не более, чем под его пятой.
Власть движется, воздушный столп витой,
от стен окоченевшего кремля
в загробное молчание провинций,
к окраинам, умершим начеку,
и дальше, к моджахедскому полку —
и вспять, как отраженная волна.

6

Какая мышеловка. О, страна —
какая мышеловка. Гамлет, Гамлет,
из рода в род, наследнику в наследство,
как перстень — рок, ты камень в этом перстне,
пока идет ужаленная пьеса,
ты, пленный дух, изнемогая в ней,
взгляни сюда: здесь, кажется, страшной.

Здесь кажется, что притча — Эльсинор,
а мы пришли глядеть истолкованье
стократное. Мне с некоторых пор

сверх меры мерзостно претерпеванье,
сверх меры тошно. Ото всех сторон
крадется дрянь, шурша своим ковром,
и мелким, стратегическим пунктиром
отстукивает в космос: tuba... mirum...

Моей ученой юности друзья,
любезный Розенкранц и Гильденстерн,
я знаю, вы ребята деловые,
вы скажете, чего не знаю я.
Должно быть, так:
найти себе чердак
да поминать, что это не впервые,
бывало хуже. Частному лицу
космические спазмы не к лицу.
А кто, мой принц, об этом помышляет,
тому гордыня печень разрушает
и тербит мозги. Но кто смирен —
живет, не вымогая перемен,
а трудится и собирает плод
своих трудов. Империя падет,
палач ли вознесется высоко —
а кошка долакает молоко
и муравей достроит свой каркас.
Мир, как бывало, держится на нас.
А соль земли, какую в споре с миром
вы ищете — есть та же Tuba, mirum...
— Так, Розенкранц, есть та же tuba, mirum,
есть тот же Призрак, оскорбленный миром,
и тот же мир.

7

Прощай, тебя забудут — и скорей,
чем нас, убогих: будущая власть
глочет предыдущую, давясь, —
портреты, афоризмы, ордена...
Sic transit gloria. Дальше — тишина,
как сказано.

Не пугало, не шут

уже, не месмерическая кукла,
теперь ты — дух, и видишь все как дух.
В ужасном восстановленном величье
и в океане тихих, мощных сил
теперь молись, властитель, за народ...

8

Мне кажется порой, что я стою
У океана.

— Бедный заклинатель,
ты вызывал нас? так теперь гляди,
что будет дальше...

— Чур, не я, не я!
Уволь меня. Пусть кто-нибудь другой.
Я не желаю знать, какой тоской
волнуется невиданное море.
«Внизу» — здесь это значит «вперед».
Я ненавижу приближенье горя!

О, взять бы все — и всем и по всему
или сосной, макнув ее в Везувий,
по небесам, как кто-то говорил, —
писать, писать единственное слово,
писать, рыдая, слово: ПОМОГИ!
огромное, чтоб ангелы глядели,
чтоб мученики видели его,
убитые по нашему согласью,
чтобы Господь поверил — ничего
не остается в ненавистном сердце,
в пустом уме, на скаредной земле —
мы ничего не можем. Помогите!

НИЩЕТА ФИЛОСОФИИ

Язык не только средство. Если бы он был только средством, задача конечно заключалась бы в том чтобы изучить приемы, какими философы достигают объемности на плоскости текста. Работа со словом кончается, когда начинается событие. Мы не можем анализировать слово-событие, потому что единственное, чем мы могли бы его понять, это оно же само. Нет больше средств. Вы скажете: мыслью, которая может быть и без языка. Но не без смысла, а смысл это уже готовое слово. Мысли не на что опереться кроме как на смысл или на отсутствие смысла. Опираясь на отсутствие смысла, мы имеем дело со смыслом. Слово стоит на смысле.

Слово имеет смысл. Оно имеет такой-то смысл потому, что сначала вообще имеет смысл. То, что оно вообще имеет смысл, не мы сделали. Даже когда мы сами придумали и ввели слово, с самого начала имело смысл, чтобы мы придали слову такой смысл. Имеет смысл и слово, в котором явно отсутствие смысла. Не впадать же нам в потерянность и скуку до такой степени чтобы при утрате смысла заняться конструированием искусственных смыслов в стороне от того, что и без нас и нашего конструирования полно смысла, и от того, в чем нет смысла. Тем более мы не докатимся до такой игры в стеклянные бусы, чтобы выделять операциями логического анализа семантические множители, элементы значений и ими манипулировать. Лучше чем операции со словом, которые нельзя даже назвать техническими потому что в них не выполняется первое требование техники, чистота, лучше манипуляций с лексикой, гадания на слове, отыскивания алгоритма построения философского текста, выслеживания риторических и стилистических приемов, — чем заниматься этим тоскливым занятием, лучше уж упиваться горечью от утраты смысла. На пути светлого отчаяния, не пугающегося, не заговаривающего себя, мы встретимся с философами.

Как нам в наших «анализах» не поможет ничего кроме смысла, так ведь, надо догадываться, и пишущим при «построении текста» водили не приемы из арсенала риторических — весь вопрос о риторике надо пересмотреть, мы долж-

ны наметить хотя бы рамки этого пересмотра, — а то же, что нами: есть смысл; нет смысла. Ох, не надо надеяться будто у нас отыщется какой-то метаязык для слова, которое отстоялось, отстояло себя за тысячелетия. Оно останется самым простым и будет тайно править нами, опережая нашу теперешнюю повседневную лексику, которая кажется нам сейчас по нашей путаности доходчивее философского слова, но все перевернется через 30, уже через 30 лет, когда щебетанье нашей теперешней самой современной публицистики покажется так же темно и смешно, как сейчас нам газета петровской эпохи. Мы кладем на стол то, что пришло через отсев веков, рядом с «современным» и мерим одной меркой: оба нам что-то *говорят*; сопоставим, рассудим. Неверный подход. Возьмем пробный срез «современной» литературы; в ней простая попытка перестать заговаривать от тревоги и страха себя и других уже редкость, как свежий воздух в удушье. Огромная масса того, что публикуется сейчас, не будет переиздано. Громадное большинство того, что будет переиздаваться в ближайшие сто лет, не будет переиздаваться в следующие сто лет. И так далее.

Один литературовед вспоминает, что ему, мальчику восьми или девяти лет, подарили «Вечера на хуторе близ Диканьки» и он стал переписывать книгу в тетрадку. Зачем ты это делаешь, спросили родители, ведь книжка твоя. Вопрос застал его врасплох. «Чтобы, если у нас будет пожар и все книги сгорят, эта тетрадка осталась», объяснил он со странной логикой, которая о многом говорила. Увлечешься так, чтобы безотчетно хотелось самому переписать захватившие слова, вобрать их в движения собственного тела при писании — так мы невольно переписываем хорошую цитату, ругая себя за трату времени, когда достаточно вроде бы отметки карандашом на полях, — это есть в существе человека; это делается ни для чего; и это делается далеко не со всяким текстом. Чтобы до нас дошли вещи тысячелетней давности, надо было, чтобы в разных поколениях несмотря на перемену человека просыпалось это неразумное, элементарное: возьму и перепису. Беззлобный Башмачкин в «Шинели» Гоголя с наслаждением, увлечением, страстью — это была его единственная страсть — переписывал бумаги так, как они есть, как они перед ним лежали; задача изменить форму документа оказа-

лась ему не под силу. Акакий Акакиевич — это сам Гоголь, который переписывает то, что слышит, и никогда не напишет ничего от себя, настолько, что задача что-то сделать со своим персонажем, чуточку усовершенствовать его для полезного общественного и государственного употребления поставила его перед неодолимой проблемой, заставила десять лет мучиться текстом и потом сжечь его. Гоголь, графоман, как Боккаччо, понимал только такое писание, увлеченное переписыванием; он переписывал со слуха. И как сам был захвачен, так и знал, был уверен что написанное тоже захватит и заставит переписывать себя без конца. Всякое другое писание — хотя даже близкие друзья не отличали, им и другое гоголевское писание тоже было интересно — для него было не писание вообще, хуже чем ничего, чему ничего он безусловно предпочитал.

Чем отличается то, что дошло до нас из тысячелетий: ни в коем случае не должны мы думать что словесным искусством, что теперь пишут хуже, а раньше лучше. Там могли писать и хуже и вообще как попало; вся разница между тем, что услышано и наивно записано, и тем, что придумано, т. е. хуже чем ничего. Разница не в литературном уровне, а в плюсе и минусе: одно дает, другое отнимает, и тут уже совершенно все равно, на каком уровне отнимает, пусть даже на самом высоком, отточенном, мастерском, классном; и когда дают, тогда тоже об уровне давания говорить неудобно, потому что дареному коню в зубы не смотрят. Чем губит себя так называемое потребительское отношение, когда полученное оценивают и используют: тем, что при таком разборчивом критическом подходе кажется, что у потребителя никто не сумеет ничего отобрать. Не тут-то было: читай как угодно критически то, что со знаком минус, — все равно тебя обобрали. Спасет только чутье к тому, что просто подарено; спасет не растратенная способность бездумно, по первому влечению потянуться рукой к бумаге, чтобы записать захватившее — без критики, до всякой критики, просто так, Бог знает почему. Потому что здесь родное.

Всякое употребление философии будет недолжное. Я не понимаю зачем люди, которые хорошо устроились, находя в «современной кризисной ситуации» повод много говорить, отнимают у нас еще и философию, которая по их же мне-

нию не вполне отвечает требованиям нашей исключительной эпохи. Философия не для организации жизни. Если бы люди знали, из какой потерянности она вырастает. Она для отчаяния, для безысходности, крайности, но не для выхода из положения. Выйти из положения можно и без философии. Не отнимайте философию у нищих. Ведь у нас, нищих, ничего нет; мы не сумели сделать скачок, на который способны вы, активные, решившие, что раз человек теперь покинут даже умершим Богом, то имеет право самостоятельно строить свою жизнь. Мы это так не поняли; мы поняли покинутость просто, в сильном смысле нашего сиротства; нам ничего кроме философии не осталось, а ее выхватывают у нас из рук и пристраивают для надобностей и потребностей: Демокрита чтобы подтвердить что мир рассыпан, Гераклита чтобы заверить что все течет и изменяется; Парменида чтобы удостовериться в нашем бытии, небытия же нет; Платона для риторики; Ницше чтобы посмеяться над красивым Платоном; Хайдеггера чтобы преодолеть метафизику. Почему богатые все захватывают, все пристраивают, всему имеют найти прок, всегда знают как повернуть дело? Они успешно действуют и хотят еще больше деятельности и успеха.

Философия имеет дело не с организацией вещей, а с ямой на дне человеческого существа. Философия сидит в яме. Она оттуда никогда не выберется, потому что ей там место. Я уж не знаю что лучше, не совсем ли выбросить ее на свалку, где ей природное место, чем пытаться как-то ее пристроить. Нищета и брошенность. Мысль на дне потому, что нет такого края человеческого положения, где бы она захотела чтобы там ее подстраховали: скажем, вера пусть будет занята смертью, а мысль освободится для высоких целей. Если самое плохое делают с философией, когда ею что-то делают, зачем она тогда нужна? Не надо хитрить и лавировать: она не нужна. Пусть на нее перестанут выделять деньги инстанции, которые имеют каким-то образом деньги и умеют их распределять. Будет хуже если эти инстанции начнут выделять деньги тем, кто объявит что нашел новую идеологию, которая будет приносить народнохозяйственную пользу — а иначе как же, целая страна без современной философии; надо постараться чтобы и философия у нее была, быстро сделать ее чтобы с ее помощью что-то сделать.

Денег всегда не хватает. Деньги поэтому экономят и стараются тратить их так, чтобы они делали еще деньги. Работа Карла Генриха Маркса «Нищета философии» была написана в 1847 году для того, чтобы понять природу движения денег и решить их проблему. Деньги, когда будет вскрыта и демистифицирована их природа, перейдут в распоряжение тех, кто эту природу разгадал, окажутся во власти прозорливой мудрой силы, и поскольку сила эта добра, она произведет последнюю в истории человечества насильственную революцию, чтобы родить как ребенка новое общество, где уже никогда не понадобится насилие и социальные эволюции перестанут быть политическими революциями¹. В ходе этой окончательной революции прежде всего все общественное устройство должно перейти в руки людей доброй воли, партии единомышленников, которые будут знать что делать с этой властью и между прочим с деньгами. Новый порядок уже никогда не кончится, потому что нельзя отменить то, что истинно.

Что новое учение будет истинно, видно было например из того, как легко его ведущий мыслитель опровергал слабые, ошибочные, неверные системы мысли. Работа 29-летнего Маркса была направлена против двухтомного сочинения 37-летнего Пьера-Жозефа Прудона (Европа была полна блестящими пишущими молодыми людьми, наполеонами печатного станка). Оно называлось «Система экономических противоречий», но на свою беду имело подзаголовок «Философия нищеты». Для опровержения оказывалось почти достаточно просто перевернуть слова. Почему было нетрудно доказать что у Пьера-Жозефа Прудона нищета философии? По двум причинам. Во-первых, Прудон вдумывался в движение денег, в устройство общества и видел тут одни конфликты. Взамен он предлагал согласиться с другим устройством общества, где собственники начали бы сотрудничать между собой без применения денег, пользуясь реальными эквивалентами. Но общество не перестроишь пожеланиями; к миллиону мечтаний Прудон просто прибавил еще одно, по нищете своей философии не осознав что проблемы не решить без насилия временной диктатуры. И второе, почему было легко доказать что в книге Прудона нищая философия: потому что в ней про-

¹ *Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Соч., т. 4, с. 185.*

должалась, хотя уже и разжиженная, вековая традиция старой метафизики. «Нищета философии» — это с подачи Прудона прозвучало как чистая правда даже не о Прудоне только, а о всей вообще философии. Но прозвучало не с восторгом открытия и радостью вступления в странный клан людей непричастных к потокам богатства, а с превосходством человека, который раз навсегда решил порвать с жалким прошлым. Который за два года до того набросал в записной книжке и тезисов, кончавшихся решительным: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том чтобы *изменить* его»².

Первая половина этого тезиса неверна. Философии приписано больше чем она делала. Она остерегалась объяснять мир; самое большее, на что она замахивалась, было видеть мир. Мир невидим. Вторая половина тезиса очень странная. «Дело заключается в том чтобы изменить его». Чье дело заключается в этом? Дело философии, по-видимому. Она должна перестать быть нищей. Она должна перестать нищенствовать. Она должна взяться за изменение мира. С миром надо что-то делать. Нищая философия оставляла его какой есть. Надо решительно прийти, не дожидаясь ничего пришествия, и мир насилия разрушить. Это выполнит класс, которого сила в том, что он нищий, еще больше нищает и обязательно абсолютно обнищает! Поразительно. Философия должна перестать быть нищей, это позор чтобы она мирилась с миром, но сила, начинающая новую эпоху, у нищего пролетария. Нищета позор, но смотрите! — рычагом изменения мира оказывается она.

Мысль всегда знала силу отрешенности. Открытием Маркса была не эта сила сама по себе, а механизм, ставящий ее на изменение мира. Маркс по-своему повторил Фалеса. Когда древнего мудреца из-за его бедности укоряли в ненужности философии, он, зная из своего изучения звезд между прочим о будущем урожае маслин, еще зимой — у него тогда случилось немного денег — внес задаток за найм всех маслодавлен в Милете и на Хиосе. Он их нанял таким образом за малую сумму, поскольку никто не давал больше, а когда пришла пора и спрос на них из-за количества маслин вдруг возрос, он стал отдавать их внаем на условиях, какие сам ставил, и со-

² Там же, т. 3, с. 4.

брав много денег показал, что философы если захотят легко могут разбогатеть, но не о том стараются³. Что Фалес сделал для себя, то Маркс для Гегеля. Из-за этого левого гегельянца с его учителем нельзя стало обращаться как с мертвой собакой. Было показано, на что способна мысль, вторгнувшись в мир богатства и денег. Что философия такое может, не всякому сразу видно. «Рассказывают, что наблюдая звезды и глядя вверх Фалес упал в колодец, а какая-то фракиянка — хорошенькая и остроумная служанка — подняла его на смех: он желает знать то, что на небе, а того, что перед ним и под ногами, не замечает»⁴. Но именно по звездам Фалес увидел путь к обогащению. Разбогатев, он вернулся к ним. Марксизм, бульдозером пройдя по планете, еще долго доказывал могущество философии. Он постепенно ослабевал. Он нашел себе почву в стране, имевшей опыт нищеты и чутье к ней. Догадка, что здесь ключ к истории, сумасшедшая вначале, тем более захватывающая что сумасшедшая, зажгла людей: всё удастся перевернуть, поставив на нищету; она сила, против которой ничто не устоит. Срыв движения наступил не через 79 лет, а сразу. Неимущий, решив распорядиться имуществом, уже богат; таинство нищеты вдруг развеивается, начинается грязь обмана, пока не обвалится вся постройка, поставленная на той великой правде что нищета не безобидная вещь.

А нельзя было чувствовать что так случится? Можно, и опять же намного раньше первого жеста нищеты, решившей перестать быть нищетой, были ясно видевшие, куда это ведет (а куда собственно ведет? куда пришел Фалес: к обогащению неимущих, постановивших стать богатыми, и только; или куда ведет тех, кто на дне, открытие, что они на дне и что это положение имеет свойство перевертывания? Только к тому, что, кто был на своем дне, станет на самом верху.). Можно было и больше: понимать, что нищета не обязательно противоположность богатству, в двух смыслах, что нищета и не сводится просто к отсутствию богатства и что, наоборот, богатство ей не мешает.

В том же 1886 году, когда в Женеве в переводе Веры Засулич вышла «Нищета философии» Маркса по-русски, в Моск-

³ Аристотель. Политика I 4.

⁴ Платон. Тезет 174 а.

ве в типографии Лисснера и Романа, Арбат, дом Платонова, была издана за счет автора, учителя географии провинциальной гимназии Василия Розанова, книга «О понимании» тиражом 500 экземпляров. Что для Фалеса была насмешка фракиянки, то для Розанова были издевательства коллег-учителей над толстой книгой, которую просто никто не купил, половину тиража вернули автору, другую продали на обертки в магазине. Розанов поступил как Фалес. Когда его не захотели нищим и свободным, он показал, какую власть над умами способна захватить нищета духа, но рядом с гордостью от успеха (печатаюсь не меньше других, к 54 годам жизни накоплено 35 тысяч, десять человек вокруг меня кормятся) чаще повторяется одно и то же: насколько не нужны ему известность, издания, влияние. Говорить что Розанов «перешел» от метафизики своей философской книги к «философии жизни» или чему-нибудь еще значит не догадываться, что мысль размаха розановской со своего раннего начала и до конца имеет дело с одними и теми же первыми вещами, что она должна быть разной и меняющейся чтобы хоть своими метаниями показать, перед какими необъятными вещами стоит. Розанов остается малоизвестным. Пикантности, которые о нем говорят в порядке его «анализа», запланированы им самым. Почти все сказанное о нем сказано пока без чтения его первой книги. Розанов нас привлекает, всегда захватывает или задевает; он знает, как это делать, так неужели он не будет знать, чем он нам покажется сначала и что окажется потом. Кто такой Розанов, тот, которого мы знаем, или тот, который понимает нас? Кто кого больше знает, мы его или он нас?

Богатенький Розанов, который нас, читателей, приобрел, похож на монополиста Фалеса, владельца маслодавлен. Настоящий Розанов как Фалес, как мы нищий и брошен в потерянность и свободу. Мы найдем его как сами себя, оглядываясь вместе с ним на наше положение. Он не в каком-то своем тексте, а в *понимании*.

На первой странице предисловия книги с этим названием сказано, что все человечество явно трудится, но не очень хорошо знает над чем. «Положение трудящихся, от которых остается скрытым и то, что именно возводится ими, и то, зачем оно возводится и где предел возводимого — не может быть удобно... Может случиться... что придется или оставить не до-

строивши, или, еще хуже, совсем уничтожить». Тем не менее однако подзаголовок книги гласит: «Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». Что же Розанов, интересно, в своей книге исследует? Ученый исследует предмет, который по крайней мере существует. А цельное знание? Во второй же фразе книги Розанов констатирует: «Трудясь в отдельных областях знания, мы никогда не имели ни случая, ни необходимости задуматься над ним, как целым». Раз не имели случая даже задуматься над целым, то наверно целого пока и не построили вовсе, только разрозненные части. Розанов хочет исследовать, чего нет. Действительно, он так и скажет в главе первой: «Истинное знание может быть образовано не только о том, что существует и чему это знание может соответствовать, но и о том также, что должно существовать и чему должно соответствовать это существующее». Истинное знание — о целом, которого нет и которое одно только и имеет смысл исследовать. Вся большая философская книга тридцатилетнего Розанова складывается вокруг этого есть и нет. Цельное знание, стоящее на понимании, — его нет, но и кроме и помимо него ничего нет, так что только оно на самом деле есть; даже не так, что если раскопать (археология) вавилонскую башню знания, какой она поднялась почти до неба и почти сразу же заваливается, то можно найти части, идущие в дело, а во всем этом здании, вавилонской башне науки, на самом деле нет ничего кроме цельного знания, с самого начала и не было, потому что неоткуда больше взяться, и все равно его там нет.

До последних своих записей на этой загадке *есть и нет*, как Парменид на бытии и небытии, стоит весь Розанов. Отсюда его настроение мира, примирения с нищетой, из которой он вышел и от которой не ушел, потому что вышел только тем что в нищете увидел богатство. Розанов мирный, он не хочет ничего переворачивать, мало что предлагает изменить. Он захвачен тайной, которая и тайна России: нищеты и богатства, нет и есть, пустоты и полноты. Всю свою жизнь Розанов при этой тайне. За пятнадцать лет до Розанова с обитателей его духовной родины, Симбирска, И. А. Гончаров списывал Обломова; через пятнадцать лет после Розанова из Симбирска рвались в центр, горя жаждой дела, молодые Керенский и Ульянов. Розанов стоит посреди полюсов неподвижности и бешеного дви-

жения, замороженный тем, что Россия такая, вмещающая крайние напряжения. Контраст казался невыносим, серия мобилизаций, очень скоро тотальных, следовавших уже впритирку одна за другой, причесали Россию, уравниали полюса, сбили напряжение. Розанов почти единственная наша мысль, вынесшая размах, вобравшая его в себя вплоть до записи конца 1918 года: «Nihil в его тайне. Чудовищной, неистоведимой... Тьма истории. Всему конец. Безмолвие. Вздох. Молитва. Рост...»

Бывает ли у человека поступок, где он не расколот? Это поступок понимания. «Цельное знание» не собирает отдельные части в общую картину, а стоит на том начале, где нет распада на две части, «двух голов» (Парменид). Разум разносит свои приобретения в два разных места и в науке отталкивается от метафизики, а в философии «обобщает». Делит познание на чувственное и логическое или расколот еще как-нибудь по-другому. Розанов и Парменид правы: разум складывает свое имущество в два разных хранилища. Но добывает он его тоже в двух разных местах? «Положение обозревающего могло бы стать безвыходным, если бы вне науки и вне философии не лежало третьего, что может быть поставлено наряду с ними, чего не может коснуться сомнение». Раньше раскола было внимание. Розанов: в начале всякого знания не должно еще только быть, а уже *было* простое. Оно забыто. Нус, не вынесший амехании, становится блуждающим (Парменид). Амехания, невозможность ввести в действие механизмы ума и тела — замороженная неподвижность, захватывающая человека при встрече с миром, невидимой вещью, согласным покоем, покоем согласия. Розановская каменная задумчивость.

На этой границе нищеты и брошенности, безусловной нищеты и безусловной свободы — не свободы для манипуляций, а таинственной свободы от механизмов, — можно остановиться в перечислении того, чего надо ожидать от философии, приступая к ее чтению. Что мы найдем там, мы найдем читая; но мы мало что в ней прочтем, если не будем готовы к тому, что человек там уже не бежит от того, от чего мы все еще бежим. Можно годы просидеть над «философскими текстами» и не прочесть ни строки философии (Жак Деррида); дело во взгляде, ищущем и вбирающем то, что ему нужно. Философия *не* нужна. Она так же не нужна, как, похоже, никому уже не нужен сейчас человек.

Мы читали философию на редкость, в целом мире на редкость мало и неравномерно — скажем, все еще читали Энгельса, когда надо было уже Ницше, и Чернышевского, когда надо было уже Розанова. В Институте электрификации сельского хозяйства, где сразу после армии я работал техником-лаборантом с датчиками, доمودельными шнеками и экспериментальным силосом, в другом, кабинетном помещении, т. е. имея дело с теорисей, сидел приятный, спокойный, полноватый, пышущий здоровьем инженер с круглым русским лицом. Его звали Василий Васильевич. Узнав, что я читаю философию — я тогда переводил «Идею университета» Карла Ясперса и мечтал заинтересовать этим заведующего лабораторией, все-таки научно-исследовательское учреждение, — Василий Васильевич рассказал, что в начале института как-то зачитался взятой в библиотеке философской книгой, она его странно захватила, «мороз по коже пробирал». Он сказал об этом библиотекарьше, «дайте что-нибудь еще такого же почитать», но та отсоветовала: вредно для здоровья, можно сойти с ума. С тех пор он больше никогда философию не читал. Он умер через немного лет после этого разговора, далеко не старый, не узнавший себя.

Но даже если бы мы получили хорошее философское образование, мы все равно были бы растеряны перед философией. Наша растерянность настоящая. Происходит что-то важное, кажется — необратимое. Философия это такая вещь, которая дает быть событию и вмещает его в себя так, что не закрывает его. Философия не арсенал средств, которыми надо вооружиться. Как будто мы не вооружены уже до зубов. Философия это прекращение хватки, которая все равно бесполезна, и возвращение к ранней захваченности.

О. СЕДАКОВА

МОРАЛИЗМ ИСКУССТВА, ИЛИ О ЗЛЕ ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

— «А мораль у этого такова...»

Кстати, вы знаете, что такое мораль?

— Конечно. Это от чего мрут: ну, палка, дубинка...

Из разговора с детьми

— Интересно, почему вечера всегда такие скромныс.

Из другого разговора, на закате

Когда рассуждения заходят об *искусстве и религии*¹, почти неизбежно рядом с этими двумя неизвестными возникает третье: *мораль*. Чаще всего, мораль в таком случае — это то, что останется в результате вычитания *искусства из религии*.

Но иногда дело обстоит и хуже: то, что называют религией, и мыслится как определенный род морали — и вряд ли много больше того. Я говорю: морали, а не этики, потому что в русском языке есть некоторое различие между двумя этими, латинским и греческим, заимствованиями, не говоря уже о собственно русском (впрочем, позднем и ощутимо книжном) термине «нравственность». Приведенная в эпиграфе детская этимология «морали» (по аналогии с «пищалью»: «морить — мораль»), в сущности передает тот семантический оттенок, которым пропитано это слово в нашем языке. Если мораль и не уморит до конца, то, во всяком случае, она ощутимо стесняет в движениях. От морали мы не ждем для себя ничего хорошего; мы уверены, что тот, кто для нас ее составлял или нам ее читает, также ничего хорошего от нас не ждет. А это все-таки обидно. «Палка, дубинка» морали обрушится на нас, если мы ее не исполним. Мораль оповещает о неизбежном наказании и уже им является. Наказание это, среди другого, и в том, что моралью нас обидают, отнимая все, что было до нее — и отлично без нее обходилось. Например, бас-

¹ Этот текст представляет собой выступление на конференции «Искусство и религия», проходившей в 1997 году в Минске. Немецкий поэт Вальтер Тюмлер (Walter Thümler) и православный священник о. Александр Геронимус, чьи имена появляются в ходе изложения, были участниками этого обсуждения.

ня, которую мы прочли, с удовольствием вникая в подробности происшествий, слога и характеров, — вдруг целиком отбирается у нас: оказывается, все это что-то «значило» и само по себе не важно.

То есть, говоря серьезнее, мораль удручает не только своими бедными и безотрадными антропологическими посылками, своим космическим пессимизмом (*У сильного всегда бессильный виноват; И в сердце льстец всегда отыщет уголок* и под.) и злорадством своих сюжетных, «моральных» выводов (ага, так и вышло!

*А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь!* —

а почему бы им, собственно, не согдиться, *ad majorem Dei gloriam*, как в одной немецкой сказке?) — но и тем, что она, как метафизика, упраздняет существующее. Она говорит: смысл не в том, что есть; из того, что есть, нужно еще извлечь моральный корень. Корень извлечь, а ботву выбросить.

К моралистам обыкновенно относят тех писателей, которые очень хорошо усвоили *conditio humana* ², которые и сами не забудут, и другим забыть не дадут, что мир сей несовершенен, радикально испорчен, человек малодушен и «наши добродетели суть замаскированные пороки», как заметил Ларошфуко. Морализм отменяет историю как историю какого-либо созидания: пороки всегда те же. Свирепым духом этого морализма веет от классической механики: действие равно противодействию; от теории эволюции, производящей отбор по выживанию; от рефлексов Павлова (ах, вот такой несчастной собакой со вставленной фистулой, по которой отделяется слюна, мне представляются все басенные звери, да и вообще все существа у моралистов и нравоописателей, начиная с Теофраста); в общем, от всех наук, которым нас учили в средней школе. Отучивая от какого-то предыдущего знания о мире как детского и неграмотного — и так крепко отучивая, что *научно и морально* воспитанный читатель уже не узнает никако-

² «Положение человека» *лат.*, термин, имеющий в виду наше существование в условиях «падшего мира». Чаще всего «падший» в этих употреблениях реально значит просто: «плохой»; динамический смысл «падшести», то есть соотношенность с некоторым иным, высшим состоянием, предшествовавшим «падению», просто уходит.

го своего опыта в поэтических образах и отнесет все это по разряду авторской фантазии и эстетики.

Об эстетике я говорить не собираюсь, а науку неоправданно и необоснованно быстро вспомнила в связи с моралью, хотя бы потому, что она — четвертое привычное неизвестное нашей темы, по крайней мере, молчаливый фон, на котором выясняются другие отношения. Искусство обыкновенно противопоставляется науке — и уже в силу общей *ненаучности* может быть сближено с религией (быть может, этот случай и имел в виду Вальтер Тьюмлер, говоря о том роде решения нашего сопоставления, когда «веру превращают в искусство», предварительно сведя искусство к существованию в виртуальном, по-старому говоря, «внутреннем», потустороннем критерию истинности мире). Будучи, к сожалению, совершенно несведущей в естественных науках, я, тем не менее, слышала, что противопоставление науки и религии в старом смысле давно не актуально для самих ученых, что новейшая научная мысль оставила и свои доктринальные амбиции и — в целом — тот «научный» образ мира, в который никакими усилиями нельзя вписать действие творящей воли. Но бытовой осадок «научности», которым живет наш современник, принадлежит прошлому. И то, что его составляет, я бы назвала космическим морализмом, с его детерминизмом, с его прямой перспективой причин и следствий; бессмысленных, нетелеологических причин, причин, равнодушных к единичному и уникальному, как мораль.

Я подчеркну, что говорю о морали и морализме, а не о творческих нравственных учениях, таких, как аристотелево, которое не менее имморально, чем Цветы Зла, — с точки зрения викторианского (назовем его так) морального кодекса³. Этим условным эпитетом я обозначаю тот моральный кодекс, который в общем-то по своей сути не слишком отличается от уголовного. Сходство их в том, что они должны охранить общество, общественный порядок от человека: от некоторых его нежелательных и опасных возможностей (несомненно, оба эти кодекса сохраняют и самого человека от возможного рас-

³ Просто потому, что исходит из счастья как существа этической жизни — а какое счастье допустимо в мире морализма, кроме осознанной необходимости несчастья или его осознанной полезности.

пада его личности, но это скорее побочное действие). Искусство же настолько явно занималось и занимается апологией многих из этих нежелательных возможностей, что общим местом стало определять его как имморальное или даже аморальное. Не буду приводить наглядно эпатажирующих выступлений художников против тех или иных моральных устоев (семейной, трудовой, гражданской добродетели и под.). Вспомню менее скандальный — но по существу гораздо более глубокий вызов бытовой моральной мудрости: стихи Дилана Томаса, посвященные умирающему отцу:

*Не уходи смиренно в добрый путь,
Пусть старость будет мечь и гром и шквал;
Бунтуй, бунтуй, что умирает свет.*

*Мудрец, ты убедись: тьма права,
Ведь слово меркнет и чадит, но ты
Не уходи смиренно в добрый путь.*

*Ты, праведник, когда последний вал
Слизнет твои дела, как пестрый сор,
Бунтуй, бунтуй, что умирает свет.*

*Безумец, вовлеченный в пляску солнц
И поздно разгадавший: это крах,
Не уходи смиренно в добрый путь.*

*Муж чести, в чьи глаза глядит, слепя,
Слепых очей свистящий метеор,
Бунтуй, бунтуй, что умирает свет.*

*И ты, отец, на скорбной высоте
Благослови меня и прокляни.
Но не иди смиренно в добрый путь.*

Бунтуй, бунтуй, что умирает свет⁴.

Я нахожу это сопротивление морализму более глубоким, потому что оно касается, быть может, его радикальной основы: функции усыпления, усмирения, укрощения жизни, которому даются заманчивые религиозные названия смиренности, просветленности, послушания. Если же хоть на минуту вду-

⁴ *Dylan Thomas. Don't Go Gentle Into That Good Night.* Перевод мой — О. С.

маться, ничто так не противоположно духовному дару мира и кротости, как эта позиция, выраженная во множестве по-словичных речений типа «время лечит».

Time is no healer: the patient is no longer here — 5

холодно возражает на это Т. С. Элиот (*The Dry Salvages*, II). И так же, как Д. Томас, но не наощупь, а с открытыми глазами осознания он обличает «высокую мудрость» старости:

*Do not let me bear
Of the wisdom of old men, but rather of their folly,
Their fear of fear and frenzy, their fear of possession,
Of belonging to another, or to others, or to God⁶.*

(Old Coker, II)

И не дерзость, как принято ожидать, противопоставляет автор «Квартетов» этой ложной «ясности» (*serenity*), а со всей веской обдуманностью — не что иное как смирение!

*The only wisdom we can hope to acquire
Is the wisdom of humility: humility is endless⁷.*

(там же)

Ту же тему я слышу в мандельштамовских стихах о вдохновении:

*И когда я наполнился морем,
Мором стала мне мера моя.*

Мне кажется, уже из этих примеров нетрудно угадать, что то, что называют (в том числе, и сами художники) имморализмом, вернее понимать как мораль, и даже морализм особого порядка.

В этом повороте мне и хотелось бы сегодня увидеть искусство. Несомненно, парадоксальная и скрытая дидактика — не

⁵ Время — не врач: больного уже нет на месте.

⁶ Не говорите мне
О мудрости стариков, но лучше об их дури,
Об их страхе страшиться и безумствовать, их страхе обладать,
Принадлежать другому, или другим, или Богу.

⁷ Единственная мудрость, которую мы можем надеяться обрести, —
Мудрость смирения: смирение бесконечно.

последний и не высший план произведения и производящей деятельности художника. Скорее, это его предварительная, негативная составная, то непременно условие, после исполнения которого возможно само про-из-ведение, сама вещь искусства, не перестающая удивлять нас своим как будто надчеловеческим, нерукотворным, непросчитываемым (обыденным конструирующим разумом) качеством *целостности*. Качеством целого, которое не равно сумме своих составляющих.

Самые интересные и плодотворные сближения художественного опыта с духовным производятся — как это сделал о. Александр Геронимус — на другом материале: на материале созерцаемых образов, которые могут быть до странности сходны. При этом остается загадкой, каким же образом темная, дикая, страстная, не прошедшая аскетической обработки душа художника видит что-то родственное тому, что известно подвижнику? Или это игра случая, иррациональное, *несправедливое* (*«но правды нет и выше»*) благоволение небес к гулякам праздным, так оскорблявшая Сальери? К мелким, черствым, эгоистичным и расчетливым существам, как Импровизатор (читай: Мицкевич) из «Египетских ночей», как множество высоких авторов в мемуарах их современников. Несоразмерность, которая заставила Заболоцкого закончить свои размышления на эту тему открытым вопросом:

*Почему, потрясая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства?*

Всем известно романтическое решение этого вопроса, по своему благополучное: да, таков автор до и вне действия художественного дара (*«Пока не требует поэта»*); действие же этого дара иррационально (*«неразумная сила»*) и не ограничено никакими личными свойствами одаряемых. Нет, пожалуй, кое-чем ограничено: приличного и порядочного человека этот дар не посетит. Человек искусства не только *может* быть монструозен: он едва ли не *непременно* монструозен, это едва ли не его профессиональная обязанность, быть жалким моральным чудищем. На этом месте — на месте обязательности того, что «обыватель» назовет дурным поведением, — романтизм становится богемой, особого рода жизнестроительством — если

можно так назвать преднамеренное и небескорыстное (по-скольку имеющее в виду «создание шедевров») разрушение всего окружающего.

Я не испытываю ни малейшей приязни к богеме и не возьмусь её защищать даже ради памяти о людях, дорогих для меня, создавших прекрасные вещи и при этом принадлежавших богеме всем своим образом жизни. Я продолжаю думать, что связь между этим образом жизни и их созданиями — просто отрицательная. Расхожие рецепты богемы, которые мне приходилось слышать от множества наших сочинителей, не создавших при этом ничего заметного (например: «Чтобы написать стоящие стихи, необходимо влюбиться в мерзавца» или «Великое стихотворение — это или история болезни, или история преступления» и т. п.) внушают мне отвращение одной своей недодуманностью. Почему, скажем, не обсуждается тот простой факт, что миллионы историй преступлений и историй болезни не породили «Цветов Зла» или «Братьев Карамазовых»? так же, между прочим, как бесчисленные фрейдовские комплексы и психические патологии, будто бы неотделимые от гениальности? почему не подумать о том, в какое монотонное психическое состояние втягивает человека настоящая болезнь, настоящее преступление, настоящая страсть к мерзавцу, не оставляя ему свободных зон для обдумывания *«формы плана и как героя назову»*. И — в какое монотонное состояние втягивает богема как род жизни? Но то — романтическое, как его принято определять, — наблюдение над странным контрастом «темного» или «ничтожного» художника и его «божественного глагола», из которого скроила свою пародию богема, стоит обсуждения. И чаще всего, по моим наблюдениям, именно богему, то есть пародийное эпигонство романтизма, и имеют в виду, когда говорят о романтизме вообще.

Описать богемный сдвиг этой темы, мне кажется, помогает один феномен человеческой культуры, отмеченный общим языкознанием (автор этого наблюдения — Э. Бенвенист). Я имеем в виду так называемый парадокс перволичного высказывания. Не все высказывания возможны в перволичной форме; некоторые глаголы, употребленные таким образом, да еще в настоящем времени, создают заведомо невозможные — в своем прямом смысле — высказывания. Простейший

пример: «Высказывая эти мысли, я заблуждаюсь». В будущем времени — то же: «В последующих рассуждениях я буду заблуждаться». При этом во всех других лицах фраза такого рода будет совершенно нормальной: «Высказывая эти мысли, он заблуждается». Так вот, мне кажется, богемный дискурс нарушает парадокс перволичного высказывания. Вот образец: поэсса о себе:

*Жила в позоре окаянном,
И вся ж душа белым-бела.*

За несколько десятилетий до нее — Есенин:

*Пускай я иногда бываю пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивный свет.*

Да, почти то же напишет Клодель о Верлене (*И лучше напиток-ся, как свинья, чем быть похожим на нас*) — но в третьем лице! И это не вопрос грамматики, это вопрос, я бы сказала, той стыдливости, которая положена в основу человеческой реальности; в том числе, речевой, но только — в том числе. Знаменитый призыв, уже несколько переходящий черту этой стыдливости: «Полюбите нас черненькими!», в перволичном богемном варианте (приблизительно: «черненьким я себя люблю, потому что и так получше некоторых!») становится полной непристойностью.

Итак, мое отношение к богеме ничуть не одобрительнее, чем у ненавистного ей «обывателя». Впрочем, и сам этот «обыватель» если чем и неприличен, то тем, что он точно так же, как богемный гений, нарушает парадокс перволичного высказывания. Правда, во фразах и бытовых жестах другого рода. Приблизительно в таких, как известные благодарственные слова фарисея. Если же на месте евангельского мытаря мы представим грешника, который говорит: «Спасибо, что Ты не создал меня таким, как этот, порядочным, чистеньким и т. п.!» — мы получим полную картину противостояния богемного гения и обывательской среды.

Но вернемся к теме «несправедливого дара», «неразумной силы искусства». Боюсь, что мы касаемся при этом слишком большой темы, не морального, не эстетического, а богословского ряда: темы благодати и свободы воли. Совсем ли несправедлива эта несправедливость и неразумна такая неразум-

ность, вопреки ли она *всему* в «гуляке праздном» или с чем-то в нем связана, с чем-то, чего бытовая мораль не отмечает как добродетель, отсутствие чего не относит к порокам и что не вмещает к исполнению? Один из православных подвижников писал, что в любом истинном даре участвует человеческая свобода: дар не даруется без некоторого глубокого согласия принять его.

Какого же рода согласие, согласие на что можно предположить в художнике? Ответ на этот вопрос и привел бы нас к представлению о том, что такое искусство (или произведение) как моральный урок.

В сущности, кратчайшее, минимальное условие существования в роли художника уже названо:

*И быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.*

Становится ли что-нибудь яснее из этого определения? Боюсь, что нет, потому что само представление о «жизни» и о «*быть живым*» относится к самым забытым — забытым, не в последнюю очередь, усилиями бытовой — как сказал бы герой Достоевского, евклидовой — морали, которая требует от своих воспитуемых вовсе не «быть живым», а «быть правильно исполняющим определенные запреты и предписания». Такого рода дидактическая установка легко становилась ходовой религиозной моралью и провоцировала естественное сопротивление со стороны тех, кто имел вкус к художественному восприятию жизни (как Ницше). Эта мораль, позиция дистанцирования, получала в немецком языке имя «дух» (Geist) и противопоставлялась «жизни» (Leben) как имманентности (в частности, в мысли Томаса Манна), могучей иррациональной силе, не ведающей различения добра и зла. Моралисты избирали этот «дух» против этой «жизни», художники — «жизнь» против «духа». Томас Манн предложил «герметически» связать их, смягчая противостояние Мифа («жизни») в его красоте, плодотворяющей силе и нечеловеческой жестокости, и Гуманизма («духа») при посредстве третьего участника действия — Иронии. Но откуда взялась сама эта тема противопоставления «жизни» «духу»? Разве не говорят нам первые же страни-

Здесь мы сталкиваемся с той заброшенностью темы природы (или мира, или творения, или жизни) в морали, и в религиозной морали, в том числе, о которой говорил Вальтер Тюмлер. Механическая и утилитарная, циничская по существу картина жизни (ср. *Жизнь есть товар на вынос...*)⁸ составляет общее пространство «современности», внутри которого, не меняя его, хотят поместить уголок «религиозного». Но религиозное в пространстве таких свойств поместиться не может! Оно принимает в нем такой же условный вид, как изображение нимба над головой святого в поздней благочестивой живописи натуралистического письма: в таком зрении нимб не виден! И он может читаться или как простая аллегория среди неаллегорического изображения, или же — в согласовании с ним — как особый головной убор, очевидно, из легкого металла, из фольги... Так же, на мой взгляд, выглядят и морально-религиозные предписания в своей популярной версии — они дают множество конкретных рекомендаций, но не охватывают всего реально присутствующего пространства жизни, его глубины, того, что его строит⁹.

У искусства, пока оно искусство, а не производство вещей

⁸ То, что в этих стихах Бродского именуется «жизнью», другой поэт назвал бы «житьем»:

*Ты благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга...*

⁹ Но о том, какие далеко не «эстетические» последствия имело сужение «добродетели» и «праведности» до скупого исполнения некоторых простейших и одних на все случаи требований, в какой мере оно оказалось ответственно за то, что нацистские акции могли осуществлять люди с сознанием собственной моральной безупречности, писал человек совсем другого, чем Ницше, склада, Дитрих Бонхеффер: «С социологической точки зрения речь здесь идет о революции снизу, о бунте посредственности». И далее: «Недовверие и подозрительность как доминанты поведения есть ничто иное как бунт посредственности». *Д. Бонхеффер. Сопrotивление и покорность. М.: Прогресс, 1994, с. 256, 257.*

Но об этом же — в другом, более мягком тоне — свидетельствует и православный подвижник нашего века: «Мне кажется ясным, что все страдания мира никак не могут быть приписаны Творцу мира. Люди странным образом избирают не лучшее, а нечто среднее. Не говорю — худшее, но среднее. Однако это среднее, когда каждый цепляется за него и не хочет расширить сердце свое больше, это среднее все же становится тесным. Так, *вся наша жизнь проходит в борьбе с теснотою сердца людей. И скажу правду, нередко я стою на грани отчаяния*» (Письмо от 27 июля 1957 года). *Ахилемандрит Соборно-*

в форме вещей искусства (что мы все чаще наблюдаем), есть знание о другом образе жизни. Оно выражает его радикально: оно говорит, что все прочие образы жизни жизнью просто не являются.

*Und solange du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde*¹⁰.

Образ жизни — блаженная тоска, *selige Sehnsucht*. И тоска не по «иному» миру, а по этому, «вот этому», скажем по-гетевски. Образец ее — жизнь природы, которая только так и может длиться. Моральный рецепт искусства (который выражается не столько в словах, как приведенные выше гетевские и пастернаковские, но прежде всего — в самой форме произведения, в пороговости этой формы в сравнении с формами непроеденными) — радикализм. Он так настоятелен, что это и заставляет меня говорить не о моральности, но о морализме искусства, о его дидактическом задании.

И это морализм естественного (см. второй эпитаф). Упомянутые выше в связи с разными цитатами «кротость», «смирение» и т. п. — не социальные, не условно-традиционные и психологические добродетели, а то, для чего русский язык не выработал своего слова, смысловой круг которого расходился бы от «растения» до «благородного мужа», как в латинском *virtus* или греческом *ἀρετή*. Этот морализм основан на знании живого как благородного. Все другое не просто плохо или нечестиво — оно не живо. Мелиорация неживого, селекция среди неживого не входят в интересы художника. Но ведь они не входят и в интересы жизни — и с особой силой в область той жизни, о которой говорит Господь (Ин 10, 10).

*Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье*

¹⁰ *И пока у тебя нет этого,
Вот этого: Умри и стань! —
Ты только унылый гость
На темной земле.
Гете, Блаженная тоска.*

*Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.
Только свадьба, вглубь окон*

*Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.*

Воздушная версия этой темы у Пастернака рядом с огненной гетевской кажется более благополучной в «моральном» отношении: почти проповедь альтруизма! Но сколько беспечности в этом перечислении, в подборе уподоблений — и в финальном уподоблении, в этом «голубе сизом», улетающем куда-то в свою родную фольклорную стихию!

Блаженная тоска, говорит Гете. Беспечность, говорит Пастернак¹¹. Безмерность, сказала бы Цветаева. То, что говорит Блок, можно было бы, наверное, связать со словом Верность (верность как очарованность). Внимание — слово Рильке. Печаль (так, что в ней слышно: попечение) — слово Ахматовой...

Эти слова (точно или неточно они мной здесь подобраны) составляют своего рода поэтическую науку жизни; моральную науку. И любое из этих слов (а их ряд, естественно, можно продолжить, вспоминая другие поэтические миры) вопиющим образом не отыщет себе места в списке моралистских понятий.

К нашему счастью, есть место и для этих бездомных в человеческом общежитии слов, и лучше этого места не найдешь. То место, где к негодованию филантропического морализма разбивается сосуд с драгоценным миром. И если благо разумному разбойнику первому обещается быть в Царстве, то женщине, совершившей эту неразумную трату, первой или единственной обещается вечная память на земле. Я хочу сказать, что художник как моралист ближайшим образом примыкает к евангельской науке жизни там, где практическая «мораль» должна от нее отойти с негодованием, если она остается верна себе.

Враг моралиста — в общем-то, уголовный преступник. Враг художественной морали — посредственность. Опасность кри-

¹¹ Ср. «А для того, чтобы быть добрым, его принципиальности не доставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает малое.» Доктор Живаго, т. 1, ч. 7, 30.

минальных или около-криминальных наклонностей не требует доказательств. Но опасность другого зла, зла посредственности, вероятно, мало кто кроме художников оценил¹². Говоря о пародийной схватке божьего «гения» и «обывателя» (а такие фигуры, как «вожди» нашего столетия, прекрасно соединяют в себе два эти неприличия), я вовсе не перестаю считать реальным и глубочайшим противостояние художника и посредственности. Стихотворение Гете, из которого я привела последнюю строфу, открывается предупреждением:

*Sagt es niemand, nur der Weisen,
Weil die Menge gleich verböhnet,
Das Lebend'ge will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet.*

Остается только уточнить, каким же образом «неодаренность», которую принято считать основным свойством «посредственности» и гетевской «толпы», можно вменять как порок и к тому же тяжелейший? Не этой ли элитаристской спеси и боится скромная и добродетельная «толпа» в своих монструозных «гениях»? Хотя я не надеюсь, что моему отрицательному ответу поверят, тем не менее скажу, что не о «способностях» и «одаренности» в обычном смысле идет речь. Что посредственность, о которой мы ведем речь, — дело личного выбора, а не природной обделенности. Выбора житья без жизни, выбора недогадливости и невменяемости.

Кто в здравом уме выберет такие вещи, можно спросить? Тот, кто полагает, что таким образом будет от чего-то защищен: от чего-то непредсказуемого, неуправляемого, свободного от тебя. Выбирает — и защищает свой выбор. Потому что этот выбор приходится отстаивать, может быть, еще более ожесточенно, чем другой, потому что беспечная, тоскующая об огне, безмерная, печальная, внимательная жизнь не перестает навещать человека до последних дней — и на каждый ее приход приходится отвечать с большей и большей беспощадностью.

¹² Но именно так может понимать художник свангельское событие: «Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудоумием будней...» Там же, т. I, ч. 4, п.

В. БИБИХИН

ВЛАСТЬ РОССИИ

Мы до сих пор не можем сказать, что философия у нас попущена такою, какой ее надо видеть, свободной, делом человеческого своевластия (Максим Исповедник) без оглядки на обстоятельства. Но мы не можем сказать что философия не прижилась в России.

При этой неопределенности ее статуса, продолжающейся *и вот в эти наши дни с той же остротой* что двадцать и сто и полтысячи лет назад, мы все сейчас полновесные участники удивительного нерешенного продолжающегося спора. Чашка весов всегда движется то в одну, то в другую сторону и мы не знаем, какой будет окончательный ответ. Он связан с судьбой страны.

Неопределенность статуса философии напоминает о неопределенном статусе власти у нас. О власти в России много говорят и пишут. Сама власть первым ставит вопрос о власти и наше ответное молчание понимает в свою пользу. Наша будущая власть уже сейчас достаточно наивно поднимает свою голову, велит «организовать жизнь», «родить власть», «иначе будет хуже»; рожайте меня пока не поздно, советует нам она, и ее хватка сжимается не потом, а сейчас. Свежая власть часто мало понимает сама себя, но тем безошибочнее жесты нового неслыханного контроля, тем более грозные, что самой власти страшные, уже сейчас набирают силу. Цель власти власть, говорит власть; вопрос о власти главный.

Мы так не думаем. Мы просим не принимать наше молчание в ответ на вызов власти за безразличие или уступку. Как-то объяснить мы все-таки должны. Вместо рассуждений вспомним один давний эпизод. События в самом начале исторических образований, государств, движений рано и надолго вперед угадывают ход истории.

Князь Владимир Киевский основатель Руси в той ее определяющей форме, от которой ведут себя преемственные государственные образования на Восточноевропейской равнине вплоть до Московского княжества. Он образец для всей династии Рюриковичей и также для более поздних правителей, святой, креститель Руси, изгнавший иудейскую и латин-

скую веры. Если его фигура считается важной для последующей истории страны, то и способ перехода власти от него к первому его престолонаследнику должен быть тоже знаменательным. Об этом говорят, как нам кажется, пока еще односторонне.

Летописи сообщают: в 1015 году Владимир разболелся. Печенеги шли на Русь. Владимир собрал войско и послал с ним своего сына Бориса, в крещении Романа, князя Ростовского. 15 июля 1015 года Владимир умер в Берестове, своей резиденции под Киевом. «И ведавше мнози плакавше по нем все множество: боляре яко отца, людие яко строителя, нищии яко заступника и кормителя». Тут странные слова: ведали многие, плакало все это, т. е. знавшее о факте смерти, множество. Дело в том, что кончину князя скрывали, и вот почему. Борис, посланный преследовать печенегов, отсутствовал, и бояре «потаиша Владимирова преставление того ради, дабы не дошла весть до окоянного Святополка», еще одного из сыновей Владимира. Тот все-таки узнал, «з дружиною своею приспе в Киев» «вборзе» и «седе на столе отчи». Он начал раздавать имение отца и, пишет летопись, киевляне имение брали, но с задней мыслью: они ненавидели Святополка и «бяху с Борисом, чаяху на княжение, любяху бо его вси».

Когда Борис приблизился к Киеву, он узнал сразу две вещи: что отец умер и что на его место сел Святополк, которого вроде бы нужно теперь согнать. Это будет справедливо, этого хотят киевляне, он имеет на то все права, он легитимный наследник, любимый сын, исполнитель последнего важного поручения Владимира. Он однако говорит что не поднимет руки на брата. Такой миролюбец явно не годится на место правителя в крутые времена. «И слышавше то (т. е. услышав от него пацифистские речи) боляре и вои его разыдошась от него». Естественно. Что делать властным и вооруженным людям при князе, который не хочет драться за власть. Борис узнает что Святополк для надежности хочет все-таки его убить. И снова неожиданное: «Благословен Бог: не отиду от места сего, ни отбежу (эмигрирую, *àподідра́ска*), лутчесть умрети ту, нежели на чужої стране». Тем гражданским и военным, которые все-таки не покинули его, он настоятельно велит разойтись. «Идите в дома своя». Всё. За власть не цепляюсь. Войско распускаю. Часть войска расходиться не хочет.

«Ни, владыко: преданы тебе благим отцем твоим в руке твои, но се да идем с табою или одне, и нужею изженем из града, тебя же введем, преда нам тебя отец твои». То есть если хочешь, мы сами без тебя возьмем город. Нет, не надо. «Молив же их, много целова их вся и тако отпусти в дома их». Он еще пробовал вести переговоры с братом, но Святополк задержал посла и, пока Борис дожидался ответа, поторопил своих людей, которые с крайней жестокостью убили Бориса, венгра телохранителя, прикрывшего его собой, и нескольких верных людей. Летопись не скрывает, на чьей она стороне, на все века отдает на позор имена «законопреступников»: Пуща, Талец, Елович, Ляшко, они убили прекрасного доброго князя, «отец их сотона». Это сильно сказано: они воплощение чистого зла, никакие обстоятельства их не оправдают. Всё ясно.

«Святополк же окоянны, помысли в себе, рек: „Се же убих Бориса, како погубить Глеба?“» Глеб, в крещении Давыд, тоже сын Владимира, муромский князь. Конь споткнулся под Глебом, дурное предзнаменование. Оно скоро подтвердилось, ему передали от Ярослава Новгородского: «Не ходи, отец наш умер, а брат убиен от Святополка». «Се же слышав, Глеб возопи со слезами, плача, глаголя по отцы, паче же по брате: „Увы мне, брате мои, господине. Лутче бы ми умрети с тобою, нежели жить на свете сем, аще б видел брат мои мое въздыхание, то явил бы лице свое англское; толико постиже мя беда и печаль; уне бы ми умрети с тобою, господине мои“. Со слезами глаголя и моляся, подобно князю Борису словеса глаголя». Глеб, как перед этим Борис, тоже убедил дружину не поднимать гражданской войны, оставить его одного. «Лутче есть единому умрети за вся». «Окоянни же то видевшя, устремившася, аки звери диви». Опять у летописца нет никакого двойного счета, никакой скидки на исторические условия и обстоятельства, никаких точек зрения. Глеб своим: «Братия милоя, меня оставяте, а сами не погинете меня деля (ради)». Он умер, говорит летопись, молясь.

Эти двое, Борис и Глеб, оказались слишком вдумчивы, слишком чутки, слишком сердечны чтобы взять власть. Таким образом власть после Владимира не наследовала ему? Или сама власть Владимира была такого рода, что ее продолжением была жестокость? Святополк, правда, тоже не удер-

жался на киевском престоле, его согнал на следующий 1016 год новгородский Ярослав, но и Ярослав был жестокого типа, непосредственно перед этим он отличился избиением новгородцев.

Константинопольская патриархия, когда русский епископат представил ей для канонизации Бориса и Глеба, долго не соглашалась признать их святыми примерно по тем же причинам, по каким их не одобряет современный человек с Запада, впервые слыша их историю сейчас. Борис и Глеб поступили неправильно. Они должны были во-первых переступить через свое отвращение к жестким методам ради страдающих под Святополком киевлян. Во-вторых они должны были подумать о душе Святополка, своего сводного брата, и не попустить ему взять на себя страшный грех братоубийства. Константинопольские иерархи сомневались, можно ли назвать Бориса и Глеба великомучениками и мучениками за веру, ведь они страдали от единоверного Святополка, тоже крещеного христианина.

Борис и Глеб были убиты не превосходящей силой — военной силе они даже не попытались противопоставить свою такую же, — а ненавистью, сражены человеческой злобой. Они не хотели жить в мире, где преступление возможно среди братьев. В этом смысле говорит о них летопись. Но главное такими они почитаются в христианском народе. Георгий Федотов в книге «Русское религиозное сознание» (религиозное ли только? сознание ли только?) говорит, что с почитанием Бориса и Глеба как святых в мировом христианстве появилось нечто новое: русский кенотизм, принятие на себя крайнего бессилия, добровольное привлечение смерти. Добровольным был и кеносис Христа, принявшего свою казнь и не оставившего себе ничего, ничего при себе не удержавшего, как бы раздавшего себя полностью до оставления себе полной пустоты, такой, которая смогла впустить в себя подвиг. Федотов еще замечает, что в мученичестве Бориса и Глеба нет героизма, вызова силам зла: они плачущие, по-человечески слабые, совсем беспомощные, они слезно жалуются на свою участь. Если мир такой, если люди могут быть такими страшными, то не надо жить, не надо и пытаться бороться с ними силой рук. Невыносимо видеть этот ад на земле. Души подкошены, срезаны близким злом.

Что произошло с властью при передаче ее в год смерти князя Владимира? Кто должен был ее взять (Борис любимый сын), ее не взял, отшатнулся в ужасе, не вступил в борьбу с жадным злом. Преклонение перед их поступком в русской церкви и в народе означает: этот народ отшатывается от страшной власти, легко отталкивает ее от себя и выпускает из рук, не хочет идти на сопротивление злу, не полагается на силу, не думает, не заботится о своей телесной и о вечной душевной гибели берущих власть, и не потому что слаб и от трусости поддался насилию, а оттого что предпочел ослепнуть от черного блеска зла чем взглянуть в него. Ему отвратительно вступать в прения с властью, если она такая. Он боится не силы рук, против которой одной как против медведя у него может быть нашлось бы мужество бороться, а гадости и злобы, прикосновение которых хуже чумы, прилипчивее заразы. Внешне после этого отступления окончательно упрочивается деспотическая власть, диктатура, и наблюдатель констатирует все признаки несвободы, рабства. Мы уже заметили например двусмысленное, не запрещенное и не разрешенное, в ссылке и в загоне существование философии у нас. Если взглянуть однако, то здесь не чрезмерная робость, почва деспотии по Аристотелю, а умение видеть в глубине сердца. Со злом силой рук не справиться. В этом взгляде тоже есть мужество, но для особого сражения, без попытки устроиться так чтобы по возможности отгородиться от зла, пусть оно потеснится за стены хорошо отлаженного порядка. Тут ощущение, что если не мы то кто же; что больше некому принять нездешний удар; что зло, если уж оно дотянулось до нас, то от него теперь не уклонишься, не отодвинешь его за горный хребет. Против него только эти, на взгляд самоубийственные средства, за которые схватились Борис и Глеб: смирение; молитва; беззащитная чистота.

Или вернее сказать так. Мы ведь собственно еще не знаем, чем кончится встреча человечества такого склада как Борис и Глеб со злом, с ненавистью, коварством, с ложью такого сорта, как когда Святополк обманывал Глеба, что отец еще не умер, только болен, и Глеб должен поскорее прийти. Мы не знаем, потому что эта встреча еще только разворачивается. Мы уже давно знаем и теперь твердо можем только сказать, что настоящего, жесткого спора о власти земля в нашей стране

никогда не начнет. Власть, та сторона, которая будет всегда считать вопрос о власти безусловно первым и важнейшим, сумеет взять и удержать позиции сравнительно легко. Другая сторона, вопрос о власти первостепенным не считающая, не будет вооружаться, останется открытой, позволит желающим взять власть: если вам так хочется, берите ее. Власть у нас прекрасно знает и открыто говорит об этом обстоятельстве. «Народ не может создать власть, перестаньте», печатные слова того перспективного претендента на нашу верховную власть, требования которого родить ее немедленно, «к лету», уже цитировались.

Разумеется, это опасное равновесие сил. Риск свыкнуться с бесправием и отвыкнуть от свободы велик. Но это так сказать уже второй вопрос, когда главное решение давно принято. Оно уникально. Оно делает нас не Западом, хотя едва ли аристотелевским Востоком, где люди талантливо изобретательны, но слишком малодушны чтобы противостоять грубой силе.

Священномученики благоверные князя Борис и Глеб, во святом крещении Роман и Давыд, — их подвиг многократно повторен. Мы можем уверенно говорить, что если бы не было тех, кто молча, терпеливо отдает жизнь, тысячелетнее государство как наше не стояло бы, не могло бы обращаться к народу, как оно всегда делает в трудные минуты: забудьте, откажитесь еще раз от себя, пожертвуйте всем. Отвечая на этот призыв, жертвующие не ждут доводов, резонов. Иначе то была бы не жертва а расчет. Жертва приносится потому, что человек оказывается готов сказать себе: ну вот, пришел и мой час; теперь моя жизнь зависит совсем не от меня; что же, может быть настало расставание.

Трудно говорить об этом начале русской государственной жизни, о нашем отношении к смерти. Оно слишком наше дело, чтобы быть делом только нашего ума. Не мы все так учредили и нам еще не пора рассуждать со стороны о сложившемся порядке. Здесь нужна какая-то другая мысль. Наше отношение части к целому с давних пор правило нашей жизни. Что личная судьба выше общей или ценнее ее, нам этого никогда никто всерьез и с умом не говорил, чаще напоминали противоположное и стыдили за эгоизм. Что в нашу последнюю конституцию чья-то расписавшаяся рука занесла

приоритет интересов личности над интересами государства, показывает только меру лукавства законодателей. Настоящий, неписанный закон у нас другой, и когда перед малым чиновником сейчас в разгар демократии еще трепетнее чем раньше стоит тихая очередь и, как раньше, кто-то один обязательно взбунтовавшись усомнится, что так должно продолжаться, то голос вольнодумца скоро сорвется на нервный крик, а победит снова задумчивое терпение. Здесь в очереди перед чиновником совершается общественное деяние; мир, худо или бедно, сплачивается, ощущает себя. Что было бы без этой послушности вышестоящим. Наш способ победы на войне, наш способ больших строек — жертва масс. Частное должно служить общему. Подвиг Бориса и Глеба, добровольный отказ от себя вплоть до смерти, давно вписан в государственную экономию. Это исподволь берется в расчет и в нашей новой небывалой реформе. Опытные люди, общенные к деловому уровню политики, смотрят на возмущения либералов забавляясь. Демонстрации — для краткого времени вольных шатаний, в беду народ не вспомнит о правах личности.

Чтобы выстоять перед напором противника, нужно то, что по-английски называют *credibility*, способность убедить врага что на риск и гибель люди пойдут. У нас эта способность в трудные моменты оказывалась. Ложь говорить, будто в Ленинграде 1941—1944 годов люди вынесли блокаду: самых тех людей не осталось, огромное большинство умерло или было непоправимо подорвано голодом, морозом, болезнями. Что так произойдет и что правительство примет эту жертву почти миллиона людей, вписано в гласные распоряжения конечно быть не могло, но чувствовать это безусловно чувствовали и сверху и снизу. Жертва у нас в крови. Мы все знаем и призывали, что наше руководство не ставит в кризисных условиях главной целью сохранение жизни жителя. Оно поставит и эту цель тоже, но после других.

Такой порядок вещей не зависит от начальства. Отказ людей от себя не начальством и не при нас выдуман. Когда Петр Первый вел новый и новый народ на болота для непосильного труда, так что в конце концов обезлюдели деревни по всей России, все чувствовали что народ пойдет в каком-то смысле из-под палки, но по-настоящему нет. Народ принял вызов не

его, Петра, и даже не Швеции, до которой тому народу было дела мало, а вызов трудности, крайнего напряжения, края, смертного начала. За словом Сталин в последней войне стоял тот же исторический вызов предельного усилия. И снова не власть его продиктовала, сама вынужденная делать уступки в идеологии народу, армии и церкви.

«Нет, мы этого не можем, а вот за то возьмемся» — сословия, земство, общество в России редко говорили так власти. Что мир, собравшись, на что-то окажется неспособен, это у нас едва ли когда было слышно. Знали: силы хватит, потому что должно хватить. «Любой ценой». От этого, или для этого, дерзкая смелость и авось с вечным риском для жизни, не от неразумия, а от решимости: размеряй, не размеряй силы — отступить некуда, объявить задачу непосильной мы не имеем права. Вражда с правительством, недоверие ему возникали чаще когда правительство не ставило народу сверхзадач. Не очень важно, насколько незнание народом того, какая тяжесть ему могла бы оказаться не по плечу, вредно; важнее отсутствие того соображения, что если всем миром взяться, то и тогда надо будет рассчитывать, не надорвемся ли. Исторические народы имеют дело с напряжением, где полсилы не котируются. Готовность к поднятию предельных тяжестей здесь всегда раньше расчета. «Дело покажет». Вот только технологические задачи, требующие векового накопления традиций и далекого размаха свободного ума, нам часто трудны, именно потому что всякий раз с каждой новой нашей мобилизацией мы бросаем в дело и растрачиваем все наши прошлые накопления.

Из-за вкуса к экстренным непосильным задачам, которые каждый раз оказывались нам все-таки под силу, мы пренебрегаем условиями жизни, питанием, миримся с лагерным видом наших городов и селений, с состоянием дорог, с превращением простора в сплошную свалку, с неменьшим засорением голов временными уродливыми идеологическими постройками. Заботы о разумном внешнем и внутреннем обустройстве нам скучны именно потому что не требуют пьянящего напряжения сверхсил. Мы чувствуем себя избранныками истории и ждем ее призыва. Как ни отчаивается наш школьный учитель перед пассивным классом, который и не желает учиться и разболтан, сильнее уверенное знание, что

пробьет час, и некое высшее требование соберет этих недо-рослей вокруг общего дела.

Название задачи, которой рано или поздно посвятит себя у нас забыв о себе каждый человек — Россия. Она не просто страна в числе других. Россия не нация. Это всемирно-историческая миссия, сплетенная с судьбой человечества. Жизнь всех нас и каждого человека в нашей стране наполняется сознанием смысла и тайного, не показного достоинства от интимного участия через посредство российского государства в судьбе мира. Оно требует решимости всего себя отдать делу, какого потребует ход вещей, как бы ни было оно громадно, будь то небывалая перестройка общества или наступление в космос.

Так мы жили тысячу лет, так мы живем. Наша судьба, пока мы остаемся сами собой, снова подставлять плечи под самую тяжелую ношу в мире, иначе мы потеряем себя и рассеемся аки обре. Это значит, что для нас не может быть ничего более насущного чем понимание нашего места в человечестве. Что такое мир? куда ведет история? что такое мы в ней? верны ли мы себе? Знать это всего важнее. И лучшее, что есть в нашем наследии, плохо нами хранимом, это русский язык, давно уже многонациональный, русская литература с ее мировым звучанием и русская мысль, в которую мы только сейчас начинаем вникать.

Дело даже не в том, считаем ли мы призыванием России сильную власть или наоборот непротивление злу. Мы не знаем исторических судеб и в принципе никогда не должны их знать. Может быть и власть. Наше дело спросить: попытаться узнать себя мы сами можем или это за нас сделают другие? Нам говорят, повторяют: русский космос, русский мир значит вот это и то. Нам сообщают, кто мы такие. Нам это разъяснят говорливые, потому мы молчим и нищенствуем. Мы правее их в нашем истощании. Мир не то, что думают истолкователи. Мир всегда и больше и меньше чем им кажется, он неожиданный. И Россия не другое чем мир. Мир не то что недоразъяснен и требует окончательно верного мировоззрения, а он не такая вещь, которой можно было бы вообще распорядиться. Мир загадка. Он сделан чтобы сводить нас с ума. Поэтому лучше остановиться в молчании. Нас из этого молчания хотят вывести, всё нам обозначив.

Богатырь, покоряющий Сибирь, мерит свои силы. Узнает ли он при этом себя? То, что он узнает тут о своих и человеческих возможностях, не имеет безусловной ценности. Нельзя, говорит Данте, называть мудрым человека, к чьему мастерству и опыту примешано насилие. Гений и насилие вещи несовместные. Нет причин говорить, что в каких-то обстоятельствах, для каких-то целей добро и зло совместимы. Рискованно объявлять, что богатыри, завоеватели Сибири «люди величайшей духовности и главные в обществе носители подлинной культуры». Надо сначала посмотреть. Пока у нас еще не проверено и не подсчитано, что в Сибири погублено безвозвратно, что спасено, что надо делать и чего не делать чтобы выручить гибнущее. Слепое уважение к силе причиняет через школы, идеологию больше вреда чем продолжающееся сейчас растаптывание Сибири. Учительница, заливающая бездумными словами о герою Ермаке тревогу, сгущающуюся над классом, отрывает этими своими словами трубки телефонных аппаратов, бьет стекла на автобусных остановках и много хуже. Она тем не менее продолжает говорить и не может остановиться. Так же продолжают оговаривать и определять народ и не могут остановиться люди власти, националисты или космополиты. Кажется невероятным, что спасатели России могут так губить русское, ведь они этого не хотели. Но иначе почти никогда с составителями исторических расписаний и не бывало.

Как раз самое нездоровое в нашей теперешней ситуации — это мозговая атака попыток разъяснить нам ситуацию и судьбу, задачу и миссию страны и так далее. Это попытки с негодными средствами, хотя бы из-за спешки. Не хватает прежде всего догадки о том, что последние вещи не обязательно должны быть и даже не всегда могут быть прозрачны. Не всякое молчание надо заговорить. В одном отношении тяжкий догматизм, не претендующий на логику и полезность, не стесняющийся своей невразумительности, еще хранит след памяти о том, какая непостижимая вещь «предмет» всякого мировоззрения, мир. Краткий курс истории партии Сталина, катехизис для миллионов, еще дышал загадкой своего абсурда. Этого последнего дыхания тайны уже нет в новом учебнике философии с его заведомо пустым суетливым упорядочением проблем. Ложь сталинского курса обращает на себя внима-

ние своей надрывной серьезностью; ложь новой растерянной власти прячется в оговорках. В злой игре покупки и продажи акций на фондовой бирже, в откровенной, бессовестной абстрактности этих операций снова больше чутья к тайне мира чем в пресных запоздалых усилиях планирования, учета и распределения «продукции». Совсем не обязательно чтобы жизнь страны была разумно расписана. Здоровый инстинкт велит вынести говорение о России в отвлеченные, все более искусственные формы парламента. Там оно или задохнется или выговорит себя до безвредности.

Узнавание себя уводит в невидимость мира. Его глубине отвечает молчание России. В ее молчании мы узнаем себя. Наше последнее достоинство в том, что мы способны к спокойному или презрительному или негодующему молчанию в ответ на спекуляции о России. В этом молчании наша принадлежность к нестареющей России молодых Бориса и Глеба. Россия молчит не потому что еще себя не разгадала, а потому что к существу мира, которым она до сих пор остается, принадлежит тайна. Ей дает слово поэт, не нарушающий тишины своей речью.

Спрашивают, когда оно наконец кончится, молчаливое терпение, чуть ли не хотят даже чтобы оно кончилось поскорее. Оно не кончится никогда, пока стоит Россия как задача человеческой истории. В терпении ее правда. Молчание золото не для того чтобы его разменяли на бумажные деньги. Оно останется всегда, в нем нет ничего ненормального. Оно отвечает миру. Оно как мир конечно беззащитно, открыто толкованиям. Но оно есть до толкований, к толкованиям не сводится и останется после них. Молчание заглушено, но не задето сегодняшним широким говорением. Говорение отвечает его вызову, но никогда не сможет его заговорить.

Наше молчание не национальная особенность. Терпение всегда и для всех было верным ответом на вызывающее присутствие загадочной невидимой вещи. Молчанием и терпением человек говорит с миром, с его существом прямее чем это пока возможно для любого слова. На почве терпеливого молчания и храня ее выросли русский язык и русская литература. А русская мысль? Ее долгое молчание принимали за невегласие, не терпели его, раздражались им и спешили его раздражить. Вымогали от него слово, новое слово истории, реши-

тельное слово Западу, евразийское слово, русскую идею. Было бы странно, если бы ждали слово от океана. Мир вещь такого же рода. В отношении мира всегда будет верно сказать: оставьте его в покое. Узнавание себя в нем не разведка и не наступление, а скорее отпусkanie мира с миром. Важнее всякого познания здесь попытка расслышать, что пытается нам сказать в своем слове мир наш же собственный язык.

Самоопределитесь, назовите себя. За этим стоит нетерпение сердца: все народы (якобы) давно уже распределили свои дела в мире, а какое ваше? Лучше уверенно сказать: у России нет дела в мире, ее дело в *мире*, оно требует согласия, которое одно только вровень с целым. Это — что Россия мир, ее место и дело в *мире*, и нас не угадывает тот, кто спрашивает, *какое* дело и место России — конечно, пока даже не столько догадки, сколько чистые загадки, заданные нам нашим языком. Мы должны разобраться в них.

«В России не совершилось еще настоящей эмансипации мысли. Мысль наша осталась служебной. Русские боятся мысли. Нам необходимо духовное освобождение от русского утилитаризма, поработавшего нашу мысль. Необходимо вывести нас на вольный воздух» (*Бердяев. Судьба России*). Да. До сих пор наша мысль бьется в припадке и не выдерживает напряжения близости к тому невыносимому вызову, каким остается мир. И сейчас истерические призывы к мобилизации, всегда срочной, «к лету», и тотальной, «ситуация предельно критическая», срывают все попытки одуматься. Так и сейчас мир непосилен для человеческого ума. Так и сейчас вызов мира нестерпим, людям мерещится многое и они спешат в ответ на невыносимый вызов расслышать идеологическую диктовку. И вот повара, задавшись вопросами философии, варят уже какой по счету идеологический суп, подсыпая каждый свое, и один уверен что России не хватает теперь только правового сознания, добавить его и все уладится, другому нужнее научная рациональность, а третьему строгая мораль. Всем хочется выдать свои рецепты за приказ самих вещей. Одни призывы отменяются еще более нервическими. Кажется, что мысли тут уже не поднять голову, ее никто не услышит среди взвинченных до истерики призывов к делу, уверенно забывающих о том, что русский народ, особенно под семидесятилетним руководством коммунистической партии и ее правительства, уже

сделал несравненно больше над самим собой и над природой своей страны, большей частью земного шара, чем какой бы то ни было другой народ в прошлой и современной человеческой истории. Не остается уже почти ничего не сделанного. Еще немного и деланным будет все.

Вызов мира никогда не диктат. Его невыносимость как раз в том, что он ничего не велит. Он молчаливый и из молчания никогда не выйдет, как никогда не кончится ожидание народа, терпение земли. Конец терпения и конец молчания, чего многие хотят и наивно провоцируют, означал бы конец русского мира.

Дружина требовала от Бориса и Глеба мобилизации, решительного сражения, победы, взятия города, изгнания вероломного брата. Борис и Глеб сказали, что бороться за власть не будут даже под угрозой смерти. Поступок законных наследников князя Владимира в год передачи власти определил всю нашу дальнейшую историю. Империя зла? Скорее странное пространство, где зло может размахнуться как нигде, не видя понятных ему противников и потому до времени не замечая, что его власть давно и тайно отменена. Страна до краев полна невидимым присутствием погибших, молча ушедших. Они давно и неслышно стали главной частью нас самих.

Законные наследники правителя Борис и Глеб, не боровшиеся за власть, власть никому не дарили, не вручали, не завещали. Власть у них не была отнята, вырвана, отвоевана, ведь нельзя отнять то, за что не держатся. И так само собой получается, что хотя многие хватили власть в России, жадные от вида того как она валяется на дороге, власть России остается все время по-настоящему одна: власть молодых Бориса и Глеба, никуда от них не ушедшая, им ни для какой корысти не нужная, только им принадлежащая по праву, по правде, по замыслу страны. Власть России в этом смысле никуда не делась, не ослабла, не пошатнулась. Ее не надо рожать. Ей тысяча лет.

О. СЕДАКОВА

НИЧТО

Немощная,
совершенно немощная,
как ничто,
которого не касались творящие руки,
руки надежды,
на чей магнит

поднимается росток из черной пашни,
поднимается четверодневный Лазарь
перевязанный по рукам и ногам
в своем сударе загробном
в сударе мертвое смерти:

ничто,
совершенное ничто,
душа моя! молчи,
пока тебя это не коснулось.

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ ¹

Я не вижу другой возможности улучшить наше положение чем расширение личных встреч между людьми разных жизненных миров всеми приличными средствами, лишь бы удалось не соскальзывать на общие места и пустые фразы. Мы заодно, поскольку вы и я, мы с почитанием смотрим на христианские святые места, на лиц священного звания, божественные символы. Мы заодно и когда так честно и серьезно, как только нам возможно, пытаемся говорить о проблемах.

Моя проблема сегодня война, которую мое правительство начало несколько дней назад на юге, не в первый раз, против авангарда восточного и исламского мира. Самое фатальное в затяжной кампании с Азией, которую ведет наше государство на протяжении своей тысячелетней истории, это что победитель, каким пока большей частью оказывалась Россия, не проводит строго свое собственное мировое и культурное начало, будь то западноевропейский римский принцип права или другой самостоятельный идеал, а проникается силами восточной несвободы и непрямоты. Процесс, превративший Московское княжество в христианизированное татарское царство (Бердяев), до сих пор окрашивает жесты московских сильных людей в тон того же терроризма, против которого они объявляют борьбу. Взаимное политическое и культурное проникновение соседних миров само по себе естественно, временами оно позитивно. Ни одна историческая величина не может устоять перед подобными влияниями. Наша восточная Церковь в своей истории тоже пережила несколько волн ассимиляции. Одной такой волной было хотя и преодоленное, но оставившее следы иконоборческое движение, попытка византийских христиан вписаться в исламское окружение. Другой сильной волной исламского влияния, важной пружиной последнего византийского возрождения был, если приглядеться, паламизм 14 века, широкое церковное движение, начатое иеромонахом, затем архиепископом Фессалоникским,

¹ Говорилось 5.10.1999 в Институте философии РАН перед приезжими из Швейцарии философами и богословами.

ныне православным святым Григорием Паламой. В этих закономерных сближениях и ассимиляциях негативом остается однако очевидная неготовность, господствующая в светском и церковном обществе России, признать глубину восточного влияния так, как оно того заслуживает. Мы смотрим на Запад.

Всякий западный посетитель находит конечно у нас многое, что остается ему непонятно, странно и часто наверное противно. Мы во многих отношениях другие. Все люди разные, и человеческий способ сосуществования — просто допускать все различия, смотреть на них легко. Но что касается нашей западно-восточной полярности, то взаимоотношенность и расталкивание полюсов слишком актуальны, чтобы взаимно позволить себе чисто наблюдательную установку. Вы, надо думать, знаете, зачем вы приехали в Россию. Я тоже со своей стороны должен сказать, почему я перед вами говорю. Во всяком случае феноменологическая строгость велит нам исходить не из обобщенных схем, а из ближайших вещей. Мой случай позволит вам, наверное, в какой-то мере понять наше общее неопределенное положение, шаткую ситуацию.

Меня можно конечно причислить к неполноценным гражданам системы. Я естественно жалею, что для меня оказалось сначала запретно изучать нематериалистическую философию в материалистическом государстве, а потом действовал запрет на профессии, и доступ к преподаванию в высших учебных заведениях для беспартийных был ограничен. Вместе с тем то, что я оказался таким образом за бортом, можно отнести на счет общих трудностей философствования, выбранного как образ жизни. Кроме того, с христианской точки зрения все свои проблемы надо вообще рассматривать как чисто личные. Мое теперешнее положение, личное и профессиональное, по всем параметрам крайне благоприятно. У меня есть прочное постоянное место в этом академическом институте, вот уже одиннадцать лет я читаю курсы на философском факультете Университета им. Ломоносова, могу публиковать не только переводы, но и свои книги по философии, что до 1988 года для посещающего церковь некоммуниста было исключено.

Но тут начинаются проблемы, которые трудно формулировать и которые относятся к общему моему и нашему рус-

скому неблагополучию. Буду смотреть опять на ближайшее. Здесь и сейчас я говорю перед вами как гражданами западного мира в тоне признательности и признания. Вы можете ощущать всё это совершенно иначе, можете даже пожалуй внутренне не принять западной идентификации. Вы тем не менее остаетесь для меня, для нас всех личностями того свободного демократического мира, который сделал для нас возможным выход из очередного исторического тупика. Без западного соседства нам грозила бы судьба Китая, Кореи или Ирана.

Без Запада мы не могли бы вообще существовать как успешная культура. В том числе и материально, и я снова беру здесь свой пример. О деньгах, гласит немецкая поговорка, не говорят, их имеют, но то, что я хочу сказать, имеет и свою статистическую релевантность. Я имею в виду финансовую помощь от Запада, которую мы здесь сейчас получаем. Лично я говорю это неохотно, потому что мне хотелось бы чтобы дело обстояло совсем иначе, но в моем случае я за последние 10 лет получил в общей сумме почти 17000 долларов западной помощи, в основном как гонорар за мои переводы западной философии на русский язык (по разным причинам этот гонорар тоже нужно считать помощью), большей частью от Сороса; в целом это намного, почти вдвое больше чем *все* мои доходы в рублях за те же 10 лет. На печатной философской продукции последних лет я часто вижу указания на тот же источник финансирования.

О нашей культурной самостоятельности таким образом, если я не ошибаюсь и мой случай типичный, не может быть речи. Мы еще не Европа в смысле той части мира, которая, конечно с проблемами и трудностями, но все же своими собственными средствами в течение веков умела поддерживать свободную культуру. Все, что мы сегодня делаем в России, чего мы хотим и надеемся достичь, зависит от западного присутствия.

Самое неудобное и даже жутковатое остается во всем этом то, что наши миры неисправимо, полярно разные. Возьмем опять конкретный факт. Вы знаете, что заметное число российских интеллектуалов, в том числе и может быть в первую очередь из академической среды, обратились в католицизм или протестантизм. Таких однако неизменно оказывается

меньшинство. Наша православная Церковь остается по своей официальной позиции резко антикатолической. Вера большинства народа тесно связана с его историей и его положением в мире. Если рассматривать активно антизападную установку нашей Церкви как барометр нашего политического положения, то приходится сказать, что теперешнее наше политическое сближение с Западом остается поверхностным. Сегодня, как всегда, мы остаемся противоположным, восточным полюсом расколота Европы.

Этот раскол, начавшийся гораздо больше тысячи лет назад с закатом греческой цивилизации, мне кажется главной проблемой всей нашей истории. Официальный церковный раскол II века был уже давно предопределен конфликтом между Грецией и Римом. Раскол глубок и распространяется на абсурдные мелочи. Например, я ощущаю и вы возможно так же видите в искусственном, необъяснимом сохранении нашей Церковью юлианского календаря раздражающую нелепость. Еще одна нелепость — запрет литургического общения с католиками. Официальная идеология православия подорвана неразумной подозрительностью к западным Церквям, и вы не раз и скорее всего болезненно будете ощущать это при встречах с православными верующими и духовными лицами.

Неблагополучие господствует однако только на уровне дискурса и идеологии. Весь вопрос для нас в эти годы в том, есть ли у нас достаточно времени, чтобы *на этот раз* без косноязычия дать слово нашему существу, не поручая задачу кому-то другому, новому Марксу. И похоже что времени у нас в обрез. Все зависит от образования, которое никогда не сводится только к информации. К сожалению, я должен сказать, наблюдая философскую жизнь московских и некоторых других университетов, что воодушевление и динамика, заметные в годы от 1986 до расстрела парламента в 1993, теперь почти что совсем угасли. С другой стороны однако жажда более глубоких знаний, не обусловленных идеологиями, делает молодых критичными и работоспособными.

В заключение этого короткого наброска нашего положения я мог бы еще сказать, что сегодняшняя ситуация у нас как никогда благоприятна для развития здоровой мысли, которая станет основой нормального законодательства, и для появления критической теологии. Бедность? Пророки, поэты и

апостолы никогда не были особенно богатыми, что не мешало им думать и действовать.

— Какое влияние имели события последних 10 лет на религиозные вопросы и на уровень жизни? Оно было по-моему в целом позитивное. Важнее всего то, что молодые люди сегодня могут не обязательно формировать однозначные философские, религиозные и идеологические представления. Наше православие может теперь яснее видеть свои проблемы. Худшая особенность нашего общества однако та, что деление на неполноценное большинство и привилегированное меньшинство остается в нем тем же что прежде или еще более резким.

— Как обстоит дело с философским образованием? У нас жестокая нужда в преподавателях с Запада. Беда и в том, что у нас сегодня нет ни одной философской школы кроме марксистской, потому что в большинстве профессора философии и истории религии до сего дня бывшие официальные идеологи.

— Преобладающие интересы? Погоня за новинками, естественно. Даже постмодерн кажется уже недостаточно новым, и люди высматривают, не появится ли на Западе что-то еще более острое.

— Интеллектуалы-католики? Статистики нет. Люди в целом предпочитают все-таки конформизм. По личному ощущению обращений к католицизму больше, чем людям хотелось бы ради бестревожности признать.

— Восточные влияния? Несвобода. Деспотизм. Скрытность. Люди без причины, цели и пользы говорят не то что думают просто из-за непризнания ценности правды. Можно сказать, что мы живем в мифологической, сказочной ментальности, где ложь и воображение слитны.

С. ХОРУЖИЙ

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАК ПОВОД ДЛЯ РАЗДРАЖЕНИЯ

*«...новонайденный фрагмент Цицерона, — возгласил профессор Макхью, —
Наша любимая отчизна. — Чья отчизна? — спросил бесхитростно мис-
тер Блум.» —*

Чье ж положение? Володя Б. и Оля С. в положении. Обратитесь в женскую консультацию по месту жительства. Они не хотят. Они считают чтобы об их положении какому-то одному медику или там двум если в разные консультации да вы что об их положении срочно необходимо довести до трех тыщ читателей это минимум а конечно надо бы больше. Потому их положение это наше положение.

Не понял. В смысле во гроб на диван под стол под сукно на рельсу куда ваще. В суперинтеллигентских голосах металлических нотки. Нет-нет извините наше положение не смест не может быть ничем кроме как исключительно их положением потому не может быть никогда извините это не обсуждается ибо так им ведомо ибо им дано. Как прозорливцам и песнопевцам дано быть гласом и устами и ведать людские положения и за безустых и безгласных озвучивать их в преславном органе наше положение.

Не понял. Вы это всерьез, любезные господа? Будьте столь ласковы благодетели войдите в мое положение стремлюсь соответствовать что есть мочи жажду совпасть моим с вашим нашим ан хоть ты лопни не могу гляжу туда сюда а его нет нигде нет ну то есть нету у меня положения. Ваще нету никакого а нашего это уж вы ваще тут форма сама грамматическая сомнительна первое лицо у множественного числа это такое ваще бывает ох не божитесь я обращаюсь к миллионам одиночек пискнул оловянный солдатик и думали ах какой храбрый это уже предел и были неправы одиночка это ж можно сказать монумент у него ж самоидентичность а с той поры с идентичностью объявились резкие перебои и смерть субъекта сразила храброго оловянного одиночку у кого еще было какое-никакое а положение и речь о положении стала уделом слабоумия а речь о нашем положении пусто-

порожнею спесью тщетной наглостью фиктивного представительства обуявшего орды обезьян на русском гноище вот такой ширины

*Все формы репрезентативности не чужды толики фиктивности
Россия ж ныне уникальна фиктивность в ней монументальна
тотальна и вот-вот летальна*

что как ни странно ни с кого ни на сколько не снимает простого долга простого людского дела что возможно и необходимо всюду всегда в наличии и в отсутствии положения в бархате постсоветской ночи засиженном длиннохвостыми законодателями и короткохвостыми исполнителями и голубозадыми песнопевцами и желтозадыми прозорливцами и иными ведущими представителями элиты страны на беспредельном пределе крутой социальной апофатики в битосе битуме бишкеке

«Занялся б ты лучше делом, почтенный. — не без раздраженья парифровал матрос в ответ на тустые лапалиссады.»

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ ¹

У русской мысли два крыла, хромое философии и сильное поэзии. По литературе мы узнаем, что с нами происходит. Она называет наше место в мире и определяет будущее. Роман Маканина о подпольном писателе показывает настойчивую мысль о нашей ситуации, он надежный инструмент узнавания себя. Увлекает захваченность этой мысли потоком событий. Ему надо подчиниться, окунувшись в странный сильный процесс. В настоящем увлечении наблюдатель кончается. Если, что бывает крайне редко, он всплывает снова, то уже неузнаваемо другой, в трезвом бессилии, с отрешенным знанием бесполезности суесть. Становится много что видно и много что сказать, лишь бы хватило терпения.

К сожалению, инерцию литературности всегда трудно пересилить. «Оседлать интонацию», так она называется. Сплошное литературное смещение, и слово ирония здесь ничего не объяснит, лишает написанное шанса стать классикой, девальвирует меткие наблюдения, которых оказывается много до пересола: из-за неуловимости прямой цели они отходят в статус орнамента. С другой стороны, сама эта своевольная до вертлявости пластика становится героем, персоной, действующей силой романа, и схватка с самим собой делает работу автора серьезной как поединок на виду у всех.

Герой писатель идет вместе со всем населением в общем эксперименте страны, в которой отмена совести узаконена примерно так же, как семьдесят лет назад отмена религии. С ним как пустившимся в такой эксперимент происходит много эпизодов. Характерным образом по разным причинам его не может задеть крайняя беда; это подчеркнуто погружением всего с самого начала в один цвет времени. Можно назвать стиль Маканина кошмарным реализмом. Письмо интимно до стыда, которого после отмены совести не надо бояться; голая откровенность смягчена только общей серостью человеческого стада. Ночь широко открывает двери сладости, жен-

¹ О романе Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (М., 1999).

щина, универсальная валюта, сонно податлива, она и ее расширение, кв. метры теплого жилья, окутывают всё видение. Чувственность уверенно правит, так что шумные перипетии демократического переворота оказываются только ее пикантным заострением. Таково административное творчество разымчивой поэтессы Веронички, одного из лучших образов в портретной галерее, главном художественном достижении романа, всего больше служащем его основной работе, духовидению. Вечная женственность душа мира, и высота духа измеряется всегдашней готовностью биться за постель. Ночное расплавленное сердце, все проглатывая, сплавляет все со всем в *нашем* мире. Вне его есть другие, жесткие миры, которые однако прокляты и оставлены вне оценок.

Кошмар собственно все, но в *нашем* мире подчеркнута единственная важная граница. Она проходит между дном (сном) и ямой. Непишущий подпольный Писатель, говорящий в романе *я*, живет на самом дне, но убьет, не только умрет, чтобы не оказаться в яме. В яму например скатились демократы первого призыва, оказавшиеся достаточно глупыми чтобы не догадаться, какие ниточки дернули их наверх.

Подпольный писатель задет новой властью не меньше чем старой. Каждое его движение вязнет в плотной горечи, оставляющей мало места для обиды. Он конечно не такой чтобы просить себе долю в новом распределении, но горечь от неполучения того, чего сам он не стал бы брать, у него не меньше чем у всех. Острая заинтересованность дележом, в котором он не хочет участвовать, тоже странным образом остается; злость и желание расправы у него только скрытнее чем у занятых прямой дележкой. Отстраненность и переполненность грустью не мешает все равно считать обиды. Для расправы писатель, не имея определенного места жительства, зарабатывает себе на кусок хлеба, не больше, стережением чужих больших квартир.

Наблюдения над жизнью копятя для предъявления. Кому? Писатель давно перестал писать. Он понял что инстанции, которой можно было бы пожаловаться, нет. Его поведение похоже на голодовку протеста против отсутствия этой инстанции. Ею могла бы быть совесть, которой давно не слышно. Весь роман разворачивается как накопление жалоб, в одном ряду и крупных и самых мелочных, на личном счете. Их мно-

жество заведомо беспредельно. Человек с голодными глазами уже не ждет что его накормят, он заморожен умножением обид. Это становится его пищей. Он страж-самостав на вечной службе, при стихии несправедливости.

Новое, в лишенном униженным и оскорбленном человеке способность неожиданно сильно ударить. От Достоевского, взявшего вину мира на себя, писатель возвращается к Пушкину, дравшемуся с обидчиком. Под сплошным потоком сносимых со всех сторон обид спорадические вспышки гнева похожи правда скорее на срывы. Только прекращение жертвенной совестливости налицо, говорить о достоинстве, умеющем постоять за себя, пока нельзя.

«Философия удара» выглядит странно и приложена явно искусственно к переусложненным, перехитренным манипуляциям писателя, в котором слишком много мудрости и тонкости. Удар кулаком в лицо, ножом со спины в сердце слишком явно символ меткой фразы, он не вещественный. Он имеет смысл лишнего напоминания о возможности русского бунта. Бессмысленного и безобразного, трезво соглашается Маканин. Сила подпольщика не в его крепкой руке, потому что всякий раз он так или иначе оказывается снова унижен, а в правде земли. Рецепт *ударь*, разрешение себе импульсивного размаха обозначает мечтательное расставание с интеллигентщиной, понятой хрестоматийно как безысходная рефлексия. Импульсивный удар надеется сравняться, быть со всеми. Народу приписывается способность к освежающей безотчетности.

Машина времени, несущая и повертывающая людей, его темный густой поток в большей мере герой романа чем я писателя, при своей текучести собственно номинальное. Из потока, несущего в яму, должен вырваться удар — меткая фраза или кулак. Крепость кулака объясняется двадцатилетним печатанием на тяжелой пишущей машинке. Надежда вырваться остается неуверенной. В самом себе Писатель знает столько косности, что одной ее хватит на обеспечение потока. Упоеание процессом уже слишком далеко зашло. Философия удара как сути мироздания, воспоминания о гераклитовской молнии, которая правит миром, фантазии об усилиях мысли скатываются до судорожных пьяных ударов кулаком в лицо обидчика и ножом в спину. Мы слышим последние хрипы и всхлипы надежд на восстание, которые когда-то шевелились

при чтении книг. Теперь они стали ёрничеством. Всего чище надежда сохранилась только в культуре меткой лексики. Так пленники в платоновской пещере, скованные по рукам и ногам, неспособные повернуть голову и увидеть что-то кроме экрана, оттачивают способность распознавать тени вещей. Литература, чья мертвая хватка не отпускает непишущего писателя, составляет более благородную часть главного занятия современного человечества, гадания на слове. Писатель живет тем, что нанимается сторожить квартиры. Он хранитель языка, дома бытия по Хайдеггеру, которого он в подопечных квартирах читает. Дом оказывается каждый раз чужой. Интимная магия женщины отходит на второй план, все решительнее сливаясь со сном.

Так мы перечислили основные элементы маканинского пейзажа. Действие романа, и это хороший авторский прием, заключается в высвечивании наплывами отдельных деталей. Тогда они достигают пронзительной, сомнамбулической близости и лопаются, частично оттесняя кошмар, из-за чего, роман этим увлекает, поле зрения просветляется, цвет времени меняется. Не высвечивается только дно, оно имеет вязкие свойства родного болота. Обтекающее, липкое не отпускает, к концу романа совсем застилая глаза, потому и не дает взглянуть на себя. Зато все остальное, увиденное правда через одну и ту же оптику дна, выстраивается в выставку большей частью удачных шаржей, особенно из коммунального быта. Писатель дружен с художниками и кстати считает истинным дарованием не себя, а своего младшего брата, который превосходил Зверева, но был затолкан, «российский гений, забит, унижен».

Портретная галерея охватывает всю новейшую типичку. На первом месте стоит демократия, образ которой поверхностен. Образы здесь, как к сожалению и в большинстве тем за исключением литературы и отчасти женщины, почти не идут дальше актуальной мифологии. Тем более что писатель соглашается сползть вместе с демократами в распущенность, у него тоже нет и намека на понимание что демократия это прежде всего общее согласие на законный порядок, главное достоинство и первый долг власти сопротивление толпе. Угадывающие мечты об ударе и усилии характерным образом делают ставку на шок, встряску, прорыв и далеки от задачи под-

нимать. Вместе с демократами писатель понимает подъем только в свете идеала, одновременно разоблачая все идеалы в лживости. Настоящий смысл происходящего усматривается писателем в *литературе*.

Ее существо проявляется по мере того как он с болью выбивает ее из себя как пыль из ковра. Удары по себе тут действительно сыплются со всех сторон. Литературное образование пародируется в навязчивой, липкой мимикрии зыбучего *я* под всех встречных. От самого себя это *я* прячется, не называя себя по имени, в протейском *Петровиче*. Имя имеет гениальный брат писателя, художник, который уже не присутствует в этом мире, давно погрузившись в ад и ужас. Писатель зацепляется за всех, всё подцепляет и волочит за собой бесконечную цепь зачатий. Новый Чичиков, он болезненно просачивается повсюду, блудливо вползает во все шкуры, не упускает, не отождествив себя с ним, ни одного героя литературы и современной мифологии от Пушкина и Раскольникова до лица кавказской национальности и Венедикта Ерофеева. Писатель одержим неодолимым желанием отметить себя во всех ярких ролях от преследуемого до убийцы, не пропустив самоубийцу. Он проигрывает себя подследственным всемогущего КГБ, бомжем, жертвой психиатрии; писательским вчувствованием он наскоро побывал везде, о чем пишут и слышат, и во всякой постели, к которой всегда оказывается короткий шаг, как потянуться к сигарете или к пишущей машинке.

Наблюдатель, вживающийся во все что видит, вечен и обеспечен от беды. «Я с этой стороны вполне самодостаточно — оно живет, и всюду, куда достает его полупечальный-полудетский взгляд, простирается бессмертие, а смерти нет и не будет. А если есть бессмертие, все позволено». Половинчатость здесь из-за примеси этого позволения, делающего печаль и детство лукавыми. Бессмертие простирается не ими, а литературой. Вседозволенность наказывается душевредной необходимостью вглядываться в любую наглость, невольно заражаясь ею. Места, в которые всматривается писатель, не случайны. Бессмертное *я* возникнет например там, где ожидается появление состоятельных господ. Оно заботится о живописном разнообразии впечатлений.

Важно становится, мы сказали, там, где высветляется по-

нятие литературы и слоя, несущего ее в России, подполья. Подполье выше тех, кто устроился, и тайно ревниво выверяет при встрече с ними свое превосходство. Власть в облике нищеты, подпольный Писатель ценит вольтову дугу мгновенных перекрещений с высшими. Две силы тогда угадывают друг друга. Тайная власть таким образом всегда открыта для союза с явной, но дневное могущество явной силы слепо, не слышит предостережений, и пророк снова молча уходит на свое дно. Он еще увидит оттуда, как в очередной раз неизбежно сменится сцена, успеет заглянуть, заказывая себе встречи, в любой дом.

Некрасивый усталый нищий народ, мелкий угрюмый люд, выпитый пространством, для подпольного писателя в духе народничества весомее и богаче блестящей пустоты верха. Старого волка задевают правда зубы молодых дельцов, но опять же не очень, потому что в отличие от них он знает, как точит время. Он огрызается, ударяя, только когда ему грозит яма, чтобы вернуться на дно. Удар спасает от ямы как паспорт от задержания, как шпага и дворянство некогда избавляли от телесного наказания. Удар знак благородства, (духовного) аристократизма. Он копится как импульсивная реакция на страх ямы. Поскольку удар символ меткого слова, он равносителен писательскому удостоверению в кармане, т. е. праву идти дальше наблюдателем по жизни. Животный страх оказаться на общих основаниях прочерчивает границу писательского мира и остается соответственно неосмысленным.

Выживание подполья обеспечено неизбежными ошибками всех кто приподнялся над дном. Независимой уверенности в себе у подпольщика нет, отсюда его потребность рационализировать. Мир делится на мы, вы и они; мы честные и держим фронт, бьемся на дуэли; они предают, погнались за славой и т. д. Решающей разницы уровня, которую можно было бы ощутить как тон и цвет, не получается, от высших сфер подпольщика отделяет все-таки своего рода партийность, требующая усилий для поддержания своего статуса. Смертельной угрозой становится поэтому подозрение в нечистоте отстраненности, оно вызывает смертельную панику. Писатель должен убить в себе свою смерть. Для этого нужно убить другого, кто слишком к нему приблизился и может вырвать его тайну.

Тайна писателя в том, что хотя он давно ничего не пишет, он остается литератором, т. е. доносчиком. Он божественный шпион. Это жало у него вырвет тот, кто перехватит донос и отнесет его в человеческие инстанции. Предполагается, в порядке все той же мифологии, что такие инстанции существуют в могущественных органах безопасности, неустанно готовых выслушивать доносы. Писатель боится оказаться доносчиком как удара в свое сердце. Он тоже сообщаст. Инстанция, которой он доносит, это как минимум суд истории. Если окажется, что литература это всего лишь цепочка сообщений от людей к людям, если сообщения образуют замкнутую цепь и тайна слова иллюзорна, это убьет литературу и писателя. Слово с самого начала было задумано как сакральное. Человеческое сердце будет взрезано для сохранности этого сердца литературы.

Безнаказанность убийства, номинально объясненная смутой в стране, логически обеспечена главным героем романа, литературой, которая имеет право подавить человека, чтобы сохранить свой статус божественного доноса. Главное сообщение литературы божественным инстанциям именно это, что человек заряжен убийственным ударом. Здесь больше чем пророчество временной гражданской войны. Очистительное убийство как освобождение от кошмара человеческого взаимодоносительства останется потребностью литературы. Литература не может без этого очищения. Она требует жертв. Пока инстанция, которой она несет свое сообщение, молчит, она скорее сама возьмет на себя суд чем кому-либо отдаст его. Во всяком случае она не признает другой инстанции над собой чем молчание.

Мощная сила литературы не приняла государства, системы, вообще человеческого устройства. Она схватила себя за руку, запретив себе какое бы то ни было участие в устройстве. Тайна ее мощи остается в темноте. Под ней злая, яростная почва. Соль России мужик, старый мститель, каким благодаря своему удару стал писатель. Рядом с ним всевластный богач, прячущийся за телохранителем, прозрачен и жалок. Решать будет не он. Роман помогает взглянуть в решающую силу страны. В ней проступают очертания божественного омбудсмана с его тайным доносом. «Я выглядел для них Писателем, жил Писателем. Ведь знали и виде-

ли, что я не писал ни строки. Оказывается, это не обязательно».

Может ли слово оказаться еще и чем-то другим, не только сообщением и не обязательно доносом? Оно, мы уже слышали, удар правящей молнии. Станным образом у писателя оно однако должно *сообщить* даже и о том, что оно такой удар. Шанс ударить молча для слова Писателя исключен. Меткость всегда должна быть отмечена нарочитостью броского слова или комментарием извне. Из слова как сообщения писатель не выбирается.

Поэтому свой дом ему не дается. Он зря обрадовался отписанной банкиром квартире, подарок оказался обманным. Очистительное ритуальное убийство оборачивается адом. Вдруг среда ожесточается. Толпа нюхом почуяла убийцу в своем мирном болоте и начала травлю. Писатель, прежде весь свой, теперь оказался чужой. Он *выдал* свою непринадлежность системе взаимосообщений, вышел из системы межчеловеческих привязок, высветил себя небесным шпионом.

Внезапно все становится серьезно и важно. Хорошо, что можно довериться Маканину. Его кошмарный реализм не допустит подмалевок. Он честно пытается досмотреть, чем все кончится, когда связь литературы с высшей инстанцией, реальной и воображаемой, оборвалась. Новый, страшный предел вырисовывается сразу: потеря опоры. Писатель встречает ужас хуже смерти и здесь его главная схватка. Поединок с врачами и санитарями лечебницы для душевнобольных только ее почти комический символ.

Главной схватки писатель не выдерживает. В безумие он отправляет брата. Сам он героическим напряжением воли сохраняет кроху гаснущего сознания, чтобы в последнюю минуту вынуть из кармана свой писательский билет, меткий удар. Правда Маканина в том, что *здесь*, на пределе ума, удар не удастся. Что задето здесь Маканиным, даст о себе знать в жути безумия, которым веет от текста.

Но, только начав наплывать, темное тело проходит мимо. Других навыков кроме все той же гибкости слова и силы кулака писатель в себе не находит. Во второй раз удар через сверхусилие, собрать которое помогает воспоминание о Русской литературе, якобы удастся. Писатель возвращается от самого края ямы, где ему пришлось бы проходить на общих

основаниях, на родное дно, чтобы пожить в прежнем статусе. Это явный срыв романа, и можно только надеяться, что его автор наберет силы для второй попытки с таким же удачным и обстоятельным заходом. Мы боимся что это окажется уже трудно.

Возможно, срыв с самого начала был заложен в слишком распорядительном отношении к слову. Может быть не надо было его никак править. Не надо было «счастливо гнущейся строки».

Перипетии *Петровича*, вернувшегося в прежний статус любимого народом писателя, продолжают увлекать краткой точностью портретов и правдой рыхлости *я*, доходящей до благополучного забвения о совершённых убийствах. Сорвавшись, слово живет не всеми своими гранями, из них самая интересная — зубастая литературная сплетня. Писателю не удалось взглянуть в себя, он тем безжалостнее высвечивает своего литературного двойника, прозрачного *Зыкова*. Заметный спад щепетильности, торопливость, появление схематических подпорок в виде проходных резонансов, коммунальных топосов понятны и простительны после срыва в главном. *Петрович* грубит, хамит, повышение благосостояния после откровенного голода ему как всему народу не приносит большой пользы. Его новые откровенно гадкие черты показывают, что Маканину хочется расстаться с подпольем. Так входившие в истеблишмент писатели 30-х годов придавали людям прошлого все более темные черты. Это грустно. Тема подполья мало разработана. Настолько мало, что ее название у Маканина условное, иностранное. *Лишний человек* послужил бы как хорошо угаданное старое название, до сих пор не услышанное во всем его размахе. Такой человек похоже начинает успешному автору надоедать, и зря.

Неувязки с протейским *Петровичем* выходят за рамки плывущего *я*. Он ускользает, упускает возможность ударить и с ней себя. В конце романа он уже только рамка размытого, словно рывущего сюжета. Герой на сцене остается один, литература. Ее суть по-прежнему сообщение. Человека убить легче чем вытравить из себя коммуникативную страсть. Появляется интерес к читателю, пусть сначала стыдливый, негативно через жалкую свору стариков писателей и беззубых поэтов, потом через международно знаменитого *Зыкова*. Ос-

тается немного до того чтобы подпольщик, догадавшись, что наверху свое подполье, встал в ряды властей.

Когда *Петрович*, изгнанный из последнего пристанища, был пущен спать в торговую палатку ничего не подозревающими родственниками убитого им кавказца, намечался как будто бы другой путь. Маканин не выбрал его, поспешил расправиться со своим внутренним эмигрантом подобно тому как в «Кавказском пленном» поспешил с убийством. Срыв *Петровича* слишком скорый. Это оборачивается растущей спешкой фразы, когда в псевдотелеграфном стиле («...радедорм, полутаблетки, унимать пинки в зад») слишком часты броски в цель, и девятка начинает устраивать. Мы некстати вспоминаем, что жест бросовости определял стиль с самого начала. Слишком велико было желание поскорее донести. Не было слышно долгого дыхания. Как не слышно совсем музыки кроме ударника.

Из-за бессмертия писательского *я* адски растянуты нечеловеческие пытки *Петровича*, рассчитанные на сочувствие. *Битов* о гораздо более сносной маете говорил что персонаж может быть еще и в силах терпеть, но автор уже нет. Как оба убийства ножом исподтишка в спину, как постель на каждой жилплощади, так муки старого тела, ради продолжительности и силы которых оно имеет сибирское здоровье, похожи на условность, впрочем, почти так же обязательную теперь, как некогда подобные вещи были наоборот под запретом.

Убийства были наперед разрешены писательской перспективой описать и покаяться. Хотя и другими средствами, но у *Маканина*, как у *Пелевина*, всё можно переиграть и повернуть, уговорить и уломать. Нам показывают гибкость слова, почти жалуясь на него. Где-то рядом с этим предельным опытом слова должны быть источники правды. Один короткий шаг к ним труднее всего литературного пути, и как раз этот последний шаг слова уже не литература.

Происходит, как мы заметили, срыв. Вместе с ним меняется стиль. После искусственного ухода из безумия, в которое естественно вела до сих пор логика событий, кошмарным реализмом стиль назвать уже нельзя. Для другой его характеристики ему не хватает отчетливости.

Литература примиряется с тем, что остаться без слов невозможно. Простое молчание? но как? Человек ходит заряженный словами. В литературе он может их развернуть. Сдер-

жанные, они могут изнутри его взорвать. Утаиваемые, они могут быть извлечены из человека химией. Говори ты, иначе государство вынудит из тебя признание. Признание было бы извлечено из подавленного препаратами писателя, если бы он не сумел ударить в нужный момент сам. Весь народ вместе с ним из читающего стал пишушим. После зависания над бездной литературное огибание бытия так или иначе возобновилось. «Но, конечно, я несколько выровнял подробности... Правдивый рассказ не был точным отражением бытия. Да ведь и зачем удваивать реальность? (Аристотель)». Миновав бытие, слово всегда, неизбежно повернет правду как надо — кому? Конечно добру. Правоте своей, которая идет издалека, от Русской литературы. Скоро новое слово снова начнут наконец печатать.

Начать печататься писателю неизбежно. Он растревляет себя перед концом долгого поста: «*Поверить*, что для каких-то особых целей и высшего замысла необходимо, чтобы сейчас (в это время и в этой России) жили такие, как я, вне признания, вне имени и с умением творить тексты. Попробовать жить без Слова, живут же другие, риск или не риск жить молчащим, вот в чем вопрос и я — один из первых... Мое *я* переросло тексты. Я шагнул дальше». Говорится юродствуя после того как *ударить* уже было решено, а уход в молчание был окончательно не принят, туда отправлен двойник.

Следует серия пикантных переживаний в толпе стариков, молящих о публикации. Торжественно начать жить без Слова писатель не может без сообщения об этом. Крышку литературного гроба Маканин захлопывает навсегда над Писателем. Над кем именно, мы однако не знаем.

Профессиональной меткостью, особенно заметной в случаях редких сбоев («конвалютная жесть»), охотой за типами, упрощающимися до карикатуры, нарочитой небрежностью стиля он показывает писателем себя. Логика сюжета сбивается на расхожую схему (лечит знахарь, значит подсудное дело; вместо вахтера бравый парень в пятнистом, значит крут и т. д.). Нищий, который только что не просит, тем благороднее жалок; стиль повествования напоминает такого нищего; в этом облике писатель тоже должен был побывать. Слова сами едут, везут, скользят, и он вовсе не всегда успевае умолкнуть, когда такое замечает.

В этой эпике остается что-то теплое и подарочное. Все охвачено успокоительным повествованием. Всё кружится вокруг литературы; итог человеческой жизни в редчайшем хорошем случае сборник новелл; лучшие мечты не идут дальше участия в литературном процессе. Ничего кроме литературы все равно нет. В ее уют все вернется. Писатель снова всем симпатичен, перед утомленным духовником («...исповедь подонков... но печенье вкусное») все сознаются во всем со сказочной доверительностью.

Роман сцеплен не интригой, не условным я, а переменной цвета мира от серьезного усилия мысли. Он увлекает как всякая старательная работа независимо от ее результатов. Этим и притягивает вещь: готовностью к неожиданностям. Конечно, в пределах. Предел зоркости кладет, странно сказать, гибкость слова. Оно льнет к вещам и обволакивает их. Герой нашего времени, писатель, встречается с героем его времени, банкиром. Их разговор принимает конечно литературную форму. Шанса непониманию не оставлено, молчания в их диалоге не предвидится. Встреча литературы с деньгами приобретает витиеватый характер. Завязываются интеллектуальные беседы о перспективах России, банкир делает жест щедрого подарка и тонко обманывает, его хитрость восторгает инженера человеческих душ, он переигрывает банкира, вручая ему лежавшую на литературе тяготу, доброту; добр до сих пор был писатель, теперь невзначай он все меняет, сам будет скорее злым, он нашел кому сбавить маску добра, уклончивому меценату. Хотя писатель получил уютный маленький дом фиктивно, подполье для него окончилось. Он показал слабость, допустив в обмен на подарок дома второго хозяина, равного себе героя, способного дарить, учащего психологическим пируэтам.

Любовь народа к писателю после подозрения в убийстве восстанавливается до жажды всех мужчин открыть ему душу, всех женщин — тело. Он снова всем желанен как литература, как свое, заветное, как сладкий сон. Он видит шваль в лицо и берет с нее дань любви чаем, семейным борщом, женщинами. Так снимают часы с умирающего, которому они все равно не нужны. «Эти тщеславные, хвастливые люди были бедны всегда. Они пройдут целым поколением, не оставив миру после себя ничего. Их бедность по счастью незла — она ду-

шевна и даже греет (меня к примеру). Мне с ними неинтересно, но... тепло. Пришел в дом, еще не поздоровался, тебя уже кормят. Уходишь — тоже кормят. Или чай. Обязательно. При этом хозяйка жалуется: дочке шестнадцать, а уже подгуляла, ребенок?.. или первый аборт?.. Муж скрипит зубами. Да и сама тоже как оглашенная вдруг в истерику... И как охотно они (он, она) о себе рассказывают, как хотят чтобы ты их понял. Они пьют с тобой ради этого, спят ради этого. Быть понятым опьянение особого рода. Необходимость, наркотическая зависимость. То есть должен же быть на сонных этажах кто-то, кто станет их слушать».

Из функции божественного шпиона литература скатывается. Она вплетается в паутину межчеловеческого говорения теперь уже без жажды и страха доноса. Святой осведомитель отчаялся найти выслушивающую инстанцию. Тогда выслушивать будет он сам. Функция не хуже другой, принимать коммунальные исповеди, с которыми люди не могут пойти в храм.

Писателя теперь обильно рвет литературой, которая еще надеется кому-то что-то донести. «Плитка валялась прямо на полу. Когда-то ее достать было невозможно, о ней мечтали, ее разыскивали, теперь будущий глянец наших сортиров и ванн коммун валялся вразброс бесхозный, неохраняемый, и на нем, на штабелях, восседали там и тут полубезумные старые графоманы. Писаки. Гении. Старики, понабежавшие сюда за последним счастьем. Моя молодость; что там молодость, вся моя жизнь. Эти лысины и эти морщины, эти висячие животы и спившиеся рожи уже не надеялись, но они все еще *хотели*. Жить им (нам) осталось уже только-только. И желаний было только-только. Но первое из первых желаний было по-прежнему высокое — напечататься. Один старик выкрикивал другому в самое ухо: Так уже не пишет никто. Пойми: мои тексты сакральны! сакральны! сакральны! — страдальчески каркал старый ворон, рвал душу». Так в напрасной надежде улететь выходили ночью в открытое поле под звезды уставшие от скотобойни люди в другом, раннем маканинском романе. Писателя, который внутри самой скотобойни согласился бы выслушивать души, там еще не было. Теперь писатель нашел для себя новую задачу, не хуже других. Он заменил кончившегося читателя. Никому ничего уже не сообщая, он перешел к приему исповедей.

В чистоте это однако опять же не удается. Краем глаза писатель уделяет внимание и жилкой лица подмигивает потенциальному слушателю. Литературный процесс не выходит из головы. Неопределенность свобод смущает, велит ничего не выбрасывать зря. Особенно когда ясно видна провальность всего остального кроме литературы. Если мощь литературной воли не имеет в мире нормирующих инстанций, то не взяться ли диктовать. Что она закажет, то и будет.

Какой еще стороной повернется все, какой представится ход в продолжающейся игре. Тем более что писателю нечего терять. Ему не грозит бездарность и безумие, ведь он уже никому ничего не сообщает; получатель сообщения бессмертен как нужда жителя в слушателе.

С изменением писательского метода, переходом от сообщения к общению, подпольщик кончается. Его головная боль, пишущий преуспевающий писатель, из антипода становится клиентом с жалобами: «Время потрясающее! Время замечательное, а я? Что со мной? Сам не знаю, почему так гадостно на душе? Скажи мне ты, почему?» Потому что ты выдохся: «Голый стиль, стилек. Пустые чистенькие абзацы. Как опавшие паруса. Недвижимые. Неживые... ты всерьез дал читать?» Раньше, когда даже и неписание писателя хотело быть высоким сообщением, он не мог бы так смело говорить. Слишком уверенно должно было быть его превосходство, до несравненности. Теперь абсолютная разница достигнута. Она в том, что те все еще надеются сообщить, оттого и принадлежат к официальной литературе, что докладывают по предполагаемым инстанциям, не обязательно выше; писатель, наоборот, убил доносчика, в смертельной муке проглотил свою исповедь. Теперь он с презрением выслушивает признания, сам не докладывая ничего никому, дикий и гордый, под штопанным свитером волчья шерсть, под вислыми усами клыки. Битого Зыкова должен был бы пронять ужас.

Волк однако уже не укусит. Хриплое «от меня можно ждать всего» выдает, что удара больше будет. Удар стал так же не нужен как доклад, который некому нести. С концом сообщения кончилось и настоящее молчание, когда-то страшное как молния до грома, начались разговоры о молчании. «...Как подводная лодка, — пьяно талдычил я. — Сколько есть воздуха в запасе, столько и буду жить *под*. Жить под водой, плавать под

водой. Автономен. Сам по себе». Выслушивая жалобы, сообщения, доносы, исповеди и признания писатель не молчит. Он ими кричит. Они шевельнулись в его слухе, родились в его подставленном ухе.

Никому писатель ничего не сообщит. Ему это больше не надо. Он захвачен другим. Выслушивая голоса подполья, он властно именует и диктует. Сильнее его власти нет. Писатель диктатор, молча выслушивая, владеет больше чем телами: подсознанием общества. «В подсознании таится огромный и особый мир». Или не так? Не важно. Тайный властитель проникает везде, пророчит за всех. Хозяин инкогнито вхож повсюду, всё понимает и во все вникает, дарит женщин, учит и пророчит. Он уже не хочет никого убить. Сладкое, своёское власти. «За перемены, господа! Я взбирался наверх, я далеко видел — и как же эти люди слушали! Где еще есть столь затаявшаяся склонность, жажда к тревожным пророчествам?» О сакральных текстах забудь, их некому послать, но велика власть угадав душу народа изрекать ему судьбу под пустыми небесами. Дарить умным хозяином счастье. «В словах Петровича они теперь находят все больше смысла. О, Петрович! Мне отчасти неловко что люди так раскрылись и обнаружались; с какой страстью, с какой болью вжились они в полупьяные мои слова. Им кажется их общность невысказанно высока, духовна, они последние в мире». Что полнее власти писателя над душами. Он взял ее даря людям желанное. Они хотят уюта.

У писателя теперь много квартир, не меньше чем у банкира, и отсутствие формального права на них перестало что-либо значить. Души будут лнуть к нему, потому что он узнал тайну уюта. Если сообщать уже никому ничего не надо, если общение свелось к угадыванию и выслушиванию заветного, к распоряжению именами, образами и потерянными душами, то не страшно быть заспанным ребенком. Всё потонет в родном болоте. Ты присосался к груди природы, сонному тепло на морозе, сытно в голоде, обеспеченно в нищете. Родная грязь, вязкое подполье, забывшаяся память, гениальная бездарность, таинственная пошлость.

В своем кругу не стыдно липкой пахучей грязи и старости, потому что, подхваченная родным болотом, она как в детстве на четвереньках в обнимку с родным ползет по отеческому

холодному пустырю в ожидании теплых рук смерти. «Российский гений, забит, унижен... Не толкайте, дойду, *я сам!*»

Роман поднимает неподъемное и кончается открытым вопросом. Писатель выдерживает характер, никому ничего не сообщает. С другой стороны, он часто берет себя в скобки, взглядывая со стороны, и на такого себя, сторонящегося от самого себя, тоже мог бы взглянуть, но без оглядки бросить себя не может. Из-за литературной условности, возвратившей писателя в общество, мы никогда не узнаем, перед какой чертой он остановился. Последней усталости от литературной игры еще не чувствуется. От ямы спасло дно. Обеспеченность снова светит, на горизонте мерещатся и премия и квартира, сполна оплаченные одиночеством. Замкнув на себе цепь сообщений, писатель ложится в уютное гнездо. Враги отправлены им в смерть. Единственный, кто оказался ему равен, герой *своего* времени, молодой гений банка приговорен к смертельной карьере. Силы слезки и суда волком обмануты; в овечьей шкуре он неопознаваем. В ад, терять там последние искры присутствия, он отводит *брата*. *Сам* брат идет в безумие, избавляя от себя писателя.

Площадка для новой литературы очищена. Ее после этого можно и не писать, она сама собой уже есть. Как сладкий грех, она выжила, упершись перед очистительным костром, и опять ходит тайным диктатором по родным пустырям. Когда у нее будет другой шанс.

О. СЕДАКОВА

ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ ДУШИ ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА ¹

Я думаю, что тот образ мира, который перед нами разворачивает постмодернизм, имеет смысл рассматривать в сопоставлении с тем, что оставил — как свое драматическое наследство — модернизм (или модерн) ².

Однако возможно ли здесь вообще говорить о наследстве? И в своем теоретизировании, и в художественной практике постмодернизм представляет дело так, будто он не имеет никакого отношения к замыслам и достижениям модерна. Его «*пост-*» должно значить вовсе не «*вследствие*» (модерна) и даже не только «*после*» в простейшем хронологическом смысле, но: «*по уходе*» (модерна), «*в (его) отсутствии*», «*совершенно вне*» его, в ином пространстве. Иметь дело с созданиями модерна постмодернизм может только «переводя» их сообщения на некий новый аналитический язык: кажется, что единственное, что мы можем теперь делать с Кафкой или Т. С. Элиотом (так же, как с Шекспиром или Гомером), это «деконструировать» их. Старый «наивный» язык модернистской образности больше не действует; он не провоцирует нас на создание чего-то подобного — или в этом же ряду превосходящего (ср. отношение русского модернизма к символизму, как его описал Б. Пастернак: желание сделать *то же самое*, только «шибче и горячей»); он и не увлекает новейшего художника, и не вовлекает в спор. Мы, в наше время, которое именуется «Post-al», «послевсегодняя», окончательно *другие*. Такой «другости», кажется, вообще не знали. В перспективе постмодерна модерн — не более чем последний эпизод в долгой драме Традиции, или Истории. Драма закончена, свет Истории потушен. Мы покинули театр. Мы извне, снаружи.

Отношение модернизма к историческому было существен-

¹ Выступление на международном симпозиуме «Современный имажинарий», Феррара, 21—23 мая 1999.

² Термин модерна или модернизма расплывчат (не говоря уже о различении модернизма и авангарда). В данном случае я позволю себе не заниматься его уточнением, предлагая представить себе предмет, о котором я говорю, из его дальнейших характеристик.

но другим. Модернисты обнаружили себя (именно «обнаружили себя», как Данте в начале «Комедии»: *mi ritrovaì...*) в единственной, центральной, критической точке истории, там, откуда все прошлое предстает обозримым, как в упомянутой «Комедии» или Иоанновом «Откровении». Отдаленные эпохи, «столетья окружают меня огнем» (Мандельштам), живые и требующие ответа, отчета или заступничества:

*И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет.*

Но самой удивительной вещью было то, что все это прошлое *было в будущем*. Оно присутствовало в настоящем как *еще предстоящее*, как новая творческая задача. «У нас еще не было Катулла: у нас будет Катулл», так выразил это О. Мандельштам (и, естественно, он не имел в виду какого-то «нового», «нашего», или «другого» Катулла: *того самого* Катулла еще не было!). Похожим образом Клодель и Элиот нашли свое «Прошлое-в-Будущем» в греческой трагедии, литургической поэзии и средневековых легендах, Рильке — в божественном Орфее, Пауль Целан — в «еще не бывших» псалмах, Хайдеггер — в ранней греческой мысли, Флоренский — в патристике... «Грамматическая реформа» творческого модернизма, сместившая глагольные времена и склонения, сопоставима с современными ей физическими открытиями. Поэты модерна ничуть не сомневались в своей возможности напрямую общаться с Софоклом или Данте, спрашивать и отвечать, брать у традиции и вкладывать в нее. Нам остается только гадать, когда и почему этот прямой обмен оборвался. Странная скромность постмодерна не позволяет даже подумать о какой-то попытке восстановить оборванную связь. Мы другие, и все.

Здесь, пожалуй, необходимо замечание *a parte*. Употребляя в предыдущих рассуждениях местоимение «мы» и наречие «теперь», я не имею в виду реального общества наших дней. Я говорю о постмодернистском проекте актуального положения вещей, проекте достаточно гротескном. Вполне очевидно, что наша жизнь в действительности не так тотально *постмодернистична*, как это хотел бы представить интеллектуальный авангард. К счастью, есть еще бездна «анакронизмов», и

вокруг нас, и внутри, и это помогает каким-то образом выживать. Эти «устаревшие» «анахроничные» вещи вносят тепло и движение воздуха в окостеневшую арктическую стужу постмодернистской образности. Посмотрев очередную «инсталляцию» «объектов» и выйдя из выставочного зала на улицу, мы оглядываемся в приятном изумлении: самая заурядная бытовая рутина вовсе не выглядит таким адом, как нам только что об этом рассказывали! Она явно куда приятнее и проще и разумней! Почему же «новая честность» так ненавидит все это? Я полагаю, что постмодернистский образ «нас» и «наших дней» ни в коем случае не реалистичен: он отнюдь не описывает феномены, он *проектирует* их. В этом проекте, естественно, не остается места ни для чего такого, что не пригодилось бы для пародии и сатиры. Все другое остается незамеченным и безгласным. Почему же?

Вопросы эти, вероятно, слишком наивны. Вернемся к нашему начальному сопоставлению. Итак, Традиция в восприятии модерна открывается как непрерывное Начало: стать традиционным (как понимает это Т. С. Элиот) значит отыскать свой путь к первым (или: к последним, что значит то же) вещам, к самому источнику творчества. Именно на этом основании модернизм объявлял войну собственным отцам (или дедам), поздним реалистам. Поздний реализм, в их глазах, потерял чувство Начала: то есть, чувство Традиции. Он не усвоил себе врожденной жажды *нового и будущего*, которой живет Традиция.

Вряд ли теперь кто-нибудь мог бы говорить о *новом и будущем* иначе, чем с иронической усмешкой. Всякий знает (как знал уже Екклезиаст), что ничто не ново под луной. Что же касается будущего, оно видится исчерпанным прежде своего прихода. Всякое будущее (личное, социальное, художественное) *уже прошло*. И, что представляется еще более важным, никакого будущего больше не требуется.

Итак, мы можем обозначить первый контраст позиций модерна и постмодерна; можно назвать его парадоксом грамматических времен:

Модерн: Прошлого еще не было, оно ждет своего будущего.

Постмодерн: Будущее уже прошло.

Второй контраст относится к языку, знаку, форме:

Модерн: Художнику предстоит открыть (изобрести или отыскать в первой архаике) новый, *правильный* язык; язык, который не-опосредованно и без-условно выражает существо вещей (ср. супрематизм Малевича).

Мы должны создать новые формы, более *реальные*, чем те, которыми мы располагаем к нынешнему времени; требуется новая, более сложная и глубокая гармония.

Должны существовать знаки, глубочайшим образом мотивированные и обладающие творческой силой, «слова, которыми видят» (Велимир Хлебников), настоящие символы.

Постмодерн: Язык — это тираническая насильственная власть. Язык (и в собственном, и в расширенном смысле) не открывает мир, а запирает его на семь замков. Эти замки, заслоны требуется:

или взломать, чтобы обнаружить за ними, скорее всего, пустоту и надувательство (деконструкция);

или же предаться их созерцанию, описанию, тиражированию.

Время формы (если такое вообще было) бесповоротно прошло. Остается единственный род «целого»: агрегат, механический монтаж осколков, в подборе и соединении которых не предполагается никаких ограничений («полистилистика»).

Знаки условны и пусты. Мы можем играть этими пустыми знаками с тем, чтобы опустошить их еще решительнее, сделать их еще менее символичными.

Третий контраст касается предмета и энергии, объекта и субъекта.

Модерн: Мир предметов исчез; все устойчивые, готовые формы «расплавилась», вернулись в первоначальную «золотую магму», в «океан без окна, вещество» (Мандельштам). В чистую энергию, силовое поле, *élan vital*, само-бытие, всеобщую субъектность (ср. «Сестра моя Жизнь», Б. Пастернак).

Новая морфология должна быть способной описать бесконечные метаморфозы бытия. Нужно схватить мир в его апокалиптическом состоянии, где его конец совпадает с его началом. «В моем начале мой конец» (Элиот) и *vice versa*, «в моем конце мое начало». То же предполагается действительным и для внутреннего мира.

Постмодерн: Налицо исключительно предметы, готовые (ready-made, man-made) и искусственные формы и их фрагменты. Существуют они как мертвые или умирающие вещи. Энергия и динамика покинула их навсегда.

Мы, когда-то бывшие субъектами, становимся все в большей и большей мере объектами для самих себя.

Следующий контраст касается образов глубины и центра.

Модерн: Человеку предстала некая безымянная глубина, которую едва ли возможно выразить в традиционных религиозных и философских терминах. Странные, небывалые, почти абсурдные образы (метафоры) сделают это точнее.

Мы тоскуем по какому-то абсолютному центру; все периферийное утратило ценность. Но взыскуемый центр при этом динамичен и может быть обнаружен в любой точке.

Постмодерн: Всякая несловесная, недискурсивная глубина — просто старая иллюзия. Мир более чем полицентричен: он вообще не центрирован, лишен центра. Под поверхностью мы можем обнаружить лишь черную дыру Ничто (точнее: ничтожества).

Наш единственный выбор теперь выглядит так: или оставаться на поверхности, которая становится тоньше и тоньше (путь, который предпочитает поп-культура) — или сообщаться с нашей черной дырой вновь и вновь (что и делают элитарные постмодернистские художники и мыслители).

На поверхности мы имеем абсолютную ценность Успеха, а в нашей анти-глубине — чувство величайшего Провала, который вообще случался в истории.

Я готова признать, что мое описание выглядит упрощенно и схематично. Многое еще можно сказать об отношениях модерна и постмодерна. Но в целом уже достаточно очевидно, что все характеристики постмодерна представляют собой по существу прямые отрицания устремлений модерна. Как если бы постмодерн был тяжелым похмельем после возбужденного энтузиазма высокого модернизма, послешоковым состоянием, глубокой депрессией.

Однако я не думаю, что отношения постмодернизма к модернизму можно описать как простую реакцию, как последующее — отказное — движение. Дело выглядит, на мой взгляд,

сложнее. Два эти направления, как это ни странно, — ровесники (и это в частности объясняет нам, почему постмодернизм выглядел таким состарившимся и усталым с самого начала своей публичной жизни).

Постмодернизм, как определенное *Weltanschauung*, как настроение, как род восприятия и поведения, в действительности составлял часть дуалистического мира (мифа) модерна: его негативную часть. Мы легко узнаем «постмодернистские» черты в «Полых людях» и в антагонистах героя в «Убийстве в соборе» Т. С. Элиота, в его же «мудрости стариков («Квартеты»), в гаммельнских гражданах М. Цветаевой («Крысолов»), в «пошляках» (*vulgarians*) Набокова, и т. п., и т. п... Мы встречаемся с «постмодерном» всякий раз, когда поэты модерна изображают нам своего недруга: им оказывается целиком социализированное существо, лишенное способности творить и воспринимать реальность и даже просто общаться с ней³.

Кажется, антагонисты пережили трагических героев и перестали быть чисто сатирическими фигурами. Когда замолк страстный монолог модернистской лирики (мы можем, видимо, обозначить этот конец смертью Пауля Целана — или Феллини и Тарковского, в области кино), голос ее контр-партнера стал ведущим и авторитетным голосом нашей публичной культуры. Как если бы последние слова об истории Гамлета были поручены Полонию (или перехвачены им)⁴.

В названии этого моего выступления я назвала вещь, которая отсутствует в культурной современности, *душой*. Можно

³ В последующем за этим моим выступлением обсуждении психологи проф. Хиллман (США), проф. Мария Тереза Колонна (Италия) сказали, что в юнговской терминологии постмодернизм, как я его описала, точно соответствует Тени в теории глубинной психологии.

⁴ Эта моя гипотеза недавно нашла удивительный отклик в действительности. Знакомый мне юный композитор решил поставить «Моцарта и Сальери» таким образом: Моцарт-человек управляет марионеткой-Сальери. Существование Сальери, в его мысли, целиком зависимо от Моцарта. Во время подготовки этого домашнего спектакля мы прочли о замечательной новейшей постановке «Маленьких трагедий» на сцене экспериментального московского театра под названием «Сальери forever»: единственным живым человеком там является, как нетрудно понять, Сальери. Все остальные персонажи представлены марионетками в руках вечного Сальери. No comments, как говорят теперь в Москве.

назвать ее также «центрированной личностью» — или же, как Симона Вайль, «тем „Я“ (Self), чьим выражением в секулярной культуре является искусство поэзии». Травматическое, стоящее в позиции самообороны, замкнутое в себе, «проблематичное» Я постмодернизма не имеет ничего общего с «поэтическим Я» Симоны Вайль. То, что оно естественно производит в качестве лирики — не более чем частные «исповеди», слишком частные для того, чтобы их можно было разделить. «Das Lied ist Dasein», как полагал Рильке, «Песня — это бытие, для бога это легко», и продолжал: «Но мы, когда мы *суть?*» «*Wann aber sind wir?*» И этот вопрос вводит нас в область современной идеи личности.

Как всем уже слишком хорошо известно, модернизм начинал во времена так называемого кризиса личности и, таким образом, должен был иметь с этим кризисом дело. Революционная программа нового «имперсонального искусства», сформулированная Т. С. Элиотом, в той или иной мере приложима к каждому значительному поэту завершающего столетия. Поэзия «личная», то есть поэзия индивидуальных эмоций и размышлений рухнула вместе с «объективной психологией» 19 века, которая ее поддерживала. Не вся психическая жизнь была сочтена достаточно реальной и достойной выражения: только ее вовлеченность в самые всеобщие вещи, такие как Само-бытие: то есть, тот опыт, которого не постигнешь ни в стихии повседневных частных переживаний, ни в размышлениях такого рода. Абсолютная пассивность внимания и абсолютная активность формы — здесь был путь к неизвестному и ожидаемому. Поэту модерна предписывалось нечто вроде аскетической дисциплины: «очищение мотивов» (письма), словами Элиота. Это значило: следует очистить сочинения от собственной биографической персоны, стать никем и каждым. Наше истинное Я, наше действительное бытие («когда мы *суть?*») вовсе не врожденная вещь, оно не общается нам вместе с нашей физической и психической данностью. Оно может быть достигнуто: в экстазе — или в жертве. Великая жажда жертвы питает пламя лирики модерна. Душа мертва — или она отсутствует, если она не экстаична: в этом психологическое основание модерна. Он радикально сократил объем истинного Я и истинного существования к точкам крайней интенсивности. Это было дерзкое предприятие: все

остальное после такого опыта должно было показаться «тьмой, тьмой, тьмой» (O dark dark dark), пустым, бессмысленным и мертвым.

Это «все остальное» и оказалось в конечном счете тем, что постмодерн унаследовал от модерна. Внутренней темой постмодерна остается обделенность экстазом.

О. СЕДАКОВА

ПОЭЗИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

Говорить о поэзии (и в целом, об искусстве) в связи с антропологией во всяком случае не тривиально. Поэзия как «Опыт о человеке»? Что имеется в виду: поэзия как источник знания о человеке? или о его конкретной разновидности, *homo poeta*? или об этом *homo poeta* как о некотором особом и универсальном состоянии, в той или иной мере присущем каждому (как это предполагается в известных словах Гельдерлина: *Dichterisch wohnet der Mensch*)?

Или же речь пойдет о поэзии как о своего рода антропологической практике, как об акте «узнавания себя»? Однако каждое из двух этих великих слов окажется под вопросом, как только мы заговорим о поэзии. Во-первых, *знать* ли себя учит искусство — или делать с собой что-то другое? Если верить Пушкину, другое:

*И нас они науке первой учат:
Чтить самого себя.*

И, во-вторых: если в искусстве человек что-то узнает, то *себя* ли? Во всяком случае, из многих высказываний художников мы можем заключить: что угодно, только не себя. Себя-то как раз требуется забыть. Каким образом? например, самым распространенным: бежать; бежать от человеческого общества, от человека, то есть, от «человеческого, слишком человеческого» в себе. Или в безлюдную глушь — или же во внутреннюю эмиграцию: занять в человеческой реальности внечеловеческую позицию. Например, позицию трагического Хора или «созерцателя спокойного и свидетеля необходимого» (авторский комментарий Блока к «Девушке из Spoleto»). Поэт — и если не Человек, то Люди определено — слишком часто разводятся по разные стороны истины:

*О люди, жалкий род...
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век
И чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиление.*

Люди, как мы видим из этого пушкинского контраста, буйны и неменяемы, Поэт *не по-человечески* внимателен.

Может быть, с этой явной — и часто вызывающей — тягой поэзии бежать от *человеческого* и связано то, что предметом антропологического интереса она становится редко.

Мифология и антропология — другое дело, это соединение уже традиционно: ведь обращение к архаическому обществу, к *другому* человеку, к живому опыту *pensée sauvage* и положило начало современным научным трудам по антропологии. Не к конкретным темам архаических верований и мыслей, но к самому составу этого сознания, названного «дологическим» или «метафорическим» (О. Фрейденберг): сознания, которое узнает все, что оно узнает, путем соучастия, партиципации, а не субъект-объектного дистанцирования.

Не отнести ли к поэзии как к реликту этого *pensée sauvage*, к чему-то вроде резервации индейцев в цивилизации небоскребов, к островку допонятийного, почему-то сохраненному на обочинах культурного человека совсем другого состава, в безопасной «эстетической» зоне, первая черта которой — отделенность от практического? В отличие от первичных мифов и метафор эти, поздние, — личные, «на одного», но они тоже по-своему цельны, тоже складываются в некоторое системное целое, которое называют «миром поэта». В сущности, описание такой индивидуальной мифологии и дает хорошее монографическое исследование чьего-нибудь «поэтического мира»: «Поэтический мир Тютчева», например. Из такого описания мы узнаем, что в этом мире происходит с Ночью и Днем, Хаосом и т. п. Не ставится при этом только наивный вопрос: каково, собственно, отношение каждого из этих «миров» к нашему общему миру, какой из двух реален для самого автора? и если оба, то каким образом? один как «внешний», другой как «внутренний»? Но «мифологический человек» не располагал двумя мирами! Поэт же (за исключением таких особых случаев, как Велимир Хлебников), как правило, отличает «поэтическую правду» от «прозаической», или «физической».

*Земля недвижна. Неба своды,
Творец! поддержаны тобой.*

*Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.*

«Плохая физика, но какая смелая поэзия!» — замечает в авторском комментарии Пушкин. И что же здесь поэзия? Что мы разделяем с автором без «эстетического» или иронического отстранения? Древний образ твердого неба, укрепленного на столбах? или его распредмеченную *силу*?

Мне кажется, взгляд на поэзию как на реликт архаичного сознания или ключ к нему не слишком плодотворен: ничего кроме списка примеров на заданную тему мы при этом не обнаружим (так же, как это получается и в психоаналитическом чтении, выбирающем из поэзии сублимированные образы подсознательных влечений). Но главное, это не отвечает положению вещей. В конце концов, присутствие «поэтического мифа» — не условие поэзии *sine qua non*. Я предложила бы сравнить структурную необходимость этого «индивидуального мифа» с фигурами и тропами. Поэзия, как блестяще показал Р. Якобсон, может виртуозно осуществляться без тропов и фигур — но ей нечего делать вне грамматики. И подобно тому, как не в тропах и фигурах мы обнаружим существо поэзии как явления языка, так не в остаточной мифологии или архетипичности — ее антропологическое сообщение. Куда интереснее «поэтическая антропология», построенная на другом основании: начало ее положено работами Л. С. Выготского. Это другое основание — переживание *формы* как глубочайшая человеческая активность. Чем переживается форма? Явно не разумом в узком понимании. Явно не эмоциями в бытовом понимании. Слишком активное присутствие и того, и другого мы различаем как дефект формы, как то, что не дает ей вполне стать, совершиться: как нечто слишком «человеческое» или «рукотворное». Эта фундаментальная, простая и только задним числом анализируемая потребность в форме, способность к форме, наслаждение формой и мучение бесформенности ставят самый общий вопрос о составе человека: может быть, даже о его соматическом составе. О каком-то своего рода «органе», воспринимающем форму¹ так же не-

¹ Ср. прекрасно схваченное переживание формы у В. В. Библихина: «Как магическое заклинание одна тончайшая форма, например круг, могла бы

посредственно, как звук, цвет, тепло и под. Восприятие формы так же мгновенно и цельно, как все простейшие чувственные впечатления, и только потом оно заземляется на разумно обсуждаемых, анализируемых вещах, таких, как «композиция», «симметрия» и под.

Но однако, что же может сказать о человеке такое явление, как поэзия (в которой мы условились видеть прежде всего явление формы), если в случае несомненной удачи о ней скажут так: «Нечеловеческое!» «Человек такого не создать мог!»? Мне кажется, этот парадокс и есть вход в настоящую антропологическую проблематику поэзии, и ее создания, и ее восприятия.

Это впечатление *нечеловеческого* как сущности поэтического произведения находит разные формы выражения. Например, постоянная тема медиумического характера творчества: это не создается человеком, а диктуется Музой (языком); является во сне; само (произведение) себя создает и под.

Или такой поворот: эти строки (звуки, изваяния) создал совсем не тот человек, который вот сейчас занят пустяками. Автор сам соглашается: не тот! Контраст бытовой и творческой личности в одном человеке может быть скандален. Для этой Другой личности в авторе находятся названия: «моментальная личность» («моментальная личность, создавшая эти стихи...», Ст. Малларме), «музыкальный субъект» (А. Ф. Лосев).

Еще один поворот той же темы, который можно назвать «гомеровская проблема»: вековое, вошедшее в привычку сомнение в реальности великих авторов. «Скажут непременно, что „Илиаду“ сочинил другой старик, но тоже слепой», как шутила Ахматова. «Обожествлением до уничтожения» назвал этот скепсис Борхес. Не важно в конце концов, кто на самом деле писал драмы Шекспира; главное, чтоб его не было: конкретного человека.

Все эти случаи восторга перед *нечеловеческим* в искусстве открывают нам в конце концов нашу актуальную антропологию.

сковать весь чудовищный хаос. Такое послушание может быть лишь у братьев близнецов. Братья близнецы хаос и форма. Или даже нет: здесь больше чем послушание, здесь единая воля, две ипостаси одного. Поэтому так свободно и безопасно возрастают на хаосе формы. Только на нем и возрастут, вполне им послушном». В. В. Бибихин. Узнай себя. СПб.: Наука, 1998, с. 362.

Вот какой имплицитной и практической картиной человека мы располагаем: это существо, не способное создать нечто всерьез значительное, безупречное, невозможное с обыденной точки зрения. Способность к такому невозможному не принимается даже в виде исключения. Но главное: человек не может создать чего-то совершенно свободного от *себя*, а не свободное от него неинтересно, не совершенно, это явно не форма.

Что говорит *о человеке* его интимная связь с формой (или с *музыкой*, как это называют на романтическом языке) — с формой, силу которой, самосозидающую силу, он вполне переживает в некотором измененном состоянии, когда он — другой, чем он, незнакомый себе самому? Что эта форма говорит *человеку* — не только самому автору, но и его читателю?

Я расскажу историю, которую получила из первых рук, от того, с кем она случилась. Это был диссидент, которого в 70-е годы посадили и много месяцев ежедневно допрашивали. От него требовали подписать какие-то показания и выступить с публичным покаянием, как тогда было принято. «К какому-то моменту, — рассказывает он, — мне стало все равно. Я проснулся с чувством, что сегодня подпишу все, что требуется. Не от страха, а потому что *все равно*. Ничего ничего не значит. И тут вдруг у меня в уме возникло стихотворение Мандельштама, с начала до конца: „Флейты греческой тэта и йота“. И я пережил, наверно, то, что, как мне рассказывали церковные люди, они переживают после причастия, я тогда же так подумал: наверно, это то самое. Целый мир, *весь*, и свою причастность к нему. И после этого я уже твердо знал, что ничего не подпишу. Это уже невозможно. И они это поняли, и с этого дня больше ничего от меня не добивались, отправили куда нужно.»

Эта история не была бы так поразительна, если бы речь шла о стихах с каким-то ясным доктринальным или моральным заданием. Но это стихи из тех, которые называют сложными и темными, стихи, чей смысл имманентен их звуковой плоти и оттуда безболезненно не извлекается, разве что как Марсий у Данте della vagina della membra sua, из ножек своих членов. Я позволю себе привести эти стихи целиком — и, тем самым, передохнуть от наших бесформенных обсуждений

формы на ее чистом присутствии: на ее пороговом напряжении. Я говорю: передохнуть, потому что все другое кроме такого напряжения на самом деле очень утомляет.

*Флейты греческой тэта и йота —
Словно ей не хватало молвы —
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы.*

*И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы, ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не размять.*

*А флейтист не узнает покоя:
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин...*

*Звонким шепотом честлюбивым,
Вспоминающим топотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки — опрятен и скуп.*

*Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем —
Мором стала мне мера моя...*

*И свои-то мне губы не любви —
И убийство на том же корню —
И невольна на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню.*

7 апреля 1937

Это стихотворение нетрудно вписать в тот самый «Мир Мандельштама», о котором речь шла выше. Собственно говоря, иначе чем симфонически его поздние вещи и не прочтешь. *Море* — музыка *versus* *Афродита* — слово (знак отсылки — *сирень*: «И пены бледная сирень»); *море*, *Греция*, *флейта*; *Греция*, *глина*, *гончар*; *чужое наречие* — музыкальный инструмент; *губы*, *рот*, *зубы*, *язык* — человек (в самом деле, *рот* символизирует человека у Мандельштама так же, как *глаза* символизировали его на ар-

хаических балканских надгробьях). Но, остановившись на списке таких мандельштамовских констант, будто бы благополучно входящих то в один, то в другой контекст, мы в действительности не читаем *вот это* стихотворение, а вычитаем его из реальности. Как известно, Мандельштам испытывал отвращение к эволюционным теориям: сдвиг, катастрофа, разрыв за разрывом — такая картина *движения*, и физического, и исторического, и психического, представлялась ему отвечающей реальному ходу вещей. Таков синтаксис его *вести*. Но, быть может, еще больший разрыв зияет в его случае между свободным от времени и произнесения, предсуществующим («Быть может, прежде губ уже родился шепот») *бессмертным языком*, то есть, блаженными именами, обитающими в Элизии в хороводе теней — и его развертыванием во времени и на человеческих губах, *смертной речью*. Иначе говоря, между той семантической суммой, которую мы назовем «миром Мандельштама», и появлением каждой новой вещи. Она рождается — каждый раз — не из наличного тезауруса, а вопреки ему, из ничего, из полной безнадежности своего появления. Доступ к языку, к имени, доступ к собственному — как будто — ларцу символов предельно затруднен: он похож на выход из Аида (Орфей, Данте), куда обыкновенно входят однажды и бесповоротно. Вдохновение, «появление ткани» катастрофично. *Дуговая растяжка*, удар молнии. Этому собственно и посвящены *вот эти* стихи. И потому в своем комментарии я не собираюсь толковать их образы, как если бы у них был какой-то иной (парадигматический) смысл, чем возникающий *ad hoc* и *процущающийся* (Мандельштам о дантовском сравнении).

Итак, это образец *разыгранного*² в фонетической и артикуляционной плоти вдохновения, рождения формы. Форсированная артикуляция губных (Б, М, У) и звука Т, который передает характерное движение языка при игре на флейте (таким образом, в метафоре *топота губ* двойным образом разыграна техника звукоизвлечения флейты: зрительно — губы *топчут*

² «В таком понимании поэзия не является частью природы... и еще меньше является ее отображением... но с потрясающей независимостью водворяется на новом, вневременном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами». «Разговор о Данте», 1.

мундштук — и артикуляционно — произнося слово *топот*, мы как бы *повторяем* работу флейтиста: *Вслед за ним мы его не повторяем*). Произнося это стихотворение и переживая его артикуляцию, мы замечаем, что делаем странную вещь: мы раздражаем человеку, играющему на флейте, — но какую музыку мы при этом извлекаем? «Слово, в музыку вернись», когда-то сказал Мандельштам. Здесь он делает следующий шаг вниз (ср. антиэволюцию в «Ламарке»): музыка, вернись в механику звукоизвлечения — без ее звуковых последствий.

Но, между прочим, какая вообще флейта — *греческая флейта* — имеется в виду и кто этот флейтист, демиург на мгновенье? Сам ли это греческий язык (*тета, йота, не хватало молвы* — акустическое впечатление его, на русский слух, известной глухоты)? Или вообще Эллада, военная и земледельческая? ее анти-статуарный (*неизваянная*) и анти-рационалистический (*без отчета*), наперекор невежественному пиетету, образ? Эллада, блаженное Начало, идущее через военный кошмар истории («через рвы»: ср. «Неизвестного солдата»)? Первая строка — тот самый *узел*³ или *пучок*⁴, который не следует распутывать. Его требуется принять как он есть: это развязывающий узел, начальная теснота, инициирующая затрудненность перед входом в целое. Тот, кого этот узел *развязал для бытия*, уже не споря последует за дальнейшим ходом речи, который весь осуществляется узлами, пучками смыслов. Развязывающими узлами. В сравнении с этим «дантовским» нелинейным семантическим движением тривиальное стихотворческое плавание по течению фонетики: *молва, море, мор, мера* — чересчур просто, шито белыми нитками, не вполне серьезно. Это только *бормотанья*, которые ничего не значат без *дуговой растяжки*⁵.

Как обычно у Мандельштама, и это его донесение о вдохновении по существу негативно: речь тянется к слову, бьется, кружит возле него («будто ей не хватало молвы»; «и в слова языком не продвинуты»), но *слово* так и не является. Отказывая

³ Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

⁴ Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом...

⁵ И вдруг дуговая растяжка
Блещет в бормотаньях моих.

собственной речи в какой-то последней *словесной* реальности, Мандельштам по-своему повторяет артистическую апофатику Данте: ведь его Комедия — только обрывки, неточный список той по-настоящему реальной Книги, которую он видит в последней песне «Рая»; его «хриплый», «короткий», «слабый» язык относится к Творческому — в полном смысле — Слову как далекое следствие к своей Причине. Существенное различие в том, что движение дантовской речи при этом центростремительно, мандельштамовской — повторяющее, следующее.

Речь стремится не к слову (дантовское движение), а *вслед ему* («Лететь вослед лучу»). Знание является как возвращение, повтор, вспоминание («Что *когда-то* он море родное»). Трудность этого вспоминания передается как невозможность выбора из двух: невозможно и делать что-то, и не делать этого (ср. «И ласки требовать от них преступно, И расставаться с ними непосильно»): «ее невозможно покинуть» — с ней невозможно остаться («на убыль, на убыль»).

Двойная кульминация этих стихов — строфы третья и пятая — разыгрывает освобождающее исступление, «точку безумия» («Ему кажется, что он один» и «И когда я наполнился морем»). Она же и обрывает исступление, экстаз — она действовала «по-человечески», не как «точка безумия», а как «совесть»⁶ («И убийство на том же корню»). Здесь дважды возникает самое приближающееся к иному, наименованному слову — вершинное слово этих стихов, *море*. Но чтобы понять *море* в таком смысле, требуется думать о нем иначе, чем диктует привычка языка и бытового опыта. Это море из глины! (из *сиреневых* глин — опять двусмысленность: цвет или соцветие? если соцветие, то цвет его, скорее всего, белый). Это море *когда-то* вылеплено! Но лепит его звук и артикуляция (ручная лепка — плохая имитация: «Комья глины в ладонях *моря*»).

⁶ Из других, не менее финальных стихов Мандельштама мы знаем, что он так и не решается окончательно опознать эту силу, оставляя двойную возможность: видеть в ней нечто предельно человеческое (совесть) — или потустороннее человеческому (безумие):

*Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни...*

Вершинная точка стихотворения также отрицательна. Не важно, что мы должны думать об этом *море*, важно его действие: уничтожение «меня», «меры моей». Это его явление *развязывает для бытия*. В некатастрофические времена, не в «узле жизни», человек гораздо более склонен к примирению с собственной мерой: мерой «невеличия». В крайней ситуации ему не остается ничего другого, как быть великим: быть *одним*.

Это — среди другого, конечно, — и можно счесть антропологической темой поэзии: осуществление человека у предела его «меры». Можно сказать, что эта мера — смертность; можно сказать, что это *человечность*, в том смысле, с которого мы начинали (так сказать, *всего лишь* человечность). Но как ни толкуй ее, *мера* становится «мором» при вспышке формы. Форма не вещь: это сила. Форма (вопреки обыденному о ней представлению) не только не совпадает с разграничениями, соразмерностью, мерой: она противостоит мере, не иначе чем жизнь смерти. Для Мандельштама (как и для Блока, во всем другом ему крайне чуждого) было бы оскорбительно видеть в поэзии производство изящных или совершенных вещей. Поэзия для него — образ жизни: эсхатологический образ. «Вещь» искусства в своем роде антивещна. Это «море» или «провал в вечность», что-то вроде того очистительного пламени, в которое у вершины Чистилища с непреодолимым ужасом, вслед за Арнаутом Даниелем, вступает сам создатель Комедии.

Люди более сведущие, чем я, в философской и богословской проблематике, могут сказать, с чем может быть сопоставлена поэзия как антропологический опыт, опыт *человека невероятного, homo impossibilis*, встречающего в себе не столько «другого, неведомого себя», «моментальную личность», «музыкальный субъект», сколько чистое согласие исчезнуть («Я к смерти готов») — на пороге, в начале, в *обещании* чего-то совершенно иного, что он узнает при этом как предельно *родное*. Сопоставимо ли это с тем, что называют естественным созерцанием, естественной мистикой?

Но существенно то, что этот опыт (в отличие от непередаваемого, невыразимого опыта «естественной мистики» как его обыкновенно характеризуют) и разделимый, и оглашаемый.

Произведение не описывает и не пересказывает его, а непосредственно являет, «разыгрывает»: в самом веществе художественной вещи это событие формы и исполняется. Оно происходит и в авторе, и в его читателе — и еще неизвестно, где полнее (ведь эти стихи Мандельштама сказаны не «от лица флейтиста»: они передают преобразование слушателя, который выступает из начального «мы»; они скорее о вдохновении чтения, а не о вдохновении создания). Читателю его мера становится мором. Он теперь тоже тот, кто *когда-то* создал мир, и поэтому с ним уже ничего не сделаешь.

В. БИБИХИН

СИЛЬНЕЕ ЧЕЛОВЕКА

Эта книга о том, что в человеке сильнее самого человека. Об идеальных типах. Об образцах, к которым подтягивается человек и которые захватывают его так, что он весь отдает себя им или даже кладет ради них жизнь¹.

Рыцарь связывает себя нормами рыцарской чести, так сказать, по рукам и ногам, предпочитая лучше умереть чем поступиться своими правилами, даже если никто не собирается его судить за их нарушение и никто может быть о том не узнает. Он никогда не нападет на беззащитного врага. Славный рыцарь круглого стола Ланселот, убив нечаянно в пылу сражения двух безоружных, дал обет во искупление такого позора пойти в пешее паломничество в одной холщовой рубахе. Сарацинский рыцарь вызвал на поединок рыцаря Карла Великого, Ожье по прозвищу Датчанин, и когда неверные соплеменники обманом захватили доверчивого Ожье в плен, сам пошел и добровольно сдался франкам.

Хуже смерти рыцаря пугал позор. Поэтому Роланд отказался трубить в рог чтобы позвать на помощь войско Карла Великого. Погиб сам Роланд и вся дружина, зато никто не посмел говорить что он запросил помощи от страха перед полчищами врагов. Благородство требовало победив оставаться на месте до вечера чтобы подтвердить прочность победы и на случай, если кто из родных и друзей побежденного захочет вызвать победителя на новый поединок. Тому же правилу следовали целые армии — и стояли неподвижно, когда тактика требовала бы гнать потесненного противника. Мужество велело не искать выгодного местоположения и даже дооружить врага, оказавшегося в беде. Так во время войны между Пизой и Флоренцией в 13 веке, когда флот одного из этих городов тонул в морской буре, город-соперник не начал войны до постройки врагами новых кораблей. С ненавистью рыцари отнеслись к огнестрельному оружию, позволяв-

¹ *Мария Осовска.* Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. Пер. с польского К. В. Душенко. М.: Прогресс, 1987. Рец.: В. Вахрушев. Когда Адам пахал, а Ева пряла... // Новый мир, 1989, № 1, с. 264—267.

шему поражать противника издалека и из укрытия. Ведь даже луком и стрелами они гнушались как не совсем честным оружием, и в битве при Азенкуре 1415 года они отказались от помощи шести тысяч лучников, присланных из Парижа: «На что нам эти лавочники!»

Рыцарский этос вовсе не канул бесследно в истории. Много от старого рыцарства живет в идеальном типе английского джентльмена, того самого, который, будучи атакован в море акулой, не пустил в ход кортик, как ему настоятельно советовали с берега, чтобы не нарушить правил приличия: «Рыбу? ножом?» Шутки в сторону, но презирать опасность для джентльмена признак хорошего воспитания, и о маленьком английском бульдоге, который не уступает огромному псу, совершенно серьезно говорят: вот джентльмен! Джентльмен, этот гибрид феодального господина и буржуа, человек слова, и на суде от него не требовалось присяги с обязательством говорить правду и только правду. Джентльмен никогда не отзовется при других критически о своей жене, не упомянет о высокопоставленных и знаменитых людях, с которыми знаком, в общении с другими выключает собственную особу словно свет в комнате, старается не брать деньги в долг, совсем никогда не занимает их у друга и вообще не говорит о деньгах. И вот еще что. Аристократу, джентльмену зазорно следить чтобы его не обсчитали. Что бы ни случилось, говорят о себе люди этого класса, мы всегда подчиняемся кодексу более строгому чем закон, — тому таинственному кодексу, который мы называем честью. Люди, позволяющие себя обкрадывать, редки, это искусство знати.

Излучение идеальных типов идет далеко, и в сопротивлении англичан центральному отоплению дала о себе знать между прочим верность старым образцам, когда рыцари вели суровую жизнь, были привычны к неотапливаемым замкам, как и к тяжелым доспехам и неудобным седлам.

Разумеется, джентльменство привилегия не одних только англичан. Во второй мировой войне норвежцы в сражениях с наступающими гитлеровскими войсками поначалу избегали стрелять из засады, это не вязалось с их понятиями о правилах честной борьбы.

Как непохож на рыцаря буржуа. Но и его идеал требует крайнего самоограничения. Образцом буржуазной морали

служит польской исследовательнице Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей Соединенных Штатов, законодатель и естествоиспытатель, «отнявший у тиранов скипетр, у Бога — молнию». Франклин человек, сделавший сам себя, *self-made man*. С тринадцати лет он работал типографским учеником, с семнадцати вполне стоял на своих ногах и скоро начал собственное писчебумажное, книготорговое и печатное дело. Одновременно он неустанно и методично упражнялся в науках и читал. Для здоровья и ради экономии денег на покупку книг он в шестнадцать лет отказался от мясной пищи и выучился сам варить себе картошку, рис, быстрый пудинг. Получилась неожиданная новая выгода: когда все уходило из типографии на обед или ужин, Франклин быстро разделялся со своей легкой трапезой — часто она состояла только из пряника и ломтя хлеба, горсти изюма и пирожка от кондитера со стаканом воды, — а все остальное время до их возвращения мог уделять занятиям, «в которых преуспевал лучше чем когда-либо, ибо известно, что умеренность в еде и питье обеспечивает ясность головы и быстроту понимания».

Об этом и еще о многом другом — например о том, как Франклин пригласил кредиторов к себе на обед, чтобы они убедились в его неспособности разориться, поскольку он питался почти одной только овсяной кашей, дешевой и полезной, — рассказывается в его автобиографии², которую Карамзин в «Московском журнале» за декабрь 1791 отметил добрыми словами: «Всякий, читая сию примечания достойную книгу, будет удивляться чудесному сплетению судьбы человеческой. Франклин, который бродил в Филадельфии по улицам в худом кафтане, без денег, без знакомых, не зная ничего кроме английского языка и бедного типографского ремесла — сей Франклин через несколько лет сделался известен и почтен в двух частях света, смирил гордость Британцев, даровал вольность почти всей Америке и великими открытиями обогатил науки».

² Бенджамин Франклин. Избранные произведения. М., 1956; У. Брэдфорд. История поселения в Плимуте. — Б. Франклин. Автобиография. Памфлеты. — *Креветер де Сент Джон*. Письма американского фермера. М., 1987; «Автобиография» Б. Франклина. Подг. текста и комм. М. Кореновой. М.: Московский рабочий, 1988 (серия «Первоисточники»).

С молодых лет Франклин без навязчивости, с веселой бодростью умел завлекать ближних на свой путь, начав с совета товарищам по типографии не пить пиво, а лучше сытнее завтракать. Он показал пример устройства публичных библиотек в Америке. Он постановил себе не меньше чем достичь морального совершенства, наметив тринадцать целей-заповедей: не ешь до отупения, не пей до опьянения; не будь болтлив, говори только то, что полезно другим или себе; отведи каждой вещи свое место, каждому делу свое время; что решил, выполни; трать деньги только на добро другим и себе; отсеки все необязательные занятия; держи мысль в чистоте; никого не обижай; забывай обиды; не допускай ни малейшей грязи на себе, в одежде, в доме; не терзайся по мелочам; любовным делам предавайся редко; смирением подражай Иисусу и Сократу.

Время деньги, учил Франклин целую нацию в составленном им популярном календаре. А деньги должны рожать деньги, не лежать без дела. Буржуа, подобные Франклину, создатели западного промышленного мира, были подвижники методичного собирательства, гении бережливости (миллиардер Рокфеллер например следил чтобы ни одна капля нефти не пропала впустую), изобретательной находчивости (вспомним Робинзона Крузо, одного из идеальных образов неустанного накопителя), бодрого трудолюбия, посюсторонней аскезы, по примеру аскезы святых, но только направленной на мир вещей. Социолог Макс Вебер, которому принадлежит выражение посюсторонняя аскеза, доказывал даже, что дух раннего капитализма вырос из христианской пуританской этики, которая учила труду, бережливости и постоянному самоконтролю и таким путем как бы обрекала людей на обогащение. Добавьте сюда массовую образованность, разносторонние таланты, широту кругозора третьего сословия, свободного и от аристократических сословных предрассудков и от оков нищеты. «Люди, основавшие современное господство буржуазии», цитирует Мария Осовска Энгельса, «были чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными»³.

Читая книгу Осовской, которая приводит много примеров также и своего отечественного, шляхетского рыцарства и

³ *Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Соч., т. 20, с. 346.*

польского франклинизма, невольно задумаешься: а что у нас, в нашей стране соответствует этим образцовым типам? Рыцарский идеал личного достоинства у нас не привился, так что даже слово *гонор*, которое в польском значит *честь* в самом хорошем смысле, у нас превратилось в название некрасивой заносчивости. Желание обособиться и настоять на личной независимости и праве наши люди встречают без понимания и умеют сообща и быстро сбить с любого человека спесь. Так что рыцарю или джентльмену у нас мало шансов гордо носить голову на плечах, в лучшем случае от него все отвернутся, а что такое индивид, демонстративно оставленный в одиночестве? Он должен стать подвижником, чтобы не сдаться на милость большинства. Рачительный хозяин, буржуй у нас поневоле вынужден огдродить себя высоким забором хотя бы от мальчишек, которые иначе обязательно сорвут еще зеленые яблоки, — замыкается, становится против собственного желания куркулем и живет под нависающей угрозой раскулачивания. Даже предприниматели, посвятившие себя обществу, как знаменитый Елисеев, чьим именем до сих пор называют столичный гастроном, или те современные кооператоры, которые с огромной пользой для всех и, кстати сказать, с миллионными прибылями утилизируют отходы производства, у нас не могут выжить. Общество чует в их разумном хозяйствовании угрозу своим самым глубоким и святым устоям.

Каковы же устои нашего специфического общества? Прежде всего это готовность к тотальной мобилизации на выполнение экстренной исторической задачи. Даже кажущаяся ленность и неповоротливость наших людей, которых на первый взгляд с места не сдвинешь логичными доводами, лишь обратная сторона нашей непревзойденной способности когда надо бросить все и ринуться на врага, на стройку канала, на изменение географии одной шестой части света, на помощь угнетенным народам мира. Оттого и не происходит векового накопления соборов и замков, книгохранилищ, что всякий на дне души знает: временный покой обманчив; придет пора, поднимется народная волна и захлестнет все личное в подчинении всепоглощающему общему делу. Так было, так будет. Здесь конечно очень много места и для одиночного героизма, и мы показывали миру чудеса стойкости и мужества, толь-

ко не ради личного рыцарского достоинства, а, забыв себя, ради выполнения неподъемной задачи из тех, каких много перед нами ставили земля и история от времен покорения Восточноевропейской равнины до похода Ермака и до Чернобыля, где пожарные не думая о рыцарстве вошли в зону смертельного облучения.

Рыцарь и буржуа нам к сожалению далеки и чужды. Смешно было бы сейчас наскоро в новых условиях изобретать для себя по чужому примеру какой-то новый идеальный тип свободной личности с неотъемлемыми правами подлинного хозяина, предпринимателя и рационалиста. Трезвой мысли не пристало забываться в воображении того, что могло бы быть, если бы не было того, что есть. Мало ли что можно сконструировать и спроектировать. Все равно будет не то, что мы хотим, а то, что сейчас настает. Сильнее идеальных типов рыцаря и буржуа у нас останется московский служилый человек, исполнитель государственных заданий. Нам пора наконец понять самих себя. Вглядеться в себя может быть всего труднее. Но легкое нас никогда и не захватывало. Решимся же на опаснейшее из исторических предприятий человека, самоосмысление.

О. СЕДАКОВА

ПИСЬМО

Professor Donald Nicholl,
'Rostherne', Common Lane, Cheshire

Здесь, где Вы так и не побывали, Доналд,
в этой стране,
которую Вы так любили
и от которой у нас
ноет уже не сердце, а что-то попроще,
в нашей невыносимой стране
я вспоминаю Ваш дом
на Общей Лужайке
простой и достойный дом рабочего человека
и Дороти с чаем на подносе
и светлую Вашу кончину.

Святая Русь, вы говорили,
Китежский град
где Преподобный делит хлеб с медведем
где пасхальный Серафим
говорит: Здравствуй, радость моя!
и от его улыбки
загорается звездами дневное небо
где каторжные молятся за своих конвойных...

Теперь, быть может, они Вас встречают, Доналд:
Как же они не встретят того, кто так им поверил,
Серафим и Преподобный и те, с Колымы и Магадана,
чьи имена неизвестны и чьи лица
как Вы говорили
сложатся в лик Святого Духа.

Доналд
сердце мое жестоко
как земля, по которой прокатили тяжелые танки
если что на такой взойдет, то не скоро
лет через двести.

Ваши слова
о том
что все устремляется к неотвратимому миру
как река к океану
что все
изменится и простится
впадая в общую неизмеримую воду
в бездну милосердия
о которой мы знаем —

Ваши слова не проникнут в него глубоко.
Убитой земле
нечем принять и выхаживать семя.

Вот некрасивое страданье,
о котором Вы спрашивали меня
с прямою человека, привыкшего молиться.
Не зло, не обида, Доналд,
это все довольно легко проходит...

Но здесь
нашей поздней ненастной осенью
исполненной жалости и согласия,
безумной жалости и безумного согласия,
я вспоминаю Вас
и на другом языке Вашим голосом произносимое слышу
о пасхальном Серафиме
и Преподобном и его медведе
о соловецкой молитве
о шумящей как северное море
бездне милосердия.

О. СЕДАКОВА

РЕЧЬ ПРИ ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА ¹

Я хочу выразить мою глубокую признательность, радость и изумление в связи с наградой, которая мне сегодня вручается. Изумление — прежде всего. Есть вещи, которые остаются невообразимыми и после того, как они произошли. Сегодняшнее событие — и все его составные: место действия, имя, избранное для этой премии, высокая инстанция, которая ее вручает, сама я в роли награжденного — все это относится для меня к таким невообразимым вещам. Что-нибудь похожее трудно представить не только в прошлом веке, но еще и десять лет назад.

Я думаю, всех, кто здесь собрался, объединяет почтение к Владимиру Соловьеву. Его имя — одно из имен, составляющих славу России; это одно из благороднейших имен всей нашей цивилизации. Как известно, в российской культурной истории действуют две сильнейших и полярных интенции, две страсти: замкнуться и хранить собственную самобытность — и вырваться на простор всеобщего. Владимир Соловьев, как мало кто в русской культуре, хотел второго. Причем его выбор был обоснован не политически, экономически, культурно (как часто бывает у русских «западников», имеющих в виду модернизацию «отсталой» России), а нравственно и религиозно. В единстве со всем человечеством он видел исполнение христианского призвания своей страны.

Пытаясь сказать о нем — и, в этом свете, о том, что я думаю о положении поэзии в современном мире, об искусстве и христианстве — я начну с одной догадки, которая высказана нашим философом В. В. Бибихиным. *«Соловьев понимал, что есть бесконечно обижаемое женственное существо, за которое надо стоять.»* «Стоять» — значит, принять его сторону раз и навсегда; значит, не отвлекаться на другое... А «есть» — и значит «есть», и это главный глагол в высказывании. За всеми исторически, умозрительными и проективными построениями Влади-

¹ Конференция «Христианские корни Европы». Ватикан, 1 июля 1998.

мира Соловьева стоит, в сущности, один простой человеческий жест: порыв *стоять* за мироздание, за творение, за бытие как за прекрасную и бесконечно обижаемую женщину.

Быть может, «современный человек» скажет, что это чрезмерное упрощение, сентименталистская, психологическая редукция культурного труда Соловьева. Но в конце концов, за каждым артистическим и интеллектуальным созданием человека стоит некоторый простой, определенный, личный жест, первое, побудительное узнавание («есть»!) — и оно-то и делает плоды всего его труда привлекательными для нас или отталкивающими.

Если посмотреть на вещи таким образом, то за многими — в других, «профессиональных» отношениях изощренными художественными и теоретическими созданиями нашего века — мы увидим такой первичный жест: обиженного подростка, который грозит своим тиранам — взрослым и всему *их* миру (миру и в самом деле не слишком привлекательному) — или кривляется перед ними и показывает им язык. Его обида может вызывать сочувствие и солидарность, но жить в обществе, состоящем из одних травмированных подростков — кошмарная перспектива!

Упрощение? редукция? Мне кажется, что одна из удивительных возможностей, заключенных в нашей современности, и состоит в том, что она наконец-то вновь — после долгого, долгого запрета на «наивность», после (словами Иоанна Павла II) *школы недоверия*, которую все мы в той или иной мере прошли и сдали положенные экзамены — позволяет художнику и мыслителю говорить об этих первых и простых вещах. Не знаю, почему это еще совсем недавно представлялось невозможным — и почему теперь, хотя и на свой страх и риск и преодолевая собственное смущение, но мы явно можем это делать, можем говорить о простом и первом. Не зная причин, тем не менее, я чувствую, что это так. И что это мое чувство относится не к моему частному случаю, а к какой-то общей возможности. Больше того, я надеюсь, что кто-то реализует ее успешнее, чем это получится у меня.

Мы располагаем — так мне представляется — какой-то совсем еще свежей свободой *новой простоты*. Мы можем осмелиться говорить на языке, который не разлучает нас с реаль-

ностью, переводя наше внимание на себя и на свою бесконечную саморефлексию (как специалистский предметный язык школьной философии и эстетики, или как пожирающий себя и одновременно нарциссический язык новейшего искусства), — а на языке неприметном и уместном. На языке, который скромно исчезает перед реальностью, только указав на нее, только легко ее коснувшись. — Вот это дом. — Вот это дерево. — Вот это мироздание. Стремление к «неслыханной простоте», к *конечной* простоте, на пороге языка и «выражения», вообще-то уже давно (может, и всегда) в крови у поэзии — стоит вспомнить Рильке или Пастернака. Но теперь мы как будто не только получили какое-то необъяснимое историческое дозволение говорить так, и самым радикальным образом, но, похоже, ничего другого нам уже и не остается, поскольку все другое утомительно устарело.

Молчание — одна из популярнейших тем поэтов и мыслителей последних лет — молчание как таковое не спасет от этой устарелости и энтропического шума, потому что и молчание может быть назойливым, плоским и глупым. Потому что вопросом остается: *кто* молчит — и о чем молчит его молчание.

То, что среди новейших сочинений мы не часто встретим реализацию этой возможности новой простоты и неприметного языка — как и то, что многие привыкли думать, будто «с последней прямоотой» можно говорить только отчаянные и жестокие вещи, — не опровергает моего впечатления. Все это говорит только о том, что возможность еще непривычна и почти непочата.

Итак, первое движение Владимира Соловьева — восхищенная солидарность с женственной, страдательной сущностью творения, с его мудростью. Мудрость открыта, и едва ли не исчерпывается этой своей открытостью, разоруженностью, готовностью не отвечать насилем на насилие. В этом смысле мудрость безумна. Но это безумие и есть единственно возможный для нее практичный, благоразумный образ действий. В противном случае ее тонкость, о которой говорит библейский гимн премудрости, огрубеет, ее сверхсветовая скорость потухнет, ее всепроникающая волна ударится о вещи и смыслы как о непреодолимые преграды и разобьется вдребезги.

И — как бы делает вывод Соловьев — если она, жизнь, премудрость, красота такова, и быть другой не может, если ее безумная терпеливость представляет собой зрелище, невыносимое для глаз, то кто-то должен же за нее вступить? и это буду я.

В такой перспективе изначального внутреннего поступка может быть увидена и соловьевская мысль о единстве: точнее, тот императив человеческого духовного единства, который встал перед ним. Разрывы и расколы человеческого общества — и особенно остро, духовного общества — и совсем скандально, христианского общества — одна из самых горьких обид и поруганий, которые наносятся живой ткани мудрости.

В такой перспективе может быть увидена и его альтернатива ницшеанскому выходу за пределы «человеческого, слишком человеческого»: его императив богочеловеческой воли в человеке. Для того, кто видит себя не в измерениях частного существования, а в отношениях со «всей жизнью» — и причем в тех отношениях, в каких видел себя Соловьев, — для такого человека одной человеческой воли недостаточно. Впрочем, а что такое — даже не «слишком человеческая», а просто «человеческая» воля? На этот вопрос есть один древний ответ, который я помню со школьных лет. В старом издании славянской Псалтыри, которое было у моей бабушки, в качестве краткого катехизиса вначале были помещены «Вопросы и ответы о богословии Анастасия Антиохийского и Кирилла Александрийского» — две странички, на которых среди другого были определены и божественная и человеческая воля. Простота этих определений сногшибающая, космическая:

Вопрос: Что есть воля божественная?

Ответ: Воля божественная есть еже очищати прокаженных: якоже показати хотя Христос волю и действие божественное, рече прокаженному: хоизу, очистиися.

Вопрос: Что есть воля человека?

Ответ: Воля человека есть еже просити да испиет, якоже на кресте.

Мне кажется, я не много нового узнала с тех пор о человеческой воле: вот она, как на ладони: просить, чтобы дали пить. В этом ряду ницшеанское превосхождение человеческого, слишком человеческого выглядело бы, вероятно, так: не просить пить, а свободно в трагическом ликовании умирать от жажды.

Мирами правит жалость,

сказано в поздних стихах Пастернака. Это похоже на русскую версию дантовского финала: «*Та любовь, которая движет солнце и другие светила*»:

L'amor che move il sole e l'altre stelle.

Жалость на народном языке, *милость* на церковном — решительное, свободное милосердие — вот чем восполнена «только человеческая» воля (в сущности, воля нищего) в антропологии Соловьева. Это ни в коем случае не жалость к ничтожному, мучение которого случайно и необъяснимо: это солидарность с прекрасным, которое бесконечно мучимо именно потому, что оно прекрасно — и, как ни странно, потому что оно всеильно. Потому что мир его невозможно нарушить никакой провокацией отпора или ненависти с его стороны. Глядя на красоту, мы понимаем, что по-настоящему, до конца мирное — это неизбежно жертвенное. Такова интуиция искусства, с которой, мне кажется, встречается в своем опыте каждый художник. Нужно ли говорить, как она близка сердцевинной интуиции христианства, его корням?

Образ корней («христианские корни Европы») предполагает мысль о христианской традиции не как о какой-то готовой доктрине, духовной школе, т. е. как о чем-то вторичном, наложенном поверх «естественной» реальности — местного «природного» язычества или какого-то доисторического тумана. Корни уходят, так сказать, в землю души (о христианских корнях можно было бы сказать, что они уходят в небо, но в евангельских притчах речь ведется все-таки о земле, доброй или негодной). Говоря о «корнях», мы думаем о глубине, о стихии, непроницаемой для взгляда и прикосновения, не поддающейся расчету и умыслу, о темноте и о родине: о родной темноте.

С этой-то стихией и предпочитает иметь дело искусство, которое, как известно, бежит как огня любых наперед заданных форм знания, любых окончательно выясненных доктрин. Что ему было бы с этим делать? подбирать примеры к выказанным утверждениям? подрисовывать вензеля и завитушки к уже написанным буквам? Оно предало бы тогда собствен-

ную природу, собственный уникальный дар — *понимать не понимаемая*. Из непроященного, глубокого и смутного — и потому волнующего — выводить смысл как воплощенную форму: выводить не понятие, а *образ*, смысл, который не отменяет родной темноты и глубины (как цветок не отменяет своих корней) — но делает их прикасаемыми для нас, обозримыми, общими.

Темнота прозрачного ограненного камня. Поэтическое значение, которое само — значительность, и это почти все, что можно о нем сказать. Ведь другое, предметное знание предлагает нам как раз такое значение, которое освободило бы нас от тревоги значительности: *ничего особенного*, это просто такой-то «микроб», это просто «эдипов комплекс» и т. п. Прежде чем справиться с познанным предметом технически, такое рассмотрение вещей уже справилось с ними, так сказать, экзистенциально. Но поэзия, пока она поэзия, — хранилище волнения, и образ, пока он образ, оберегает значительность и ее счастливую тревогу. Поэтому мне кажется, что образ — конечно, не единственное, но может быть, самое родное, самое сердцевинное пространство для жизни веры.

Самые бесспорные образы поэзии — и музыки, несомненно, и пластики — несут в себе счастливую тревогу глубины: тревогу того, что она *есть*. Они (и в том числе рожденные в дохристианскую эпоху, как строки Сафо, скажем, или самофракийская Ника) встречают нас не с некоей неподвижной «вечностью»: они напоминают рассказ о том странном счастливейшем времени в самом начале победы над смертью, о тех весенних неделях после Пасхи, когда присутствие Воскресшего — присутствие Рая — присутствие нашего детства — как солнечные вспышки мечется по земле, являясь то тут, то там, каждый раз внезапно, в разных образах, которые каждый раз для начала *не* узнаются, но «не горело ли сердце наше в нас?».

Однако, возможен ли еще образ, поэтический образ в «современном мире», который называет себя поразительным и уже вошедшим в привычку словом «постхристианский»? Многие скажут: вряд ли, и чем дальше, тем менее это вероятно. Менее вероятно поэзия. «Смерть автора», «смерть стиля»... и т. п., и т. п.

Если образ и вправду, как я говорила, существенно связан с *глубиной*, то именно в *глубине* наша цивилизация усомнилась задолго до того, как стала называть себя «постхристианской», «постмодернистской», «постисторической». Глубина мира и глубина человека была заподозрена как какой-то страшный подвал, как грязное и душное подполье, набитое ужасами и призраками, как пространство исключительно низкого, зловещего, агрессивного (ведь именно таковы психологическая, социологическая и другие гуманитарные интуиции «современного» сознания). Новейшая же современность пытается и вообще отменить реальность глубины — и декларативно, производя бесконечные демифологизации и деконструкции всего, что представлялось волнующим и значительным, и непосредственно практически. Плоскость хозяйничает над нашим зрением (глянцевая плоскость рекламных листов), над нашим слухом (ритмика и динамика популярной музыки), над памятью (принципы «информации», которые соединяют вещи и события в уме плоско, как в коллаже). Удивительное по своей настойчивости и интенсивности забивание всего пространства восприятия! — так, чтобы и щели не осталось, в которую могла бы проглянуть глубина.

Есть реальная опасность, что и само стремление к единству и общности будет поглощено этой стихией плоскости, что человечество находит единство, платя за это глубиной и вертикалью.

Поэзия и в самом деле если не невозможна, то крайне трудна в этом отобранном у внимания пространстве. Но у нее нет другого выхода, как сбережение связи с глубиной, с тем самым «бесконечно обижаемым женственным существом» Владимира Соловьева, с тем, что на более этическом языке можно назвать надеждой. Поэзия, как это знали со времен Орфея, умягчает нравы, то есть, возвращает им их родную глубину, разрыхляет землю, чтобы она могла принять семя. «Современный человек» обороняется от встречи с ней всеми силами (часто и силами новейшего искусства, которое поит и поит его, словами платоновского «Федра», соленой водой) — но ее-то, ее «питьевых слов» он и хочет. Жажда чистого слова проста и неотменима, как потребность в воде. А в этом, как нам когда-то сказали, и есть воля человека.

Положение поэзии в современном мире трудно. Что же тогда сказать об искусстве, которое можно было бы назвать христианским? Вероятно ли такое вообще? И что ему остается сказать — после всего того, что уже сказало великое христианское искусство прошлого? Храмовое зодчество, иконопись, гимнография, литургическая музыка великих эпох Церкви — не представляются ли они нам уже дописанной страницей, недостижимым образцом, наподобие классической древности? Художнику «скудных времен» как будто не остается другой позиции по отношению к творческим сокровищам прошлого, как «благочестивая археология». Музейные копии, усиленная имитация образцов — вот и все: хорошо, если и такое получится у нас, убогих... Но искусство и археология, искусство и музей, искусство и притворство (в том числе, и самое благонамеренное притворство) — противоположные вещи! Кроме того, позволю себе напомнить, что видеть золотой век в прошлом, а за ним — череду последовательно деградирующих времен, вплоть до самого плохого, «нашего времени» — совершенно естественно для языческого мифа, с его переживанием иссякающего начального импульса. Но что в этом от христианской мысли о времени и истории?

Вероятно, слишком большая дерзость с моей стороны сказать то, что я собираюсь сказать, но тем не менее. Мне кажется, в нашем веке открыты некоторые пути, почти не известные христианскому искусству средневековья и барокко (но по-своему близкие раннему, катакомбному искусству). Образец такого нового пути — опыт Бориса Пастернака, с его образами «сестры — Жизни», мироздания — Магдалины, несомненно продолжающими интуицию Владимира Соловьева.

Смерть, Суд, Загробье как вечная жизнь — три эти «последние вещи» были нервом классического христианского искусства. Его пафосом было высокое отрешение от преходящего. Его символы преодолевали случайное и временное ².

² Неслучайно с самого своего возникновения «свободное» секулярное искусство противопоставило себя церковному прежде всего как искусство жизни. Это предполагало реабилитацию посюстороннего: плоти, витальной силы, страстей, наслаждений. Мы знаем, что гуманистический энтузиазм *здесь*, героический и гедонистический, довольно быстро перебродил в меланхолию и скепсис и вернулся к той же мысли о смерти, но уже к голый смерти,

Но в Пастернаке новое христианское искусство заговорило о другом: о Творении, об Исцелении (в этом образе предстает Спасение: «*Доктор Живаго*»), о Жизни. И кто сказал бы, что эта триада «последних вещей» менее прямо относится к христианским корням, чем первая? И в разговоре об этом две, в каком-то отношении противоположные черты поэзии, о которых я говорила прежде, как нельзя более кстати: и ее природная связь с глубиной, волнующей и никогда не проясняемой до конца, — и та новая прямота или простота, которая отвечает на вызов современности.

За новую тему христианского искусства — тему бесконечной ценности и благородства *живого как живого* (вне предвзятых различий «духовного» и «плотского», «смертного» и «вечного»), за новый пафос этого искусства — не отрешенности, а участия, захваченности общим бытием, за его новый аскетизм (который можно было бы описать как воздержание от омертвевшего и омертвляющего), за его новый свободный символизм, не рассекающий мир на «существенное» и «случайное», «значущее» и «незначущее», заплачено страшным опытом нашего века, банализацией смерти.

И напоследок мне хотелось бы сказать несколько слов о той традиции, к которой я имею честь принадлежать, о российской поэзии. В советские годы мы оказались свидетелями того, как насущна может быть человеческая потребность в поэтическом слове (ведь искусство преследовалось по существу не менее жестоко, чем Церковь). И наша поэзия, в запрещенных рукописных и машинописных списках, которые расходились «от Белых вод до Черных», от западных границ до Сахалина — исполнила свою службу свободе и глубине, *смелости и милости*. Как, вспоминая недавнее прошлое, сказал С. С. Аверинцев, «когда России не оставалось нигде вокруг нас, она была в строках наших поэтов». В стихах Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Бродского... Для меня прежде всего — в Пушкине.

без ее былого величия и красоты. И все же: само то, что реабилитация жизни была предпринята в борьбе с церковным искусством — разве это не скандал для христианской традиции?

Теперь в России другое время. То, что у нас произошло, относится к тем самым вещам, которые остаются невероятными и после того, как случились. Прошлое еще не обдумано; решения о будущем, кажется, не принято. И что теперь скажет нам поэзия? Это, как всегда, не предскажешь. Но может быть, это будет что-то вроде того, что — как ему свойственно, между делом, просто и неприметно, — сказал в своем «Подражании древним» Пушкин:

*да сподобят нас чистой душою
Правду блюсти: ведь оно ж и легче.*

В этом неподражаемом: «*ведь оно ж и легче*» наш известный филолог увидел вершину пушкинского гуманизма. В ключе наших рассуждений мы можем увидеть в этих словах свидетельство, поэтическое и христианское вместе, о глубине человека: его апологию.

Ведь в конце концов, главная задача сопротивления тем силам, которые называют «интегризмом», «тоталитаризмом» и под., это, как понял Дитрих Бонхеффер, «не перенять у них их презрения к людям».

25 июня 1998
Москва

О. СЕДАКОВА

УСПЕХ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

У меня есть два противоположных мнения об успехе — литературном и вообще артистическом, — которые я не хочу мить между собой. Оба при этом радикальны.

Первое: все стоящее в искусстве и в мысли непременно должно увенчаться прочным, широким и неоспоримым успехом.

Второе: все стоящее непременно встречается обществом враждебно.

Легко представить, что эту антиномию можно разрешить, введя, как говорится, фактор времени. *Сначала* действует второе правило, *потом* — первое. *Сначала* Рембрандта и Моцарта хоронят в общей могиле для нищих, Мандельштама — во рву каторжников, Хлебников и Музиль умирают с голода, множество других создателей «нашего культурного наследства» кое-как доживают век с репутацией психически больных, асоциальных монстров с непомерными амбициями. *Потом*, сразу же после их смерти или с некоторым запозданием, все «встает на свои места», «недоразумения» кончаются — и, скажем, провансальский городок Арль живет туризмом: люди тратят деньги, чтобы убедиться, что улицы, кафе, дворы и виноградники, которые писал клинически безумный Ван Гог, существуют на самом деле (я могу лично подтвердить: существуют, и очень похожи). А безнадежный банкрот Рембрандт мог бы теперь содержать не городок, а небольшую страну. И каждый из них — несчетное множество своих исследователей, бесчисленные симпозиумы и всемирные конференции. Хэппи-энд такого рода изобразил Клодель в стихах о Верлене:

*Советовали ему и то, и это — если с голоду помирает, так сам виноват.
Нас его шарлатанские причитанья, слава Богу, не убедят.*

*А деньги, так их едва хватает для господ профессоров,
Которые в дальнейшем о нем прочитывают курсы и удостоаются*

различных орденов.

*Итак, прославим единодушно Верлена, тем более, он умер, говорят,
А этого единственно ему не хватало. Но главное, чему я рад,*

Мы все понимаем его стихи, все, особенно если барышни поют под рояль...¹

Изобретательность Клоделя в изложении этой тривиальной темы состоит в том, что рассказ о чудесной метаморфозе замного шарлатана в национального классика поручен рассказчику, для которого, собственно говоря, ничего не произошло. Этот рассказчик — Месье Публика. И повествовательный ход Клоделя дает понять, что «недоразумения» вовсе не кончаются со сменой общественной оценки на противоположную. Отмахивается ли современник от зауми Мандельштама — или «понимает» его, особенно под рояль, а еще лучше в интерпретации Аллы Пугачевой, — дела, то есть, «нас» не меняет (я имею в виду «нас» из того же клоделевского монолога о Верлене: *Лучше напиться, как свинья, чем быть похожим на нас.*)

Потому что самая малая доля понимания «классиков» должна была бы предостеречь от подобного обращения со следующим верленом. Чего, как известно, не случается. Чаще бывшего изгоя употребляют в качестве дубинки для новых: «Вот, поучитесь у Мандельштама. У него все понятно и красиво». Я хотела бы обратить внимание, что вражда Автора и Общества — очень давнего происхождения, вовсе не эпохи «проклятых поэтов», романтизма и вообще «вызывающего» и «трудного» искусства. Может быть, у Сафо на родном острове все еще было в порядке. Но уже Гораций писал: *Procul este profani!*» И дело вовсе не в сложности и элитаризме. Критики Данте упрекали его скорее в популизме, чем в элитаризме — зачем он писал на народном языке? любой невежда прочтет!

Чего же не любит пресловутая толпа, «подруга заблуждений»? Ронсар (о котором дальше пойдет речь) полагает:

— *Святого таинства. Толпе оно темно —
И ненавистно ей, когда обнажено.*

Замечу, что я лично не разделяю такой фундаментальной миз-

¹ «Верлен», перевод мой — О. С. *Поль Клодель*. Избранные стихотворения. Спб.—М., 1992, с. 6—8.

антропии — ни в приведенных строках Ронсара, ни в пушкинских, где толпа

...плюет на алтарь, где твой огонь горит...

Но сама повторяемость мотива толпы («многих», как называл это Гераклит) как кощунства что-то значит! Можно только дополнить его другим наблюдением: что без какого-то *огня*, какого-то *алтаря* толпа тоже не может жить. Но явно предпочитает, чтобы этот огонь горел на дорогой могиле, а мы продолжали бы себе существовать во времена, когда новое явление чего-то подобного «уже невозможно».

Есть еще одна возможность совместить два противоположных и равно неоспоримых для меня суждения, о неперменном успехе и неперменном неуспехе стоящего автора. Не размещая их во времени (сначала непременно побивают, затем непременно поклоняются), а усмотрев в том, что носит общее имя *искусства*, существенно разные феномены. Здесь я снова обращаюсь к французскому поэту, которого мне довелось переводить, но к поэту более ранних времен, благодушному и рассудительному Ронсару ².

*Два разных ремесла, похожие на вид,
Врастают на горах прекрасных Пиерид.*

Одно из этих ремесел — вдохновенное, пифическое творчество:

*Бог горячил их дух. Он гнал, не отпуская,
Каленым острием их сердце подстрекая.*

Другое — ремесленное рифмачество:

*Стихослагатели — так назовем мы их.
На место божества они возводят стих.*

Относительно обсуждаемой нами темы, успеха, и те, и другие, как ни странно, в равном положении. Обоих ждет провал. Впрочем, по разным причинам. Божественные певцы

Толпе бессмысленной внушают смех и страх.

² *Пьер де Ронсар*. Элегия, перевод мой — О. С. Поэзия Плясы. М.: Радуга, 1984, с. 205—213.

Рифмачи же, напротив, глупее толпы, они не умеют ее увлечь (кое в чем разбирается и «чернь жестокая, подруга заблуждений!»): рифмач, вечный ученик

*Чернила изведет и краски истощит,
А намалюет то, что нас не обольстит.*

Однако я не назвала бы Ронсара благодушным и рассудительным, если бы он остановился на этой тривиальной дилемме гениев и рифмачей. Дело в том, что гениев — по Ронсару — мало! очень мало, меньше, чем мы можем себе представить, читатель!

*Немного их, Гревен, досель явилось миру:
Четыре или пять.*

Меньше, чем ветхозаветных пророков! Все же остальные — а к ним Ронсар причисляет и себя — относятся к третьему роду:

*Меж этих двух искусств мы третье углядим,
Что ближе к лучшему — и сочтено благим.
Его внушает Бог для славы человека
В глазах у простецов и суетного века.*

Так вот к этому среднему, третьему искусству, быть может, и относится мое убеждение в том, что любое хорошее произведение должно иметь успех. Успех и слава входят в самое задание, в самый замысел такого рода творчества. Для того и внушен этот дар. Это совсем не низкий успех, это выполнение задачи, общественного служения поэта, это знак того, что порученное ему сообщение доведено до адресата.

Этот «третий поэт», как его описывает Ронсар, — весьма привлекательное существо, с известными — «поэтическими» — недостатками

*Испив пермесских струй, как бы во искупленье
Я одурманен сном, мечтательством и ленью...
Неловок, говорлив, печален, неумерен,
Беспечен; ни в скорбях, ни в счастье не уверен, —*

но отнюдь не монстр, наоборот:

Мне сердце мягкое даровано судьбою.

Не то же ли говорили о своем сердце Сафо, Пушкин, Ахма-

това? Да и Ронсар предполагает, что нрав его — представительный, профессиональный нрав:

*Таков мой нрав, Гречен. Быть может, таково
И всякого из нас, поэтов, естество.*

Слава любит в их лице лучший образец обычного, в сущности, человека. Не монстра, не выжженную сивиллу: это просто «*добрый мальчик, Как ты да я да целый свет*». Чуть ребячливее других — и значительно чувствительнее других к гармонии, вот и все. Если бы пресловутая «толпа» не любила такого искусства, изящного и человеческого, со своим волшебством, своим секретом (о рифмаче у Ронсара говорится: *Так вечный ученик, не выведая секрета Волшебного стиха и верного портрета...*), это было бы слишком печальным свидетельством о роде человеческом.

Что же касается искусства «первого рода», я, пожалуй, разделяю пессимизм Ронсара: оно обречено на гонение общества — пока его не переложат для пения под рояль, шепота под гитару или рева под электронику. В сущности, в широком восприятии Пушкина его сухое, чистое письмо мысленно переложено на музыку Чайковского. Без аккомпанемента художник первого рода разделяет судьбу другого меньшинства, как заметила Цветаева:

*В сем христианнейшем из миров
Поэты жида.*

Но ведь таких, как уверенно говорил Ронсар, совсем немного: «четыре или пять»! Откуда же все эти — бесчисленные и хронические — «недоразумения»? Мне кажется, из-за исчезновения самой идеи «третьего искусства». Из-за того, что от старой ронсаровой триады уцелело только две возможности, причем вторая из них слишком непривлекательна («вечные ученики», «рифмачи»). *Пускаясь на дебют*, почти все сочинители имеют в виду то высшее безумие, которое разлучает с обществом.

Быть может, заметят мне, масскультура и заполняет эту третью нишу? И постмодернистский поворот от «обреченного на неуспех» искусства к «успешному», который провозгласил У. Эко, и есть возрождение старинного здравого смысла Ронсара? Но к «третьему роду» Ронсар относил греческую трагедию, например...

Чтобы вернуться на нашу историческую почву из этих слишком общих рассуждений, замечу: в запрещенном искусстве 70-х годов с особенной силой жило влечение к «священному экстазу», к искусству для посвященных, к «метареализму», как назвал это тогда М. Эпштейн. Естественно: ведь официальная советская культура с самого своего рождения именно это, «жреческое» искусство ненавидела больше, чем любой политический эпатаж. «Высокие» семидесятые сорвались в постмодернизм, концептуализм и т. п. В полное отчаяние по поводу любого «высокого» — отчаянию и презрению куда более радикальному, чем у «среднего человека», у «толпы». Сатирический абсурд занял педагогическую кафедру: «простого человека» уже второй десяток лет отучивают от иллюзий — сначала насчет своего строя, потом насчет себя самого, своего культурного наследия, искусства вообще... Это искусство деструкции и зубоскальства — которое, кажется, вообще нельзя разместить в ронсаровской триаде — имеет сейчас явный, широкий и публичный успех, в отличие от, условно говоря, «метареализма», который остался, пожалуй, в узком, и еще сузившемся с тех времен кругу «своих». Первое имя, которое в связи с этим мне приходит в голову, не литературное: Михаил Шварцман. Печальные по своему непониманию и мелкой язвительности заметки Ильи Кабакова о Шварцмане опубликованы в НЛО 26. Это заметки победителя, всемирно успешного художника — о нелепом претенциозном чуде. Они очень похожи на речь героя клоделевского стихотворения о Верлене. Не нужно особой прозорливости, чтобы предсказать, что успех «обиженного маленького человека», основного героя соцарта и других видов сатиры, ставящей себя на место «новой метафизики» и даже «новой мистики», долго не продержится.

*для славы человека
В глазах у простецов*

нужно что-то другое. Простец, как правило, не садомазохист. Никакой теоретик не заставит простого человека полюбить скуку.

Что же до успеха безуспешного пифического искусства, то все-таки дело не так просто. И у него бывает читатель. Быть может, числом этот читатель соизмерим со своими автора-

ми, может, таких тоже «четыре или пять». Что же касается выбора такого читателя, то он происходит, по моему впечатлению, не на основании пресловутого «гамбургского счета» и профессиональной посвященности (хотя не без этого), но как-то иначе. Может быть, на основании особого рода незапуганности общим мнением (каким бы либеральным это общее мнение ни было). Такой читатель бывает и при жизни — и у осмеянного Верлена он был:

Ему платили кой-какой гонорар и студенты перед ним благоговели.

Посмертная слава, пение барышень под рояль, введение в реестр классики — в недавние времена все это просто подхватило и тиражировало то, раннее признание — признание со стороны чуткого (по большей части маргинального) читателя. Его мнение почему-то впоследствии оказывалось авторитетным.

Я совсем не уверена, что это универсальная закономерность, что так и будет впредь. Что чуткий читатель, как прежде, представляет собой гостя из будущего в современности, авангард культуры. Может быть, теперь это ее арьергард. Или же он теперь — островная «субкультура», как скажут социологи.

Жизнь художника без ощутимого отзыва, без ожидающего внимания очень тяжела. Она подрывает уверенность в том, что ты делаешь не свое, а общее дело. Без этой простой уверенности голос становится или угрюмо глухим, или срывается на визг. В этом и состоит человеческое лицо успеха и признания, в участии — или хотя бы в доверии. Если сравнивать этот опыт с другим, общечеловеческим — с неразделенной любовью — я бы сказала, что этот тяжелее. Это неразделенная дружба. Известны апокрифические слова Бетховена: «Если бы люди как следует послушали мою музыку, они стали бы счастливы!» Вот «если бы» и говорит о том, что такое неразделенная дружба. Со стоической отрешенностью относиться к этому, конечно, можно — но скорее всего получится просто хорошая мина при плохой игре.

Однако есть и хорошая игра — утешение самой вещью, ее слухом, тем, как она себя и тебя слышит. Это не иллюзия. Если иллюзия — то для тех, для кого все иллюзия. Это зелье слаще успеха:

*Как он, без отзыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю*³.

В частности, обдумывать и эту рифму — глагольную и, хотя допустимую тогдашними правилами рифмовки, но все же остро неточную — плохую рифму в финальной позиции!

Да, я думаю, что дело не в «гамбургском счете», а, как уже почти двести лет назад, как всегда — в «тебе самом»:

Ты сам свой высший суд.

Однако, если вместе с этой мыслью («я пишу то, что одобрено мной, что прошло мой суд, получило мое одобрение») мы не думаем — *одновременно* — и противоположной («я пишу то, что втайне, в глубине одобрено всеми», — как у Ахматовой: *Я голос ваш...*), мы занимаемся явно чем-то другим, не искусством.

³ А. С. Пушкин. Близ мест, где царствует Венеция златая...

О. СЕДАКОВА

ПАМЯТИ ПОЭТА

Главное — величие замысла, как говорит Иосиф.

Из письма А. Ахматовой

1.

Уставившись в небо,
в пустые черты,
в прямую как скрепа
лазурь слепоты,
как взгляд берет внутрь,
в свой взвившийся дым
скарб, выморок, утварь,
все, что перед ним, —

как лоно лагуны,
звук, запах и вид
загробные струны
сестер Пиерид
вбирают, вникая
в молчанье певца
у края
изгнания, за краем конца —

2.

Так мертвый уносит,
захлопнув свой том,
ту позднюю осень
с названьем «при нем»,
ту башню, ту арку,
тот дивный проем,
ту площадь Сан Марко,
где шли мы втроем.

3.

Не друг, не попутчик
(не брат? не собрат?),
в бряцанье созвучий
родной звукоряд

державший,
 как тот,
 кто решил наперед,
 что жизнь
 не заманит
 и смерть
 не собьет, —

как руль
 корабельщик,
 как конный —
 бразды,
 как путники
 угол
 земли и звезды:

все мимо, все меньше:
 молельня, базар...
 Звук — странная вещь:
 Мельхиор, Балтазар.
 Заставы. Нагорья.
 Секретный союз,
 звук — странное горе:
 служение Муз.

Чего же искал он,
 дух, бросивший всех:
 рог, верящий в Карла?
 Дым, ищущий: вверх!

4.

О да, мы рождались
 в пространствах других,
 где древняя жалость,
 не видя живых,

с крылом перебитым —
 к таким, как сама
 (не Дева Обида:
 безродная тьма) —
 к забытым,
 забитым,

к незашто убитым,
к сведенным с ума...

Смерть — нерусское слово.
Как там Пауль писал?
Смерть — немецкое слово,
но русское слово — тюрьма:
от моря до моря,
от света до света,
от суда до клейма.

5.

Гребец на галере,
кощей на цепи,
этапник в безмерной,
безмерной степи
тоску свою вложат
в то, жгущее всех:
вверх!
Иначе,
сглотнув наше вечное «Нет!»,
котел твой и нож твой,
Позор-людоед.

6.

Как дверца,
открытая птице лесной,
как сердце,
враждебное тяге земной, —
от всех гравитаций
отвязанный плот.
Кто сможет остаться,
как он поплывет?

7.

То дым не пожарищ,
не горных атак,

не сел, выдыхающих
душу во мрак,

не тленья,
не гари, не огненных мук,
дым — вечер моленья,
он как Шива сторук.

8.

Вначале шатаюсь
на ватных ногах,
клубясь, утыкаясь,
петляя в кустах —

и над всею потравой,
над долинами слез

— О Господи, слава
Тебе — занялось! —

он встанет на колени,
словно сердце царей,
дым благословенный
земных алтарей.

9.

...Вечернее море,
отрада Сафо,
звезда за звездой,
строфа за строфой...

Там больше не вспомнят,
кто умер, кто жив.
Усталый наемник,
Волов отрешив...

Что чище того,
что сгорело дотла?
что бездне нет дна и
звездам нет числа...

10.

Как дети играют:
«Чур, первую мне!»
у края
создания, в заочной стране —

забвения мак,
поминания мед
кто первый уйдет,
пусть с собой и берет —

туда, где, как сестры,
встречает прибой,
где небо, где остров,
где: Спи, дорогой!

А. АХУТИН

АНКЕТА ¹

1. Ахутин Анатолий Валерианович.

2. 11 сентября 1940 г., Ленинград.

3. Научный сотрудник группы «Диалог культур» при философском факультете Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), преподаю на философском факультете РГГУ (спецкурсы: «Начала античной философии» на I курсе и «Чтение Платона» на II курсе). Действительный член Российской Академии естественных наук по отделению «Наука и теология».

4. Отец Ахутин Валериан Никифорович. Родился в Санкт-Петербурге, в 1902 г., в семье служащего в области народного образования родом из г. Череповца. В 20-е годы окончил Институт путей сообщения. В дальнейшем, однако, работал в области проектирования и планировки городов. После войны — в Государственном институте проектировки городов. С 1953 г. в Госплане СССР, затем — в Госплане РСФСР. Умер в 1974 г.

Мать Ахутина (Герасимова) Антонина Петровна. Родилась в 1910 г., в с. Квашенки, недалеко от г. Талдома Московской области в семье скорняков. С детства отличалась стремлением получить образование, но как дочь «кустаря-одиночки» (!) не была принята ленинградскими институтами и работала чертежницей. Проведя годы войны в эвакуационных скитаниях с малолетним сыном на руках, мать до конца жизни оставалась тем, что на советском языке именуется «иждивенкой», «домашней хозяйкой». Умерла в 1971 г.

5. Каково влияние родителей? Честно сказать, — не знаю. Во всяком случае, отец практически не принимал никакого участия в моем «воспитании», постоянно пропадая то в ко-

¹ Четыре года назад работники Литературного музея, составляя, если я правильно понял, архив свидетельств современников, обратились также и ко мне, предложив ответить на некоторые вопросы. Составители настоящего сборника сочли возможным включить в него этот текст, позволив несколько изменить его и дополнить откликом на сегодняшнее положение дел. Я благодарен всем участникам сборника за оказанную мне честь выступить вместе с ними.

мандировках, то на совещаниях. Семья не была его стихией. Я и видел-то его только по воскресеньям, в костюме, белой рубашке и при галстукe погруженным в газету или журнал «Огонек». Однако влияние его личности с некоторых пор отчетливо осознаю. Типичный совслужащий, отец был, однако, человеком широкой, компанейской души, трезвого, иронического ума и легкого нрава. Ни в чем меня специально не проsvещая, он, как я теперь понимаю, одной только скептической интонацией, внутренней отстраненностью от всяческих «энтузиазмов» и юмором сызмала оградил меня от каких бы то ни было идеологических заморочек.

Мать — человек совершенно иного психологического склада — очень страдала от того, что ей в отце казалось сухостью, пренебрежением семьей, бытом вообще. Я всю жизнь был при ней, свидетелем ее боли и болезней, ее метаний, безуспешных попыток вырваться из одиночества, устроиться на работу, вытянуть меня из бесконечных двоек и троек, обустроить дом... — так что получил, можно сказать, сугубо женское воспитание.

Следует зачислить в воспитатели и пятисотметровый коридор некогда гостиничного дома на ул. Разина (бывш. и нынешней Варварке), где мы жили с 1948 по 1953 г. и где располагался папин ГИПРОГОР. В этот коридор, по которому я свободно катался на велосипеде, выходило штук сто квартир-«номеров», было два общих туалета, возле каждого «номера» стояла газовая плита, от стены к стене висели веревки с бельем, и происходило все, чему положено происходить в такой стокомнатной коммуналке. Лет двадцать назад дом этот оккупировал под учреждение, кажется, ЦК, и с тех пор, к моему большому сожалению, войти в него нельзя.

Из эпохи детства не могу не вспомнить еще, видимо, сильного и, несомненно, благотворного влияния той атмосферы жизни и внутренней свободы, которая царила в домах двух папиных братьев. Один — известный военный хирург и очень яркий человек Михаил Никифорович Ахутин. Другой — крупный специалист в области гидропроектирования, профессор не помню какой военной академии Александр Никифорович Ахутин. Идти на Суворовский бульвар, в гости к дяде Шуре и тете Леночке всегда означало — праздник, застолье, радость. Настежь открытые всем родственным и дружеским ветрам,

хлебосольные (весьма по тем временам состоятельные), гостеприимные дома, молодежь, романы, страсти, последние анекдоты, последние книжные новинки... И тут же глухие (для меня) разговоры о сыне, Евгении Александровиче (человеке мало сказать незаурядных дарований, с которым мы позже близко сошлись), отбывавшем после войны свой семилетний срок «за политику».

6. До университетских лет никакого «мироощущения» у меня, судя по всему, не было. К концу школы я твердо усвоил, что литература, именуемая классической, была написана завучами в учительской или какими-то на редкость занудными людьми вроде авторов учебников. Любопытно, как я ее — нашу литературу — открыл. В 1956 или 57 г. я получил «в нагрузку» к билету на концерт О. Лундстрема билет в театр им. Гоголя на спектакль «Обломов». От скуки, которая меня съедала в те годы, решил пойти. Знал я из романа только неперемный «Сон Обломова» и, ясное дело, «обломовщину». По картинкам воображал себе Обломова каким-то обрюзгшим барином на возрасте. В театре же роль Обломова исполнял очень молодой, высокий, сильный, красивый актер, и я вдруг услышал от него речи, знакомые мне столь интимно, что и с самим собой-то не часто их вел. Тем же вечером я взял с полки роман и закончил к утру, размазывая слезы по щекам. Дома, слава Богу, была вся положенная русская классика, и я принялся ее читать запоем (вперемешку с Ремарком и Хемингуэем). Но до сих пор считаю «Обломова» одним из трагичнейших произведений, причем характер трагизма здесь совсем не «тех еще» времен, а наш, XX века. В отличие от «нищестанства» Серебряного века никто еще толком не изучил, что взрастил на русской почве шопенгауэровский дух (поздний Тургенев, А. Фет, Л. Толстой, конечно же Н. Гончаров и, может быть, даже Чехов). Между тем, «шопенгауэровский человек» явился в России задолго до всех «Посторонних» и «Тошнот».

Понял я, что меня методично и злоумышленно обманывали в школе. Что нас не только лишали «права переписки» с историей, литературой, поэзией, философией, но, сверх того, делали все, чтобы казалось, будто и переписываться-то не с кем. Открылась мне и нехитрая логика, по которой разжалованный следователь ГБ стал директором нашей школы (№ 56).

Так вот и случилось, что Илья Ильич вывел меня на волю русской литературы, а, стало быть, вообще — на волю. И уже никакие разоблачения «культы личности» не могли отвести моих глаз от разоблачений куда более радикальных. Илья Ильич оказался в моем сознании где-то рядом с Иваном Денисовичем, и не было потом ничего более естественного, как увидеть Александра Пушкина на одних нарах с Абрамом Терцем, — где же и быть у нас человеку «с умом и талантом»?!

Не сложно было после таких уроков понять, что все поэмы и теоремы не какой-то там культурный багаж, а хранилище свободы и достоинства человека, нечто сугубо личное, интимно касающееся меня, прямо — и тайно — обращенное ко мне, что живут они не в юбилейных собраниях сочинений, а в сам- и тамиздате, и по самой своей сути должны читаться по ночам, передаваться тайком, обсуждаться на кухнях, а не на конференциях. А упрятывают их от меня в стерильную «классику» или в кощеев «спецхран», большой разницы нет. Впоследствии, читая «Пушкинскую речь» А. Блока, «Четвертую прозу» О. Мандельштама, памфлет изгнанного А. Синявского или нобелевскую речь И. Бродского, я понимал о чем речь с полуслова, потому что уже был посвящен в «тайную свободу» собственной речи, мысли, веры, в незримую конспирацию душ, перекликающихся друг с другом поверх барьеров времени и пространства, перестукивающих из камеры в камеру...

Недолго было и понять, что агрессия против самых глубоких основ человеческого бытия, которая именовалась у нас «построением Коммунизма», а рядом — «построением тысячелетнего Рейха», — лишь доводит до предела (до беспредела) вражду, корнящуюся глубже классовой или расовой ненависти. Не знаю, как назвать (как понять) этот выброс темной человеческой стихии, разразившийся в XX веке, — «кризисом гуманизма», «нигилизмом», «восстанием масс» или еще как, — ясно одно: XX век, размахнувшийся на окончательное решение множества вопросов, окончательнее всего поставил под вопрос самого человека. По моему разумению, вся тяжесть и острота, вся смертельная окончательность этого вопроса открывается вовсе не в глобальных кризисах и планетарных угрозах, которые бросаются нам в глаза и уши, проникают в поры нашего тела, мутят разум выхлопными газами и апока-

липтическими видениями, — речь в первую очередь идет о судьбе человека в его личной собственномименности, «каждости», единственной единичности, самозначимой частности (злополучный «частник»), не важно, маленький он или большой.

Вместе с другими технологиями неслыханного прогресса достигла в XX веке и технология мощения дорог в ад. Они мостятся нынче уже не жалкими благами намерениями, а ослепительными идеями всеобщего блага, во всеоружии технических достижений века победоносно овладевающими массами, — тотальными технологиями и идеологиями, которые видят в каждом только средство, только человеческую материю, «человеческий фактор»...

Понятно, как и чем определяются мои симпатии и антипатии. Кормчие звезды, значимые созвездия образуют для меня те, кто ищет читателя в потомстве, как искал друга в поколении. Меня затрагивает, захватывает одинокий голос человека, великодушно делящегося со мной своей мукой или недоумением, своими восхищениями и крушениями, человека, погруженного в тайну слова, в жизнь линии, поверхности, краски, в движение самосушей мысли. Антипатично мне все, в чем самостоятельная жизнь звука, цвета, формы, слова, мысли уступает место какой бы то ни было, пусть и самой доброй, самой благочестивой, идеологии (для «идей» и «принципов» существует здесь-издат газет и журналов, в там-издате ими если и интересуются, то только как материалом).

Не знаю, кому это интересно, но честно попытаюсь ответить на предложенный вопрос (что читаю, смотрю, слушаю?). Если говорить только о крупном и вместе с тем ближайшем, что читаю и перечитываю, не могу насмотреться и послушаться, то это некоторые книги Ветхого завета («Бытие», «Исход», «Иов», «Исаия», «Экклезиаст»...), «Илиада», русская поэзия и проза (не вдаваясь в подробности, иначе не кончу), из западной — Шекспир, «Фауст», П. Валери (проза), М. Пруст, Р. Рильке, Ф. Кафка (из любимейших), С. Беккет; в музыке, конечно, С. Бах, вообще немецкая музыка, Ф. Шопен, А. Шнитке; в живописи — японцы, эллинистическая фреска, XIV век, Боттичелли, Эль Греко, Брейгель, в современной — и русской, и западной — очень многое (Пикассо, П. Клее, П. Филонов...). Активно же не нравится, например, С. Дали (вроде нашего

Глазунова, разве что рисовать уметь), с другой стороны, например, такие, как Ф. Леже или Ф. Мазерель, — ну да Бог с ними. В философии, — с которой связан творческой судьбой, — вся европейская классическая философия от греков до М. Хайдеггера. В русской философии, которая, на мой взгляд, вариация европейской, интереснее (не обязательно ближе) других — П. Флоренский, С. Франк. Особняком и в особенности — М. Бахтин. В России философия и литература издавна были в интимных отношениях. Что, в самом деле, Н. Бердяев, Л. Шестов или В. В. Розанов без Ф. Достоевского? А разве А. Герцен не литература прежде всего (разумеется, не его «романы», а «Былое и думы» или «С того берега»).

7. Религия — установление отношений человека к Богу, т. е. вовсе не только (и не столько) форма богоустроения жизни, но и неизбежное противоборство. Опасное (провокационное) присутствие в каждом кирпичике мироздания того, что не от мира сего, а с другой стороны, деформирующая вмешанность человеческого разумения и неразумия, человеческой ограниченности, страсти, корысти в эти отношения. Любая мощь, в том числе и божественная, приходит в действие в той мере и в той форме, в какой человек умудряется разгадать ее загадку. И никакой Бог *не может* дать человеку ключ к Его разгадке, разве что подсказывать, наводить, намекать, а намеки тоже понимаются человеком на *собственный* страх и риск (истории с греческими оракулами показывают, сколь опасно это дело). Никакое *откровение* не позволяет человеку заглянуть в ответ. И *предание* живо, когда передает *жизнь* с ее страхом и риском, с ее мучительной загадочностью, иначе его мертвые формы взрываются *протестующей* жизнью. Любая сила, которой жив человек на Земле, — от хлеба насущного до ядерной энергии, от инстинкта до веры, — попадая в человеческие руки, может стать как спасительной, так и губительной. Причем, чем больше эта сила, чем, стало быть, спасительней она могла бы быть, тем она и опасней, тем разрушительней может обернуться ее мощь в руках человека. Чем «священнее» война, тем более она беспощадна. Когда старо-новые коммунисты под именем национал-патриотов окончательно побратаются с ново-старыми почвенниками, в Чечне или еще где-нибудь будут гибнуть «с улыбкой на устах» (П. Грачев) солдаты не конституционного, а христоклюбовного воинства, и Россия

получит право вести свои «освободительные» войны не только в качестве «родины победившего пролетариата», сражающегося с мировой буржуазией, но и в качестве хранительницы подлинной веры, сражающейся с лежащим во зле Западом и еретическим Востоком. Чем более ясно, чисто и всеобщее благо, за которое ведется «последний и решительный бой», тем слепее одержимость, тем тотальнее чистки и зачистки, тем всеобщее зло. Зло ведь — давно известно — своей энергии не имеет и питается энергией блага. Чем ближе к Богу мы пролетаем, тем дальше от Бога нас уносит. Грех, огрех — своего рода промах. Мы успешнее всего промахиваемся мимо Бога, когда целим в богообразный призрак, традиционно именуемый *идолом*. Государство, держава, нация, племя, — вот *наши* сегодняшние — насквозь *языческие* — кумиры, которые мы с энтузиазмом творим на месте, казалось, павшего. Между тем, всякая *национализация* христианства есть его кощунственная *паганизация*, чтобы не сказать испоганивание.

Другой соблазн религии, которому более подвержено просвещенное сословие, исчерпывающе раскрыт в «Легенде о Великом инквизиторе» Ф. Достоевского: тоже вроде бы благое желание сделать религию *инструментом* массового воспитания, *употребить* ее в целях наведения всеобщего нравственного порядка. Дело, на мой взгляд, столь же — если не более — опасное, что и опыты по генной инженерии, евгенике и прочим техникам улучшения человеческой породы. И здесь ведь некие *знатоки* берут на себя окаянство устроить по их разумению темную человеческую душу. Стоит ли удивляться, что именно недавние «инженеры человеческих душ» самочинно присвоили себе нынче пастырский сан, назначили себя блюстителями нравственности, апостолами народного добра и рыцарями личности?!

И еще видел я суету под солнцем... Сделать из религии уютную духовную нишу, где в тишине и душевном комфорте, можно, наконец, отделаться от самого себя, откупиться от мира «добрыми делами» и «службами», умиленно дремать в сладких песнопениях и навсегда закрыть уши от Бога, вопрошающего: «Где ты, Адам?!»

8. По образованию я — химик. Окончил химический факультет МГУ и затем его аспирантуру. Диссертацию защитил по физической химии, экспериментальную. Никакого «выбо-

ра» профессии не было, дело случая, разве что детское пристрастие к взрывам и фокусам. По окончании школы профессиональному невежеству моему не было границ, и все, чем я располагаю ныне, — результат самообразования, крайне далекого от какого бы то ни было систематизма. Впрочем, при всех бесспорных минусах самоучительства были в этом для меня и несомненные плюсы. Ведь с первого курса меня — каким-то чудом — захватила философия, а известное дело, что такое было у нас философское образование.

9. Если не считать необходимых публикаций по диссертации, а также статьи по истории физической термодинамики в СССР, написанной в 1967 г. (50-летие советской власти) по поручению дирекции Института истории естествознания и техники АН СССР, где я тогда работал, — первая публикация, отражающая ту работу, которой я занят по сей день, была, если не ошибаюсь, в 1973 г., в журнале «Вопросы философии» (№ 1). Называлась она «У истоков теоретического мышления» и была посвящена пифагорейцам. Публикации ее способствовал покойный М. К. Мамардашвили, работавший тогда в редакции журнала. Полнее всего мне удалось высказаться в книге «Понятие „природа“ в античности и в новое время» (М., 1989). Нахожу удачными статьи «Открытие сознания (Древнегреческая трагедия)» и «Дело философии» (в кн. «Тяжба о бытии», М., 1997).

10. Значимые события. (1) Встреча на первом курсе с Виктором Павловичем Визгиным, посвятившим меня в философию и надолго ставшим моим самым близким другом.

(2) Участие в занятиях философского кружка физфака МГУ в 1964—65 гг., где я познакомился со многими настоящими философами (Э. В. Ильенков, Г. С. Батищев, Ю. Н. Давыдов, П. П. Гайденко и др.), а также с будущими друзьями, благодаря которым философия, искусство, религия открылись мне в захватывающе новых обликах, вместе с которыми мы предавались книжным страстям, схватывали налету все веяния, проникавшие к нам сквозь щели проржавевшего железного занавеса, и вели бесконечные дискуссии на самые запретные темы. Тут-то и началась для меня настоящая философская школа. Помню заседания кружка, который вел в Институте философии Г. С. Батищев. Лекции Ю. Н. Давыдова, читанные на философском факультете МГУ («Гегель и французс-

кий экзистенциализм», «„Феноменология духа“ Гегеля»). Лекции на том же факультете П. П. Гайденко («Современная философия истории», «Кант» и «Фихте»). Помню первую книгу П. П. Гайденко о Хайдеггере, которую практически всю переписал в виде конспекта...

(3) Впервые целиком самостоятельно принятое решение навсегда уйти из химии и по возможности полнее заняться философией, — решение, испытавшее сильнейшее сопротивление родителей и родственников (и их можно было понять: для нормального человека тогда стать философом значило примерно то же, что парработником или даже гэбэшником), насмешки коллег, гнев администраторов. В результате я поступил на работу в Институт истории естествознания и техники, — как я теперь понимаю, самое по тем временам благоприятное место для свободных занятий всем, что меня занимало. Я проработал там без малого 25 лет и считаю это едва ли не главной удачей жизни. Там — помимо многих замечательных людей — я познакомился с философом, по моему убеждению, крупнейшего масштаба, Владимиром Соломоновичем Библером, который стал и остается по сей день моим учителем в философии. Полагаю, и в этом мне неслыханно повезло.

ii. Поначалу я двигался в философии, шарахаясь из стороны в сторону. Сперва довольно долго изучал Гегеля. Чем меньше я его понимал, тем более боготворил, превращая само чтение его в некое священнодействие. Поскольку он мне объяснил, что полное разумение может иметь место только в мысли, а мысли обитают в философии, а философия это гегелевская логика, все же прочее есть «мышление в образах», т. е. для дураков, я проникся презрением ко всему «художественному», накупил себе книг по логике и задумал формализовать — т. е. довести до предельной чистоты — саму гегелевскую логику. Закончив «Большую логику», я решил между делом отдохнуть и посмотреть, что там чирикают разные экзистенциалисты и прочие эстетики, о которых много шумели вокруг. Пошел я в Ленинку и взял три книги: «Смысл творчества» Н. Бердяева, «Наслаждение и долг» С. Кьеркегора в пер. Ганзена и «Современную книгу по эстетике» под ред. Райдера, — собрание основных текстов по современной философии искусства (Бергсон, Фрейд, Дьюи, Маритен, Кроче

и др.). Ну и, натурально, обалдел от этих тропиков после гегелевских льдов. На дворе тоже стояла оттепель: «Люди. Годы. Жизнь» И. Эренбурга, «Тарусские страницы», первые сборники М. Цветасвой и Б. Пастернака, вечера поэзии, площадь Маяковского, рукописи, машинописи...

И тут мне снова повезло. Может быть, мало кто заметил, что в 1965 г. была произведена очередная чистка, на этот раз чистка библиотек. До тех пор в Ленинке, Горьковке, Историчке выдавалось практически все (а в Горьковской б-ке МГУ мне как аспиранту еще и на абонемент). Весь Серебряный век, включая и мельчайшие альманашки, Гумилев, Мандельштам, Пастернак, вся русская философия, все журналы и сборники, Добротолубис, Ницше, Шопенгауэр, какой-нибудь Эд. фон Гартман, Фрейд... — без всяких ограничений (единственное, что мне, помню, так и не дали, несмотря на весьма настоятельные просьбы, так это *Библию*!). С 1965 года все это было пресечено, даже карточки из каталогов повынимали, доступ в тематическую картотеку Ленинки закрыли. Впрочем, было уже поздно: пошел самиздат и тамиздат. А потом спасительный ксерокс.

И я ушел в этот мир со всей моей гегелевской головой. Логика была отодвинута в сторону, вся «материя» человеческого бытия, истории, культуры оказалась прямо идущей к делу философии, сама же философия нисходила со своих логических высот в экзистенциальное средоточие человека.

Впрочем, гегелевская семинария не прошла даром. Мне было легко понимать наших «несомаксистов» («предметная деятельность», «отчуждение»), заметить философскую вторичность В. Соловьева, рассудочный (по Гегелю и в сравнении с Гегелем) формализм философских конструкций Л. Карсавина и А. Лосева. Но главное, у меня остался вкус к философии исторического размаха и логической детализации. Вместе с тем схваченное однажды ощущение непреходящей (всеобщей) значимости культурной формы — во всей ее исторической уникальности, материальности, опытной осмысленности, в ее собственной разумности — заново возрождало для меня всю европейскую философию из гегелевского «снятия» и втягивало в нее материю культуры. Много в этом отношении дала мне история науки. Именно в связи с ней я «реабилитировал» (после гегелевской критики) философию И. Канта, с которой

первоначально познакомился в своеобразном преломлении, а именно, по книге М. Хайдеггера «Кант и проблема метафизики». Возможность связать «понятие» и «опыт», «логику» и «культуру» я усмотрел в кантовском «трансцендентальном схематизме», и статья о пифагорейцах есть попытка применить это открытие к пониманию начал греческой мысли. Здесь мне очень помог появившийся в то время первый том «Истории античной эстетики» А. Ф. Лосева.

Когда я познакомился с В. С. Библером (1965 г.), я нашел все, что искал в одиночку и много больше того. Не могу назвать свою «основную тему» иначе, чем на библеровский манер: *диа-логическая онто-логика культуры*. Что это означает, здесь не разъяснить. Поэтому упрощу дело до невнятной метафоры: Бог, в которого я верю, — Бог деталей и подробностей, Бог, который сохраняет все (*Deus conservat omnia* — надпись на гербе Фонтанного дома, эпитафия к «Поэме без героя» А. Ахматовой), и я хотел бы увидеть и показать, как это возможно. Абсолют, в котором все истории, эпохи, лица, трагедии, поражения и победы сливаются в безразличное единство, — для меня — мертвый метафизический призрак...

12. С 1966 г. дома у В. С. Библера работал философский семинар. Работал с такой свободой, интенсивностью и широтой, что сразу и целиком вписался в философскую жизнь «эпохи гласности», когда стал вполне легальным и даже институционализировался. Я ушел из ИИЕТ и после двухлетней работы в Институте философии стал сотрудником нашей группы «Диалог культур», которую до последнего времени содержал молодой предприниматель из г. Кемерово. С 1991 года читаю по собственному разумению разные курсы из античной философии студентам философского факультета сначала МГУ, а теперь РГГУ. Могу печататься, только пиши. Разумеется, в этом отношении дышать стало гораздо легче.

Поначалу на радостях и в политику ввязался. Был членом «Московской трибуны», статейки в газеты пописывал, у Белого дома в августе 1991 г. двое суток отстоял, считал, как и многие, эти дни счастливейшими.

С конца 1992 г., когда все шансы, в очередной раз данные России почти задарма неким снисходительным и великодушным Богом, были снова — слепо, тупо, бездарно — упущены, когда верхи под своими властными коврами опять ничего не

могли, низы опять ничего не хотели, кроме московской колбасы по 2.20, а хотевшие и могшие опять сплющивались между молотом и наковальной, — взгляды мои и настроение изменились. Вечный соблазн российского интеллигента (отношу это определение к себе и как клич, которым окликнут во тьме или в толпе людей не мне чета, и как кликуху с ее знаменательными синонимами: «очкарик», «отщепенец», «интель», «космополит», «жид»...), — вечный его соблазн «в надежде славы и добра глядеть на вещи без боязни», сокровенное его желание «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком». Эти соблазны, надежды и мечтания пошли прахом. Оно, может, и к лучшему.

Моя родственница, в прошлом самая обыкновенная совслужащая, а нынче рядовая пенсионерка, сказала мне после декабрьских выборов (1993): «Скучно жить, Толя!» А все эти годы не было живее, радостней и политизированней ее. Она сдавала бутылки, приторговывала, чем могла, на рынке среди таких же «спекулянтов», знала процентные ставки разных банков, покупала себе на праздники какой-нибудь заморской вкуснятины, входила в тонкости политических споров, могла ночь не спать от очередного хамства какого-нибудь Хасбулатова, собирала подписи «за демократов», — словом, чувствовала, что впервые живет, живет сама, как ей хочется и может. Сегодня же, еще ничего не случилось (да и не сразу же нас повезут на новые стройки коммунизма или, не знаю, Великой России что ли), но все как бы погасло в какой-то серой безнадежности.

Скучно, Господа! Не страхом, а тошнотворной скукой, что пуще всякого страха, веет из нашего зюгановского или жириновского будущего. Тифозной тоской бараков, казарм, канцелярий, помоек, могил... Пустые — очищенные от ларьков, газетчиков, книжников, теток с хлебом, сосисками, водкой и сигаретами, гармонистов, гитаристов, «черных», нищих, ящиков и коробок — мертвые улицы с омоновцами по углам; очереди, талоны, пайки; спецназы, спецхраны, спецраспределители, спецзаказы; линялые плакаты вместо крикливых реклам, краснознаменные ансамбли песни и пляски вместо боевиков, невзоровская некрофилия вместо порнухи, трехчасовые речи, привычное вранье с фронтов освободительно-воссоединительных войн... «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...», «Все для блага человека».

13. XX век в истории России начался, казалось, небывалым взлетом всех творческих сил. Для меня 20-е годы свидетельствуют об этом не меньше, чем краткий Серебряный век. Во многом европейская культура XX века жила тем, что вдруг вошло в России, отчасти и потому, что всходам этим пришлось укореняться и расти уже на Западе. Но с самого начала русский Ренессанс был окрашен в болезненные, лихорадочные, едва ли не предсмертные тона. Звучание этого, будто застывшего перед концом, времени в траурном марше времен последующих лучше всего, на мой слух, передано в «Поэме без героя» А. Ахматовой.

В остальном же XX век для России эпоха планомерного тотального перемалывания ее косточек, успешное осуществление большевистской программы по уничтожению «старого мира», построению общества нового типа и выведению новой породы человека методами репрессивной селекции. Россия как исторический субъект со своей трагически нескладной и все же полноценной судьбой, с определенными формами политической и хозяйственной жизни, со своими сословиями, укладами, характерными типами, с бурной общественной жизнью, своеобразным культурным лицом, — со сцены сошла, и на ее месте был воздвигнут монстр СССР. Ценою изгнания, уничтожения и полного искоренения прежде всего самой доброкачественной части населения, ценою тотального террора и идеологического затравливания, ценою нещадной эксплуатации человеческих, природных, сырьевых ресурсов была построена «империя зла» с военно-промышленным комплексом в качестве хозяйственного базиса победившего социализма. Попробуй «перестрой» этого ракетного динозавра на человеческий лад!

Написано нынче обо всем этом изрядно, так что, обозначив свою оценку, распространяться на этот счет не буду. Хочу только отметить фактор, так сказать, нравственный, а именно катастрофическую утрату человеческого качества, столь радикальное растрепление человека, какое и не снилось никаким западным развратам. Мы все подсчитываем, сколько было уничтожено или искорежено в войнах и лагерях: половина нации, чуть больше или чуть меньше. Но давайте прибавим сюда еще несколько армий: армию партработников; армию репрессивного аппарата — всех оперов, следователей, конво-

иров, вохровцев, надсмотрщиков, блюстителей (в том числе и идеологических), топтунов; затем армию добровольной и недобровольной агентуры; наконец, армию самой армии, по сей день ломающей — морально и физически — юность, т. е. будущее... Кто ж останется?! Приходится только удивляться силам жизни, пробившимся все же на свет из-под вечной мерзлоты, бетона и солярки. А русские нацисты, баркашевы, жириновцы, трудоросы, сталинисты, коммунисты — это как раз вполне «наши», естественное порождение нашего кровавого болота, нашей советской «почвы».

Когда нынче разные правдолюбцы сердятся, что-де воруют кругом, я вспоминаю строки И. Бродского:

*«Говоришь, что все наместники ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца».*

14. Революцию (имею в виду большевистский государственный переворот) считаю общенациональной катастрофой, неслыханных в истории масштабов. Не вижу в ней ни «историко-материалистической», ни какой бы то ни было другой «историософской» логики, неизбежности. Скорее уж некий слепой рок, несчастное стечение обстоятельств, чуть ли не проклятье. (Замечу в скобках: антисемитизм с его «жидо-масонским заговором» считаю не идеей, а симптомом умственной и нравственной неполноценности.) Понадобился весь бешеный темперамент и оголтелый авантюризм Ленина, чтобы этот переворот совершить. Понадобилось призвать к делу самые погромные массы народа, вызвать духов темнейшей человеческой стихии, чтобы власть удержать. А там начинает работать логика борьбы, которая и становится конституцией режима. Логика гражданской войны, железная логика террора, логика осадного положения. (Важна, замечу, эта *конститутивная логика*, и нет для меня большой разницы, каким мифом эта логика учреждается: осаждают ли империализм мировой буржуазии во главе с США «родину победившего пролетариата», замышляет ли США в стремлении к мировому господству поработить бедную но великую Россию или просто потребительский Запад в коммерческих целях растлевает духовную Россию.) Степень насилия определила такую глубину переворота, что о какой там логике, кроме логики насилия, может идти речь?! У насилия же логика одна: оно втяги-

вает (отбирает) в себя насильников и делает своих делателей насильниками. Вот и вся «социальная база». На смену индивидуальному терроризму народовольцев и эсэров, воевавших с властями, большевизм привел анонимный и массовый терроризм как образ правления. И никакие НЭПы не могли уже противодействовать логике перманентного террора.

Сталинизм есть виртуозный синтез двух форм тоталитаризма, порожденных XX веком: большевизма и фашизма, интернационал-социализма и национал-социализма. Гибрид социалистического обобществления человека с милитаристским духом, пролетарской идеологии с черносотенным почвенничеством, идеологии мировой революции с агрессивным имперским экспансионизмом и создал ту «империю зла», которая, вооружившись ядерными ракетами, стала, без шуток, главной угрозой человечеству. И угроза эта, на мой взгляд, еще отнюдь не миновала. Россию можно без лишних хлопот выставить великой державой, только надувая ее тоталитарным духом, а бомба есть, ума не надо. Ядерный шантаж — надежное средство: и великой державой признают, и считаются будут, и доллары отстегивать, куда ж они денутся! Хотя, конечно, время от времени перестраиваться надо. Чтобы ускорять военно-технический прогресс.

Войну, к которой Сталин с тупым коварством шел, страна внешне выиграла, как всегда ценой миллионных жертв, с которыми никто у нас никогда не считался, — человек самое распоследнее дело, когда о нем заботится партия и правительство, — но внутренне проиграла, потому что именно после войны сталинистский нацизм и расцвел полным цветом. До сих пор иные патриоты жалеют, что Сталин не успел окончательно решить еврейский и кое-какие другие вопросы...

Режим этот до такой степени античеловечен, что достаточно любой «оттепели», чтобы живая материя зашевелилась и великие стройки коммунизма зашатались. И уже никакие застойные заморозки не могли ничего тут поделывать, разве что глубже погружать страну в болото. Конечно, хрущевские «разоблачения» — рефлекс самосохранения и средство борьбы за власть, но за это время как раз и успели появиться те самые шестидесятники — правозащитники, диссиденты, ученые, писатели и публицисты, — благодаря которым «перестройка» вырвалась за установленные ей пределы. М. Горбачев ведь

тоже поначалу власть свою укреплял и делал выводы из проигранной холодной войны (СОИ). Он и ведать не ведал, какую лавину вызовет брошенный им камешек «перестройки и ускорения». Лукавая невразумительность этого лозунга выражала роковую двусмысленность горбачевской либерализации. Вместо Нюрнбергского суда, хотя бы символического, вместо немедленной отмены преступных «статей» верховные перестройщики *помиловали* узников, поставив тем самым свою либеральную подпись под их приговорами. Это частный, но очень показательный пример. Режим задумал одно, дело же шло о другом. Стоит вспомнить растерянность, испуг, чуть ли не панику на лице Горбачева в Армении, Латвии, Белоруссии, его раздраженное бормотание о «злоумышленниках» и «подбрасываемых нам идейках», конвульсивные расправы... Какая там информированность, мифическое всеведение ГБ! Как весенний паводок или зимние заморозки были всегда неожиданностью для партийных агрономов, так и распад империи был неожиданностью для горбачевцев, а теперь победа коммунистов и жириновцев — неожиданность для ельцинистов.

Нам был подарен идиотский путч 1991 г. Кому в те дни не казалось, что путь теперь открыт. Но куда там?! Важнее сесть в кабинет Горбачева, чем, например, немедленно распустить Съезд народных депутатов. Чем немедленно приступить к рассмотрению сахаровской Конституции... В результате октябрь 1993 г. стал уже подарком новым путчистам. Никто иной, как Ельцин, не ведая, как и Горбачев, что творит, пытаясь совместить несовместимое, проложил и прокладывает дорогу национал-коммунистам. Проложил не реформами, а как раз их торможением и — как следствие — госмафиозной трансформацией. Устилая им путь идеологией державности, социал-демагогией, чеченской бойней. По всем канонам партиновника окружая себя не толковыми людьми, а «своими» (которые первые тебя и продадут с потрохами). Так что Зюганов — или кто там выводится в подземных лабораториях — получит из рук Ельцина полуфабрикат, вполне готовый к соответствующей доработке.

Такие химеры, как «коммунизм с человеческим лицом», «демократический империализм», «правовой национал-социализм», «либеральная диктатура» в природе не существуют и

существовать не могут. Тут решительное или-или. Или нерушимое единство народной партии со своим народом, скрепленное единой национальной идеей, — т. е. ГУЛАГ при ВПК — или частная собственность, гражданское общество, права человека, — т. е. хотя бы возможность для каждого обычной скучной потребительской буржуазной, но человеческой жизни...

И все же мой пессимизм, так сказать, локальный, его хватает только на мой век. В чуть более далекой перспективе (думаю, лет десять) дело всяких фашизмов-коммунизмов вполне безнадежно. Конечно, их, положим, даже четырехлетнее правление будет губительным для страны и людей во всех отношениях. Всеобщий передел собственности они, разумеется, устроят, но ее едва ли хватит даже для начальства, а продавать, кажется, уже нечего, главное же размах не тот. А сколько новых книжек, журналов, газет нужно будет пожечь и позапретить! Да и молодежь нынче вряд ли добровольно поедет на какую-нибудь целину...

Величайшим достижением считаю освобождение из «социалистического лагеря» стран восточной Европы. Надеюсь, окончательное. Не меньшим благом считаю и распад СССР. Чем больше границ, тем меньше возможностей для экспроприаций и прочих обобществлений. Каждому «субъекту» приходится решать собственные задачи и вступать с другими в экономические, коммерческие отношения, а они нуждаются в правовых гарантиях. Когда корыстей много, кому-то одному трудно объявить себя «равнее» других и провозгласить собственную корысть всеобщим благом. То же относится и к Российской Федерации. Крайне опасно отождествление федеративной власти с властью русских. А где в РФ Русская республика?!

16. Считаю русскую литературу (поэзию и прозу) вообще, в том числе и XX века основным «откровением» национальной культуры. Здесь Россия сказала свое слово, это слово и было услышано миром, поскольку — в противоречии всей идеологической риторике — отвечало обостренно чуткому слуху к тому, чем была жива европейская культура. Движения европейского духа в России вырывались из своих цивилизованных упаковок, переживались с какой-то первозданной интенсивностью и рождали неслыханно глубокие или неслыханно од-

нобокие ответы. Но именно благодаря такой восприимчивости и отзывчивости русская литература с пушкинских времен перестала быть явлением местного значения, смогла дать русскому слову всемирное звучание.

Антагонисты — Достоевский и Толстой — отмечают эпохальный рубеж, перевал между XIX и XX веком. Нет смысла говорить в двух словах о фсеэрии двух десятилетий XX века, отпущенных России, еще способной слышать, разуметь и сказывать, пока этот век не переехал ее «телегою проекта». В каком-то наитии было разом схвачено и набросано все, чем по сей день живет (и гибнет) XX век. Предчувствия, предвестия, прозрения, обострение культурной памяти и слуха, размах смысловых сопряжений, — все это требовало и вызывало до предела сгущенное, уплотненное — поэтическое — слово. Перед массивной безличностью стихии, со всех сторон — извне и изнутри (в той же поэзии) — встававшей на дыбы, поэтический голос обретал звучание небывалой лирической чистоты и силы. Вот почему мне кажется, что русская литература XX века это прежде всего русская поэзия XX века, А. Блок, В. Хлебников, О. Мандельштам, М. Цветаева, Б. Пастернак, А. Ахматова (а на закате века — выжженный, выстуженный, неприкаянный, будто посторонний даже самому себе — голос И. Бродского), если говорить о вершинах. Что же касается прозы, то она становилась явлением, во-первых, когда была прозой поэтов — А. Белый, М. Цветаева, Б. Пастернак, — во-вторых, когда умудрялась расслышать и преобразить в слово те речевые залежи, которыми бормотала, бредила, шушукалась и голосила потрясенная до оснований душа человека и народа. Это в известной мере и очень по-разному А. Белый и А. Ремизов (Б. Пильняк, Е. Замятин). Это — в свосм и только свосм углу — ни с кем не сравнимый В. В. Розанов. Это — во всем размахе развороченной человеческой стихии — А. Платонов. С теми же или иными идеологизациями, уплощениями, стилизациями, жанровыми иллюзиями и прикрытиями «Тихий Дон», А. Веселый, И. Бабель, «Вор» Л. Леонова, М. Зощенко...

Отдельного абзаца заслуживает и требует проза М. Булгакова и прежде всего — вне всяких сравнений — «Мастер и Маргарита». Что это и как это могло случиться, не мне судить. Не я один, думаю, воспринял эту вещь, написанную в 30-е годы, как адресованную прямо нам, столь точно пришлась

она к нашему времени. Напечатанный в советском журнале (пусть и в урезанном варианте) роман этот, казалось, читался теми же ночами и хранился в тех же тайниках, что и «Воспоминания» Н. Мандельштам, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова. Таившаяся в фантазиях «Мастера» сила освобождения была сравнима с этой документальной прозой.

И в советское время живая проза питалась теми же источниками: лирический голос в фантазмагории свихнувшейся со всех «логосов» реальности. «Фантастический реализм» («мистический реализм» советского «балаганчика») — жанр, стиль, эпоха диссидентской прозы, несомненный перл которой Поэма «Москва — Петушки» Венечки Ерофеева. Только, в отличие от прозы 20-х годов, никакие жанровые благопристойности, — ни эпические, ни мифотворческие (Эйзенштейн) отстранения (и оправдания), ни декоративность, ни сатира, ни даже юмор, пусть и черный, — не скрывают здесь той голой, смертельно настоящей реальности, которая в 20-е годы сказывалась разве что Обериутами.

Литература — животное очень живучее, она существовала всегда, и тоталитаристский дух, какая бы почва его ни испускала, пока еще не умел добраться до ее источников. Но надо отчетливо различать литературу в советское время, т. е. подсоветскую литературу и литературу в изгнании (где, скажем, один только В. Набоков — феномен неисчерпаемый), с одной стороны, и «советскую литературу», с другой, которая к литературе имеет то же отношение, что и сталинская конституция к конституционному строю. Судьба «Нового мира» 60-х—70-х символизирует усилия литературы — слова публичного, как никакое другое нуждающегося в читателе, — выжить. Она заранее отливалась в традиционные формы: лирической прозы, в какой-то мере всегда допускавшейся, (К. Паустовский, М. Пришвин, затем Ю. Козаков, ранний А. Битов), социального (деревенская проза) или психологического романа (Ю. Трифонов). Военная тема также давала порою возможность пробиться к настоящей литературе (А. Бакланов, В. Некрасов, В. Гроссман).

Нечего и говорить, что я смог здесь наметить лишь два-три привидевшихся мне силуэта в горном хребте русского слова, — хребте, который так и не удалось переломить.

17. Что такое интеллигенция? Ответить на этот вопрос трудно прежде всего потому, что сам «предмет» — интеллигенция — остается крайне неопределенным. Нечто вроде незримого сообщества, «рыцарский орден», по слову Г. П. Федотова, со своими — неписаными — уставами, кодексами, даже своего рода ритуалами. Ни образование, ни профессия, ни социальное положение сами по себе не делают человека тем, кого называют у нас интеллигентом. Это скорее особый склад личности, определяющий неповторимый характер отношений человека с миром культуры, общественной жизни, с другими. Прежде же всего — это особый нравственный облик. Явление «интеллигенции» типично русское: попытка общественной жизни (мнения, мысли, действия) в мире этактистско-общинном. То, что на Западе развивалось в институты цивилизации — гражданское общество в его полноправных отношениях с институтами власти (как *функциями*), — в России вырождалось в «орден», в кружки людей, писавших и читавших зажигательные слова по чердакам и подпольям, в инородную *прослойку* между властью и народом... Здесь не место вдаваться в исторические анализы, хотя вопрос о судьбе, роли и месте интеллигенции в России мне кажется одним из насущнейших. Тем более странно и огорчительно видеть, как аналитическая работа самосознания и сегодня привычно замещается публицистическими баталиями, апологиями и проклятиями, противоборством идейных пафосов. (Я знаю только одну работу замечательного русского интеллигента, в которой вопрос ставится с достойной его сложностью и остротой, во всем его драматизме, — это небольшое эссе Лидии Яковлевны Гинзбург «Поколение на повороте».)

Пережить опыт еще не значит извлечь его, и «Вехи» или «Трагедия интеллигенции» Г. Федотова для нас все еще последнее слово. Вспомним же отчетливую формулу Федотова: «...Русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемая идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей». Имеются в виду «идеи», которые не вырастают из жизни, из ее «иррациональных глубин», вычитанные, превращенные в не менее иррациональный пафос, знамя. Так разве в сегодняшней РФ и вчерашнем СССР как раз идеи «почвенности», «государственности», «национал-мистицизма» имели или имеют хоть какой-нибудь реальный смысл, хоть какую-

нибудь *почему* под ногами, разве не вычитаны они по кухням в 70—80-е годы, не взяты на идейное вооружение с типичным интеллигентски-идеалистическим пафосом, опоздавшим, правда, лет эдак на сто?! Утверждаю: сегодня быть державником то же самое, что в 1881 г. было быть бомбистом. Не трудно заметить (и было уже отмечено социологами), что именно представители советской интеллигенции — а вовсе не «народные массы» (пока ими, слава Богу, не овладела еще «национальная идея») — охвачены нынче эпидемией фашизоидного национал-патриотизма. Разве не типично интеллигентский жест: сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал: идол (Народа и Революции) сменяется идолом (Нации и Государства). Так вот и получается, что вокруг, куда ни помотришь, только идолы и пепелища...

Большевики в свое время, изгнав, уничтожив, сгноив по лагерям цвет русской интеллигенции, превратили оставшихся в совслужащих, служивших власти не только за страх, но и за совесть, за ту самую интеллигентскую народопоклонническую и революционную совесть. За редким исключением интеллигенция оказалась внутренне — идейно и морально — безоружной против воинствующей идеологии. Тем же интеллигентам можно было теперь поручить искоренять саму интеллигентность (поносить «гнилую интеллигенцию»), чтобы, наконец, стать номенклатурной «советской интеллигенцией» (прекрасные очерки той софистической моральной казуистики, с помощью которой бывшие интеллигенты мотивировали свою самоликвидацию и приспособление к совслужбе, дала упоминавшаяся уже мною Л. Я. Гинзбург в кн. «Человек за письменным столом»). И точно так же, как в свое время большевики, нынешние коммунисты-державники, сменив между делом идейные веши (впрочем, их сменил уже Сталин), укрепляют свой имперский национал-социализм мессиански-почвенной идеологией, выведенной в интеллигентских историко-софистических колбах. Случайно что ли Руцкой цитировал И. Ильина, а Лукьянов (Осенев) пишет евразийские гимны?

Если прислушаться к критикам и попытаться одним словом отметить главный, на мой взгляд, дефект интеллигентского сознания, я бы выбрал слово *идеологизм*, сам идеологизм, а не его содержание. Сращение рассудочной ясности всеразрешающей идеи с этическим пафосом всеспасения («теории»

и «практики»). Узость и плоскость рассудка восполняются здесь энтузиазмом чувства, а хаотические силы эмоциональной стихии направляются однозначно правильным руководством к действию. Если, далее, исходя из этой картинки, попытаться уяснить, что же все-таки содержится в феномене интеллигенции такого, что сберегает ее от идеологических одержимостей, что делает ее незаменимой частью общественной жизни, то можно было бы, пожалуй, сказать так:

(1) Интеллигент есть интеллектуально культурный человек (вспомним коренной смысл самого наименования); это не обязательно значит «интеллектуал», — просто человек *думающий* (в отличие от идейного), способный размышлять, судить об идеях и пафосах, не отождествляться с ними, сомневаться в них, переосмысливать, слышать контр-идеи... словом, человек, дело которого состоит в размышлении, анализе, вдумывании.

(2) Переживая мысль как долг и совесть, интеллигент все еще может стать мучеником, но не мучеником *идеи*, а — как А. Д. Сахаров — мучеником за право на свободное, т. е. ответственное суждение, за право одинокого голоса противоречить племени, ревущему: «Родина! Держава! Коммунизм!» или что-нибудь другое.

(3) Интеллектуал есть интеллигент, когда он понимает также, что *мысль* это *дело*, что оно значимо именно в качестве его собственного дела и что, чем критичнее ситуация, тем важнее *это* дело. Где-то в 88—90 годах «Московская трибуна» была клубом интеллигентов, пока они не убедили друг друга, что надо дело делать, а не разговоры разговаривать...

(4) Интеллигент «гнил» тем, что вечно сомневается, рефлектирует, и дай ему Бог не продавать эту «гнилость» и эту муку за всеразрешающую власть идейного энтузиазма. На языке морали рефлексия именуется совестью (на мой взгляд, между умом и совестью есть глубокая взаимосвязь, смысл которой и можно расслышать в слове «ответственность»). На политическом языке совесть именуется гражданским самосознанием. Гражданская совесть это не эмоциональная впечатлительность к страданиям людей, а экзистенциально испытанное сознание круговой поруки человеческого бытия, извещенность, неустрашимость и незаместимость твоего участия (или неучастия; можно быть даже истинным мучеником *неучастия*).

(5) Интеллигент это человек, поведение (практика) которого определяется не идеями, идеалами или пафосами, а внутренней этической формой — понятиями чести, достоинства, неприкосновенности и самооценности человеческой личности. Кантовское: «Человек не может быть средством» в качестве категорического императива. Этичность эта легче всего передается кантовской же категорией формального долженствования. (Любопытно, что в голову приходит именно кантовская этика. Что бы это значило?) В радикальном отличии от интеллигента-идеолога, которому благая цель (идея) оправдывает любые средства вплоть до террора, этический пафос интеллигента, о котором я говорю, определяется категорическим императивом защиты *ноуменальной самооценности единичного человека*, императивом, не считающимся с «политической целесообразностью» или «тактическими соображениями» момента и не принимающим оправданий сегодняшних преступлений против человека завтрашним или общим благом. С этой точки зрения, к примеру, совестливый человек сегодня (пишу в марте 1996 г. [и повторяю в январе 2000 г.]) должен был бы давно сидеть где-нибудь у лубянского камня в бессрочной голодовке с плакатом «Прекратите чеченскую войну!»

Понятно, набрасывая эти определения, я всматривался в облики некоторых деятелей правозащитного движения, более же всего — А. Д. Сахарова.

Эти качества — аналитичность, свобода размышления (требующая благоприятных условий), острое чувство ответственности гражданина страны и мира, категорический императив слова и поступка здесь, сейчас и вопреки великим целям, — плохо совмещаются друг с другом и разрывают сердце и сосуды головного мозга. Неврастении, гипертонии, инфаркты, инсульты — интеллигентские болезни. В нашей стране такого склада люди — как и поэты — долго не заживаются. Зато всегда найдется партия, которая присвоит себе звание ума, чести и совести.

18. Если есть нечто такое, как «Русская идея», то она имеет смысл только как идея культуры, как тема, слово, строй мысли... Если же ее понимать как идею государственную, то ничего другого, кроме «православия, самодержавия, народности» не придумано, как бы ни приглаживали и не выхолащивали

знаменитую формулу нынешние либеральные державники и невеликие инквизиторы, берущиеся сварганить национальную идею для народа с помощью важнейшего из искусств. Трехчленка же эта насквозь тоталитарна, т. е. одинаково губительна и для православия как христианской религии (государственный Молох переварит его в язычество), и для государства, и для судьбы народа (как человеческой, так и культурной). Не составляющие формулу части наполняют содержанием целое, а вызванный их сочетанием безымянный дух входит в каждого соучастника и подменяет его собой. Другие формы этого духа откровенней выбалтывают его суть: «Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer!», «Родина! Держава! Коммунизм!»

...Одно дело суверенитет, другое — изоляционизм. Всякий изоляционизм для России губителен. Без дальних хитростей скажу, что вижу путь к восстановлению нормальной жизни в России только через максимальное включение ее в экономическую и цивилизационную жизнь Европы: деидеологизация политики, либеральная рыночная экономика, развитие институтов гражданского общества, демилитаризация (союзничество с НАТО) и т. д. Взаимоотношения с Востоком дело сложное и, честно сказать, не моего ума (Востоков ведь много).

19. Из сказанного понятно, с чем я связываю будущее страны, т. е. надежду, что у нее вообще будет будущее. Если же к власти придут коммуно-нацисты, то будущего у этой страны вообще не будет, будет гниение в прошлом, портящее и заражающее воздух в мире. Потоптавшись, погубивши массу людей, намахавшись бомбами, страна эта окончательно развалится и провалится. И теперь уже сваливать будет не на кого, сами виноваты, заслужили.

Сегодняшнее противоборство, разумеется, не классовое, но все же сталкивающиеся в обществе силы имеют вполне определенные социально-психологические черты. Упрощая донельзя, можно сказать: борьба идет между теми, кому привычней, удобней или выгодней жить в лагере (под опекой вохры, кумов, КВЧ, хоть и с баландой, да гарантированной...), и теми, кому хочется жить на воле, без гарантий, но и без опеки, без заботы партии и правительства. Люди, которые протестуют, бастуют, бунтуют сегодня, будь они учителя, врачи или шахтеры, — мне понятны, но не всем им, кажется, понятно, что их борьба возможна и порою даже может чего-то

добиться только в условиях так называемой буржуазной демократии. При коммунистах или нацистах не побастуешь и больше уже не поголосуешь против «антинародной власти».

5.03—4.04.96. Ахутин А. В.

ДОБАВЛЕНИЕ В ЯНВАРЕ 2000 ГОДА

То, что мне хотелось бы сказать, будет звучать политической публицистикой, но я не публицист. В нынешних горячих событиях я вижу симптом, вроде температуры или сыпи, серьезных тектонических смещений в сообществе. В настоящем проступает что-то вроде будущего, заставляет задуматься, вызывает на разговор. В чем суть дела, я не знаю, но разгадать, вовремя распознать происходящее должно, чтобы нельзя было потом оправдываться незнанием. Или снова, в который раз отмахиваться: «Не я, не я твой лиходей! Воля народа...», величие России, всеобщее Благо?..

Прошло 4 года. Мы снова перед выбором. Но если тогда казалось, что в обществе и в самом деле происходит противоборство неких реальных сил, а потому и выбор реален и осмыслен, то теперь — нет. Противоборство, разброд, склоки и разборки хоть в какой-то мере реальных интересов и сил вместе с перекособоченной, как сама реальность, но все же реальной экономикой челноков, бытовых фирм, мелкооптовых рынков, ООО и пр. уходит в тень, в подполье, а побеждает всепоглощающее, анонимное Единство. Фантом единства, гротеск единства, имя, звук, — но побеждает.

Страна сдается на милость победителя. Все с облегчением ее сдают, сбывают с рук. Кто же победил? Победил победитель. Какой? А Бог его знает. Семья или ГБ, ВПК или ГРУ, партия мафии или мафия без всякой партии, олигархат, номенклатура, компетентные органы, организованная компетентность?.. Нечто и некто. О нем нельзя даже сказать, что он победил других потому, что поставил себе цель победить любой ценой. Это все еще политический романтизм, а реальность не такова. Реализм теперь состоит в том, что победителей выводят, как микробов, *in vitro* некие ученые полит-технологи, специалисты по социально-генной инженерии. Победителем выходит не какая-то идеология, политика, программа,

даже не «имидж», а робот, кибер, сконструированный в качестве победителя.

На наших глазах произошло чудо, в России, впрочем, не редкое. В считанные дни возник не какой-то там подпоручик, а целый Президент Кижэ. Что президент, — партия, блок, общественно-политическое движение, «фигуры не имеющие». Один технолог с младенческой самоуверенностью так и сказал: «Дайте мне немного денег и через три месяца вы страну не узнаете». Это, конечно, великолепная технология (Э. Ферми по поводу взрыва атомной бомбы сказал: «Какая великолепная физика!»). Эффективный политический технолог умеет сделать власть, какую надо, сформировать нужное общественное мнение, сочинить национальную грезу, т. е. идею, а если потребуется (и если подучиться малость), то, надо полагать, и религию... Только вот что именно нужно, кто это решает?

Ах, не моего ума это дело, говорит мне внутренний голос, они, политики знают, что и как оно лучше будет, поживем увидим, молодые люди, новые силы, технологии опять же. Только не слишком ли старые ноты и настроения слышатся в этом внутреннем голосе. Что-то он напоминает, подсказывает. Заставляет насторожиться и спросить: что за вдохновение охватило вдруг людей от голосащих и голосующих низов до верховных технологов власти? Что это за дух вновь овладевает нами, набравшись новых сил и вооружившись современными технологиями, т. е. перестроившись? Может и впрямь задание выполнено, может, не шутка, что так оно и замышлялось?

На чью, в самом деле, милость сдастся страна? Раньше было просто: коммунисты — не-коммунисты, а теперь никто не знает. На милость нового президента, нет, наверное, технологов его успеха, нет, виноват, тех, кто стоит за технологами, нет, пожалуй, тех, кто оплачивает технологов, или тех, кто стоит еще и за ними, или тех, кто давал задание юному разведчику. Где же, кто же главный технолог? Вроде, например, Сталина (см. «Технологию власти» Авторханова). И главное: чего он хочет, к чему клонит? Никто не знает.

А что если большинству (включая и большинство «прослойки») просто хочется сдать на чью-нибудь милость? При чем на милость того, кто как раз ни лица, ни фигуры, ни имени, ни идеологии, ни программ не имеет. Воплощение Государ-

ства вообще, Нации вообще, Единства вообще и помонолитней, — словом, держатель Державы, Вождь ведомых. На общественную же потребность, как нас учили, всегда возникает и предложение, соответствующее этой потребности.

Если просвещенные люди заводят речь о необходимости сильного государства вообще, не спрашивая, какого именно, — имперского, республиканского, демократического, олигархического, авторитарного, тоталитарного... — ответ содержится в этом неспрашивании, нежелании просветиться на сей счет.

Если мои сверстники, знающие то же, что и я, объявляют себя патриотами, не испытывая неловкости от соседства с коммунистами (теперь первыми национал-патриотами), сталинистами, нацистами, не чувствуя потребности объясниться, — они солидаризируются с ними. Между тем, стоит объясниться, хотя бы с самим собой. Стоит вспомнить, что государственный национал-патриотизм не случайно был введен Сталиным уже в 30-е годы, а его верноподданные патриоты все еще хотят

*«... Чтоб каждый чувствовал зависимость
От Родины, от русского всего.
А посредине наш генералиссимус
И маршалы великие его».*

Чтобы сохранить возможность смотреть в глаза хотя бы самому себе, стоило бы вспомнить и другой голос, голос поэта, жившего на той же земле в те же времена, одинокий голос, которым кричит — и по сей день никем не слышимый — «стомиллионный народ», миллионы безголосых одиночек:

*«Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад
.....
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных мафусь».*

Далее.

Если права и интересы — разные, противоборствующие, своекорыстные, эгоистические интересы — частных граждан, объединений, корпораций, социальных классов и политических партий, этнических меньшинств и прочих самостийно

сложившихся групп населения, — если эти частные интересы и обеспечивающие их права подчиняются некоему анонимному общенациональному интересу, перед которым все прочие интересы всегда слишком мелки, а права условны, — одним только этим движением сознания, одним только помыслом уже производится тоталитарная революция: ликвидируется частная собственность вместе с собственником (своего дома, своей квартиры, своего угла, своего тела, своей души...), ликвидируется право, т. е. закон (который, скажем, запрещает убивать людей без суда, а в общенародных интересах единой и неделимой России это нужно, а следовательно, можно), ликвидируются этносы, классы, слои и прослойки, поскольку разнородной их местнических корыстей разрушает единый интерес общенародного бесклассового государства, ликвидируются протестующие и возражающие, потому что они подрывают мощь государства и идут против общенационального интереса.

Какой убедительностью, какой властью над умами обладает этот идол идолов, всепоглощающее единство! Диву даешься, с какой легкостью даже интеллигенция (даже вполне казалось бы «гнилая») на глазах у всех добровольно перековывается в здоровых государственников, которых уже не тревожат по ночам «мальчики кровавые». Ведь это необходимые жертвоприношения богам: Единству и Неделимости. А надо еще иметь в виду стремление США к мировому господству («Может, дремлет Пентагон?! Нет не дремлет! Он не дремлет, мать его, он на стреме!...»).

Тут можно, пожалуй, опереться даже на своего рода метафизику. Со времен Платона известно, что Единое безвидно, неопределенно, анонимно, знать о нем что-либо нельзя, можно только мистически с ним сливаться. Известно также, что Единое само по себе не существует, а существует оно только во многом, но во многом оно существует только путем его отрицания, т. е. путем перманентной чистки многого от его множественности, и нет ничего, что могло бы устоять, не исчезнуть в этой черной дыре.

Конечно, отдельный человек должен уважать другого отдельного человека, иное дело государственный муж. «Кто действует во имя всеобщего, — учил нас Гегель, — во имя, например, государства, скажем, например, генерал (*generalis* —

лат. *общий, всеобщий* — А. А.), тот вовсе не обязан уважать права единичного человека, а наоборот, последний, хотя он и есть самоцель, не перестает быть относительным» (Соч., XI, 227).

Итак, власть вообще от имени Единства вообще и во имя Единства вообще — должна быть бесцветна, безлична, бессодержательна. Это возвышающееся надо всеми разногласиями воплощенное единство нации. Единство же этого воплощенного единства — по логике иерархической партиципации — само воплощается в единственном... Такая власть нуждается в идеологии мистического единения, как можно более громогласной: «Родина! Держава! ???!» (национал-программисты третий член еще не придумали). Громогласие нужно не только для того, чтобы устранить разногласия, но более для того, чтобы заглушить одинокие голоса и вопли.

Нам же пока что важно заметить, что и наоборот: полит-технология, которая разрабатывается и работает для достижения власти, просто власти, власти вообще, возвышающейся над склокой интересов и партий, добывает — вопреки, может быть, предположениям технологов — вовсе не какую угодно, а вполне определенную власть: *как* она достигается, *такой* она и будет. Уже сейчас видны ее простые несущие конструкции: враги извне (режим осадного положения), враги внутри (непрерывная война с террористами, с криминалом, с коррупцией), положение на грани чрезвычайного. Население терроризировано страхом перед террористами, ему предлагается сила, которая, как гласил предвыборный ролик, «спасает всех и всегда», мелкие бытовые неудобства вроде отсутствия отопления и пр. отодвигаются на задний план, те, кто вчера требовал зарплаты, сегодня требуют чрезвычайных мер и готовы предоставить чрезвычайные полномочия любым чрезвычайным комиссиям. На этом-то огне и закипает энтузиазм экстатической преданности спасителям, носителям чистой идеи единства, которую и призван воплотить Некто, ни собственного лица, ни собственной фигуры не имеющий.

Не в одних, стало быть, технологах дело. Серьезная опасность, по-моему, в том, что полит-технологическое сознание и общественные бес- или полу-сознательные инстинкты и потребности встретились, нашли друг друга. Технологии успешно сработали (совершенно не важно, чистые они или грязные), власть взята. Но она также и отдана, вручена. Не толь-

ко организованность колхозов, военчастей и целых губерний, не только искусство пропаганды и наука подсчета голосов причиной тому, что, например, воздушный шарик «Единства» достиг таких размеров. За редким исключением все, кажется, только и хотели эту власть отдать, а отдать до сих пор было некому. Власть буквально всучили, кому — дело случая, впрочем, случая удивительно точного. И теперь новые заединщики сверху донизу и слева направо вместе со свобододолюбивыми СМИ верноподданнически внушают этой власти, что ей все позволено и заранее все прощается.

Интеллигентские предрассудки, советует мне молодой журналист с телеэкрана, можно сдать в архив «Мемориала» и начать, наконец, патриотически сотрудничать с Государством. Такая вот смена вех. Как тогда, в 30-е годы. Даже аналог «вредительству» есть, называется «международный терроризм»: разве можно сегодня возразить против уничтожения мирного населения, не попав сразу же в пособия террористов? Не получив клеймо провокатора (самое малое) и не от спецслужб, а от свободных и независимых журналистов... Кажется, еще немного и прозвучит: «Верните нам смертную казнь, товарищ... кто там?»

Тоталитарный инстинкт общественного сознания (или подсознания) вызывает к жизни тех, того, кто должен быть достаточно Киже, чтобы исполнить обязанность главы монументального общенародного государства. Не ждите от него конкретных программ, предпочтений, пристрастий. От него по определению не может исходить ничего частного, только общее, а общее — единое: голая власть как таковая. И все.

Лишено поэтому смысла гадать, ожидает ли нас диктатура либерализма, демократическая тирания, просвещенная монархия или что-либо более свойское. Победитель не знает. Думаю, что толком и конструкторы тоже не знают. Нет никаких заговорщиков, — ни Сталина, ни Семьи, ни Масонской ложи, ни ЦРУ, ни Спецслужб, ни Олигархата. Ничего этого нет (подозреваю, что даже Березовского и того нет). Не на кого сваливать.

Между тем, что творится можно распознать не по тому, что провозглашается, а по тому, *как* творится, что допускается. Гром обещанной победы и величие провозглашаемых целей свидетельствуют о чудовищности средств, которые нуж-

но оправдывать. Между тем, только *средства* дают узнать, кто делает, что делает, зачем делает. Есть логика вещей, средств, поступков. Она — логика — уже знает. Лучше всех центров и органов логика наших деяний знает, что нас ожидает, что творится.

Детский пример для слишком реальных политиков, которые в свое время, кажется, плохо слушали маму. С помощью вранья я, положим, получил конфету. Тем часом вранье с помощью меня тоже кое-что получило. Исчезло лицо необманутой мамы, вместо нее возникло — впервые — некое третье лицо: «она». Во мне же родился одинокий зверек, что-то урывающий и тайком ото всех грызущий в своей норе. Речь, как видите, о вполне вещественных перемнах, а не о нарушении правил приличия, каковое, уверяют меня, неуместно на войне и в реальной политике.

Пример посложнее. Если политик или журналист находит особый шик в том, чтобы «ботать по фене», говорящий и слушающие начинают и думать, как «фраера». Более того, шикарным это может казаться только потому, что вся наша действительность остается пронизанной «блатным» духом, его понятиями о приличном, допустимом и законном. Дух *этих* законов оживает и вселяется в нас с помощью художественной фени ораторов, говорящих, может быть, при этом о законах демократического, правового государства.

Вот и великодержавная риторика никак не совместима со скучными аналитическими выкладками экономистов и социологов, но находится в полной симфонии с демагогией коммунистов.

Словом, средства — существа хитрые и более всего любят перехитрять хитрецов. Цель — разумеется, благая цель, например, сохранить преемственность власти, обеспечить дальнейшие либеральные реформы — все-таки, думают реалисты полит-технологи, может быть, иногда оправдывает не совсем благовидные средства. Но у средств свое мнение на этот счет.

Попробую в меру понимания истолковать кое-какие из этих мнений.

1. Технологичная манипуляция общественным мнением, предпочтениями избирателей может быть успешна только там, где люди привыкли быть объектом манипуляции. Если, к примеру, публичные дебаты соперников заставляют слуша-

теля думать самому и тем самым приводят его в сознание себя, собственного гражданского достоинства, то централизованное пропагандистское внушение уничтожает граждан и превращает людей в манипулируемую массу. Эта масса выберет, кого вам надо, но выберет в качестве кормильца и спасителя. Стало быть, такие средства, вопреки, может быть, предположениям технологов, уже готовят уклад распределительный, а не рыночный. Либеральная экономика может существовать только в гражданском обществе, а в гражданском обществе централизованные технологии неэффективны. Хотели, например, сконструировать особую партию власти в Думе, получили довесок к коммунистам.

2. Технологии централизованной манипуляции уже разделяют общество на кабинетных знатоков-управленцев и управляемых, а управление требует дальнейшей централизации. Общество, превращаемое технологами в кукольный театр на ниточках, совместимо с единственной (а вовсе не любой) моделью хозяйствования, с единственным режимом, с тем именно, который нам слишком хорошо знаком. Лучшее всего управляется хозяйственная машина ВПК. ВПК повышает обороноспособность, а обороняться надо, потому что нам угрожают и т. д... Технология централизованного управления естественно превращается в административный аппарат. Аппарат этот — машина чрезвычайно взяткоемкая. Непрерывная борьба с коррупцией обеспечена, она потребует новых контролеров, т. е. новых аппаратов и т. д.

3. Технологи предусмотрели победоносную войну в качестве средства победы, положим, сверхлиберального президента. Но на войне побеждают генералы, а уж это «средство» точно имеет свои и отнюдь не либеральные цели. Чтобы война была краткой и победоносной, генералам разрешили всё (они, впрочем, не особенно и спрашивали). «Антитеррористическая операция» ведется средствами террористической войны: мирное население взято в заложники, заложников уничтожают в наказание, по условиям войны и просто так по пьянке. Ни прав, ни правил, ни пределов жестокости на этой необъявленной войне не существует...

Эти средства и знают, что творится такими средствами. Что творится с молодыми людьми, которых вооружили, посадили на БТРы и сказали: «Тебе все позволено!» Что творится с

нами, всеми СМИ уговаривающими себя, что так надо для блага Государства и чуть ли не демократии. Что за Государство творится методами террористической войны с частью (продолжаем мы себя утешать) собственного населения.

4. Генерализация власти, милитаризация экономики, всеобщая мобилизация на борьбу за... И прежде всего безопасность, т. е. то, в чем она сосредоточена и воплощена, имя чего мне уже сейчас не произнести, ибо язык липнет к гортани.

Скучно, господа!

...А главное, что поразительней всего, как это в одночасье все вдруг взвихрилось и понесло. Несет опять Русь куда-то, дивятся и роют убежища поглубже остальные народы. Только никто уже не спрашивает, куда это тебя, Русь, в очередной раз несет. Все равно не даст ответа. Бес его знает.

О. СЕДАКОВА

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ХВОСТИНА

Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов... Мы ленивы и нелюбопытны.

Путешествие в Арзум

L'Amore e l'cor gentil sono una cosa.

Vita nuova

Владимир Иванович любил чудесные совпадения, соответствия, сбывающиеся предвещения. Чтобы все появлялось неслучайно, не с бухты-барухты — и чтобы ничто не терялось на пути к последующему: как река доносит всю свою воду в океан. Чтобы все *уже* было прежде, чем стало быть, — и при этом ничего *такого* еще не было! Потому что этого океана, как поется в русском романсе, «вместить не могут жизни берега».

Никто с таким нетерпением, как он, не ждал продолжения: все казалось ему каким-то предшествованием, шествием, ходом к уже присутствующей цели, набиранием какой-то уже наличной суммы счастья. Это неизбежное будущее, считал он, превосходит всяческое ожидание — но каждое из этих ожиданий и всю их смену именно оно и вызывает на свет; собственно, вызывает к себе. Да, как читали мы в студенческие годы у Леви-Строса, музыка и миф берут время и преобразуют его.

«Мой жизненный и музыкантский опыт — что одно...», писал он в одном письме. И конечно, именно музыкант должен так ждать перекличек, композиционных увязок, исполнений всех едва замеченных обещаний — и, в конце концов, разрешения всей временной последовательности. Разрешения, которое *вполне* удовлетворяет слух. Музыкант, воспитанный в любви к старой докатастрофической музыке. Неотвратимость сама по себе переживалась им как счастье. Ему хотелось, чтобы ее было *еще* больше — и он испытывал необыкновенную радость, когда находил, что его характер похож на тот, какой полагается ему по гороскопу.

— Фатальность ужасна, не правда ли? — Но если это фатальность звуковой последовательности, лучше которой не найти? Лучше, то есть свободнее, вдохновеннее и внимательнее к каждому звуку, который никаким другим, кроме предложенного, смениться не пожелал бы. Если это фатальный ход лучшей в мире мелодии, сложенной лучшим композитором? Что остается тогда, как не перенести ее без потерь с нотного листа, *исполнить*, успевая насладиться ее смысловыми возможностями, успевая поблагодарить, прощаясь, каждый из ее звуков? Так звучал у него рояль. «Покой и воля, — говорил он, — вот и вся разгадка.» И еще медленность.

Слово «счастье» и слово «будущее» (вернее, «то, что нас ждет») он повторял чаще всего и связывал с каждым моментом: каждый момент в его глазах обладал своим счастьем и еще больше — тем, к которому он тяготеет. Он встречал его так: «Наконец-то! этого, *такого* еще не бывало. К этому все шло, но я и не думал, что будет *настолько* хорошо!» И каждая такая вершина была — «самое начало». «Я в самом начале пути», — повторял он все двенадцать лет, что мы были знакомы. «Я кое-что узнал, что-то стало получаться, Вы услышите!» — сказал он в нашем последнем разговоре незадолго до смерти. Услышу?

Если бы эта цель — «моя цель» — была (в его замысле) «там»! Нет же, она была *здесь*, в музыке и в жизни, в достижении — как он говорил — очищения музыки и очищения жизни. И, конечно, артистический триумф. Карнеги-холл, у него это называлось. Признание, успех, слава. По возможности, всемирная. Слава, кажется, умерла в наши годы — умерла как высокая и важная мысль, как лавр, которого Данте не перестал желать и в последнем из небес. Слава принадлежит теперь миру топ-моделей. Не то чтобы Владимир Иванович не заметил этого. Не то чтобы он не знал цветаевского противопоставления: успех — и успеть (такого же, в ее мысли, как противопоставление письменного стола — обеденному). Он знал, но не верил. Чтобы хотеть успеха, говорил он, требуется предполагать, что способность отличить *настоящее* не может быть отнята у человека. Представить человеческое общество окончательно глухим и неблагодарным он не мог. Он знал, *что* он имеет такого настоящего, чего нет у современных художников. Это была сама первоматерия всякого искус-

ства — доброжелательность, приветствие неизвестно откуда, которое и составляет атомы этой не вполне вещественной материи. И он хотел, чтобы эта материя явилась перед слушателем неузвимою. Только в таком случае он взялся бы показать ее. И поэтому ему нужно было много лет, чтобы то, что он понял про музыку, изнутри довести до тех внешних, технических оболочек, с которых теперь обыкновенно начинают (и кончают ими же). Он хотел, чтобы виртуозность излучалась изнутри, из самого удовольствия музицирования, когда внешнего, машинального, упаковочного не останется вообще. «Ведь это бывало, — говорил он, — ведь старые мастера это знали.»

Все сбывалось, все сходилось, как в пастернаковском сюжете, новые знакомые оказывались друзьями старых друзей, неожиданно — и более чем ожидаемо исполнялись давние планы, посещались города детства и юности — всегда в нужный момент. «Как раз теперь я должен был здесь оказаться», — писал он из разных мест, куда его заносила гастрольная жизнь. Он по видимости не знал разочарований — может быть, не позволял себе знать, а может, само так получалось. Я не различу, что в его усердном любовании миром и звуком было природным даром, а что — работой. Работа несомненно была немалой. Он любил сравнения своего дела с самыми трудоемкими ремеслами — резьбой по камню, гравированием... Не знаю, что могло сбить его с этого восхищенного приятия всего.

С искусством — а с музыкой особенно — давным-давно связалась идея о чем-то демоническом, опасном, соблазнительном, о недуге, о высокой, но болезни. О потусторонности добру и злу:

Зла, добра ли? ты вся не отсюда...

И каким-то образом в самом очаге этой болезненной нездешности, в искусстве романтиков, где, кажется, он был у себя дома, как нигде, Владимир Иванович находил обратное: опору и целебную красоту. Он любил переворачивать известное изречение «Но и любовь — мелодия»: «Но и мелодия — любовь». Стоит посмотреть на дело таким образом, стоит дать себе труд вдуматься в странности этой любви, поверить в оправданность этих странностей — и на месте будто бы дисгар-

монии мы встретим новую обогащенную гармонию, на месте будто бы неразличения добра и зла — свежее добытый и еще не известный облик добра. Искусства, повернувшегося лицом к безысходности, он не принимал. Все, в чем звучит тот самый «визг, которым кончается мир», казалось ему неправдивым. А правдивой, наоборот, — простая светскость. Он восхищался тем, как должен был себя вести исполнитель времен Моцарта: он должен был глядеть не на клавиши, а, развернувшись к ним вполоборота, — на слушателей, и не переставать улыбаться, какие бы звуки ни извлекали в это время его пальцы. Безутешность должна была быть охвачена утешением, и безответность ответом, как остров океаном. Такой ответ, такая почва, которая неизмеримо больше любой произрастающей на ней боли, любого леса скорби, выросшего на ней, — это форма, или строй. Где есть форма, говорил он, отчаяние проносится, как облака. Мне странно было такое отворачивание от болезненного, мне казалось, что вещи искусства и сами его формы возникают из глубокого неблагополучия, в ответ на него. Предрассудок трагической и только трагической правды. Как на самом деле нужно было бы благодарить того, кто может намекнуть о великом благополучии мира. Остальное знание дается легче.

И море и Гомер, все движется любовью. —

Сколько раз пытались нам внушить похожую мысль, и всегда без большого успеха. Можно было бы сказать, что и вовсе без успеха, но это, видимо, не так. Если бы отзвук этой простой мысли не коснулся хоть края сознания «обыкновенного человека», вероятно, мы увидели бы еще не такие причины для пресловутого «визга». То, что называют искусством, в самом деле вырастает в человеке такое растение, происхождения и природы которого обычно не помнят. И не надо.

Необъяснимый для меня оптимизм Владимира Ивановича, казалось, объяснится в будущем: там полное овладение мастерством, чуда творчества, признание, восхищение, Карнеги-холл... Но этого будущего уже нет. Многим можно утешиться. Например, тем, что мы не знаем, как все обстоит на самом деле. Тем, что единственный чистый звук, извлеченный в полном одиночестве и никем не услышанный, *на самом деле* значит больше, чем пластинка миллионного тиража

и концертные залы в парадных цветах. Что его-то, этот одинокий звук, на самом деле и *слышат*. Чему я безусловно верю.

И все же: сосредоточенность на неведомом, исключительно неведомом счастливом конце — что с этим делать нашей «обыкновенной жизни»? Все ее привычки, все желания воплощать, и воплощать по возможности безупречно, ее преданность «великим деяниям» и «великим сочинениям», вся копилка ее «открытий» — не рассыплются ли они в прах при надежде на одно только такое, неведомое, на одинокий звук, который дороже грандиозных симфоний, на какую-нибудь уместную улыбку, перевешивающую великие усилия?

Многие люди, исповедующие разные религии, любят спокойно относиться к смерти. Не знаю, что они будут делать, когда придет их черед, но примирение с чужой смертью у них получается хорошо. «Душа возвращается в отечество свое.» А то, что останется, туда ему и дорога, и, если они христиане, то в воскресение во плоти верят только из вежливости.

Владимир Иванович жалел обо всех местах, которые покидал, даже о больнице: «Мне жалко было уезжать оттуда». «Мне жаль было с ними расставаться», писал он о разных людях из разных мест. Он верил во все, что мой разнuzданный разум готов признать старыми предрассудками: в такие вещи, например, как память в веках. Он любил мемуары, записки, свидетельства о великих художниках, усадьбу Пушкина, дом, в котором жил Пастернак... Река времен в своем течении не все, по его мнению, уносила. Кроме того, в нашем выморочном брежневском болоте мы узнали о ней нечто новое, об этой реке времен. Она *приносила* нам то, без чего нас хотели бы оставить с первых дней жизни: примеры другого образа человека. Исторические решения партийного и филармонического руководства рассыпались перед лицом этой другой реальности — реальности Баха и Рильке, Рембрандта и Швейцера, реальности прямо стоящего человека с открытым лицом. Современности за пределами наших священных границ мы, естественно, не знали; будущее — обозримое будущее во всяком случае — казалось, так и останется в руках все того же руководства; единственная надежда была в том, что с прошлым *они* все-таки до конца не справились — и река времен пробивается к нам сквозь их плотины. «Мы, исполнители, со-

здаем скульптуру из тающего снега, — говорил он, — а вот слово...»

Он верил и в такую невероятность, как творческое братство, своего рода духовный союз, вроде придуманного Шуманом *Davidsbund'a*. Я не знала человека, который бы с такой радостью говорил «мы» и «наш». Однажды он играл у меня дома, и слушатели собрались замечательные. Владимир Иванович был вне себя от радости: вот, говорил он, сбывается его мысль о творческом союзе, о «нас»! Михаил Матвеевич Шварцман, сидевший рядом, заметил, что истинные союзы не здесь, а *там*. — И здесь, и здесь! — уверял Владимир Иванович. Он так хотел этого, что растрогал даже Михаила Матвеевича, который вообще-то к *здешнему* был строг: здесь — лица; лики — там. Но Владимир Иванович любил лица, любил подробности этих лиц, любил конверты, в которых ему посылали письма, любил все окружение любимых им людей, их одежду, их шторы, их родственников и всех, кто их любит. Для многих он один брал на себя труд восполнить всю невнимательность, которой окружает своих художников современность. Будь его воля — он обласкал бы их и за будущее, за благодарных потомков...

Владимир Иванович много говорил со мной о музыке, об исполнительстве, не обращая внимания на мою неподготовленность. Он надеялся когда-нибудь записать свою «систему» в немногих исчерпывающих словах, «и все будет понятно». Мне, конечно, не верилось, что самый лучший совет может кого-нибудь научить. «Вы думаете, — говорила я, — что вот эта последняя находка (например, перенос внимания на за тактовую долю; другой раз это могло быть что-нибудь еще) скажет другому то же, что Вам? безо всего, что Вы знали до нее, она повиснет в воздухе! Вы скажете: следует любить мелодию, которую „реализуешь“, и все проблемы фразировки отпадут. Но кто поймет это как практический совет? кто уже знает, что такое вообще „любить мелодию“ — и притом уже свободен это делать, не отвлекаясь на технические сложности. Вот, например, всю *Arg roetisa* я передала бы одним словом: следите за тем, чтобы все слова, которые вы выбираете, были вам желанны. И что же? Во-первых, попробуй объясни, что такое „желание слова“ — и что такое обработка этого

желания, чтобы в нем не осталось сентиментальности и других видов привязчивости. Так что, сказав о „желанных словах“, я не скажу ничего.» Но Владимир Иванович верил в существование некоторого ремесленного навыка, технического приема, может быть, нескольких, крайне простых — которые навсегда откроют область, где музицирование станет чистым счастьем. Он с сочувствием переписывал слова Рильке о поиске такого простейшего ремесленного навыка. Он был убежден, что такого рода прием передавал своим ученикам Бах. Чем элементарнее оказался бы такой навык, тем больше он внушал доверия Владимиру Ивановичу. Например, тренироваться, играя с томом средней толщины подмышкой. Кисть освободится — и звук станет полным. Совпадение совершенно механического средства с содержательным в высшей степени результатом вызывало у него восторг.

Исполнитель обязан владеть собой иначе, чем сочинитель. Время выступления назначено, и ждать прихода Музы не получится. Ты обязан быть вдохновенным в 7.30 вечера. Как? Владимир Иванович любил для этого образ гравюрной доски. Каждое исполнение — оттиск с готовой доски, на которой вырезан облик исполняемой вещи, как она решена в уме и в физическом аппарате интерпретатора. Так получается, что интерпретация не совершенно отлична от сочинения. Ведь и у сочинителя есть свои «доски» и «оттиски». Если верить Данте, свои «печати» и «оттиски» есть и у Творца.

Я боюсь все перевернуть, взявшись рассуждать о тех фортепьянных гравюрах, которые выполнил и заготовил впрок Владимир Иванович. Только его благородная доверчивость, его убежденность в том, что все существенное понятно всем, объясняют то, что он со мной обсуждал вещи, о которых не мне судить. (Он готов был выслушать суждение дворника. Но — не профессионала, между прочим.) Тем не менее, присутствие каких-то общих принципов в его игре было так явно, что мне порой казалось, что для его интонаций, его расположения вещей во времени не достает какой-то музыки целиком его. Что должны быть какие-то сочинения, которые были бы особенно дома в его руках, — и которые в уже написанных и исполняемых им только сквозят. На что могли бы быть похожи эти «идеальные» сочинения, с которых сняты, как гравюра с портрета, его исполнительские доски? Если — что мне,

естественно, легче — искать им подобия в лирике, то это, вероятно, было бы что-то похожее на позднего Пушкина, особенно на такое:

*Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал.*

В задумчивость, родственную задумчивости этих стихов, в дальний и знакомый, приветствующий сверху беззвучный шум Владимир Иванович погружал «Времена года» Чайковского: яркие жанровые картинки отступали, вперед выходило единство цикла — все обозревалось как бы «с холма лесистого», из глубины воспоминания, с высоты свидания через несколько лет. Это было непривычное впечатление от школьных «Времен» — впечатление умной музыки. А Шуман у него, наоборот, омывался той сердечностью, какую обычно связывают с русским началом в искусстве. И как гимническое шествие чувства звучал Лист. Он недаром любил поэзию как мало кто из музыкантов — и вообще слова, счастливые выражения, глубокие сравнения. Его интонации тянулись к прямому признанию, к той таинственной внятности, какой обладает человеческое слово. Скрябин, до его «Поэм», был для него образцом такой горячей, почти речевой интонации: еще чуть-чуть, и это станет словом, вот эта прелюдия: «Ну посмотри!»...

Есть художники, которые увлекают. Искусство Владимира Ивановича делало другое дело — не увлекало, а облекало, окружало наше внимание подвижной гурьбой лиц, жестов, обликов. Их было много. Больше всего я вижу такой его жест: он мягко приближает друг к другу двух людей, которых знакомит, предлагая им оценить радость этой их встречи. Он отличал для себя созвездие Кассиопеи. И в рисунке Кассиопеи есть этот жест — легкого широкого объятия, сближающего двух собеседников. Исполнитель и делает по существу этот жест, он подводит друг к другу сочинение и слушателя. «Друг к другу» я говорю не по инерции. Легко вообразить, что речь идет только об акции над слушателем, о вовлечении его в мир пьесы. Но ведь и мир пьесы облечен той же замкнутостью, что все и все на свете. Он тоже не очень-то сделает первый шаг навстречу. Если же вспомнить, что исполнитель не слишком отличается от автора, как мы заметили в разговоре о дос-

ках и оттисках, то можно заключить, что художник и вообще — третий при встрече двух, причина встречи и поручитель за ее успех. Он может разомкнуть два одиночества, если сам он не одинок.

Секунды не задумываясь, я найду образ Владимира Ивановича («музыкантский и жизненный, что одно») в большом кусте флоксов, в огромной сирени и в ее гроздьях, в кроне ивы — во всех купах, облаках, изобилиях, сложных единствах. Во всем, что само по себе как-то неодинокое, что несет внутри себя собственную среду, собственную семью, что само в себе — целый народ.

Из каждых гастролей, от Камчатки до Армении, он привозил донесения о том, что «шансы есть». Что страна неистощимо талантлива и всегда найдется, кому говорить и играть. Условия, в которых проходили эти гастроли («камерников», по официальному определению: исполнителей камерной музыки) достойны отдельного повествования... Про это он рассказывал с веселым изумлением. Как, например, в цеху в обеденный перерыв или в воинской части певице отвечали голоса с задних рядов — подпевали или пели что-то свое в ответ на Шуберта... Всерьез его огорчало другое: состояние профессионализма. Этот профессионализм, каким он стал к нашим дням, и был его врагом.

У художника, который (как мы с удовольствием повторяли за Рильке) может сказать хвалу *всему*, есть, тем не менее, враг. Пушкин называл его чернью, немецкие романтики — филистером, Набоков — пошлостью... Как его ни назови и как ни дистанцируйся от романтической позиции, это в самом деле страшный враг. Может быть, только «чистый гений», близкий к полной асоциальности творец не несет в себе самого этого наглого раба, циника и филистера, черни и пошлости. Дело не в том, чтобы Давидсбюндлеры, боевое братство, о котором мечтал Шуман и за ним Владимир Иванович, выступая против этого врага, совершали дикие и эпатажные поступки: дело в том, что они вообще совершают поступок. Тогда как их многоименный враг настаивает на невозможности поступка, на «живи как живется»: как привычно, удобно, беспроегрышно и даже немного выигрышно. Если речь идет о крупном выигрыше — это уже другой герой, это авантюрист, уже чем-то близкий художнику тип, хотя бы от против-

ного. Здесь вмешалось представление игры, ставки, риска, известной свободы — то есть поступка. «Непоступающие» люди бывают вполне добродушны и, может быть, даже добры — но ко всему, кроме непонятого им другого поведения. Они не хотят, чтобы такое вообще было. Почему? не знаю. Безо всякого личного зла, не сознавая, они хотят остаться без этого затрудняющего их жизнь другого — и как правило достигают успеха. В общем-то они достигают его простой демонстрацией себя, как в рассказе Набокова «Озеро, облако, замок». Но если они при этом художники-профессионалы, тут уже дело пахнет кровью. Не только кровью несчастных гофмановских капельмейстеров, но и амвросической кровью Муз. Почему им вообще приходит в голову играть Бетховена, сочинять стихи, отливать скульптуру? Иначе как особым маневром нечистой силы я этого не могу объяснить. Нужно сделать искусство доходным и престижным делом, а дальше уже пойдет. Так вот, Владимир Иванович ненавидел эти фальшивки и систему обучения воспроизводству этих фальшивок, более или менее «похожих» на настоящее, на «классику». «Учат не тому, хвалят не за то, бранят не за то, — говорил он. — В конце концов, все забудут, что такое музыка, а радость быть собой, быть на свободе будут искать в других местах.»

Что же не фальшивка? Где *это* есть. Это *это* дальше неразложимо. Назвать *это* искренностью, смелостью, верностью, способностью почитать и беречь, скоростью ума и сердца — еще не все. *Это* и есть *это*. *Этого* совсем не мало вокруг, как принято думать, наоборот: *это* в самом порядке вещей. Но распознать, отличить, преподать, разыграть его — вот здесь нужно подумать. Нужны приемы. Один из приемов, употреблявшихся Владимиром Ивановичем — поглядеть с другой точки зрения: освобождающей от опыта и слишком грубого соучастия, не то чтобы впервые, но из некоторого избытка свободы. Он пробовал вообразить себя, например, японцем в Москве. Но по-настоящему такой точкой, освобождающей зрение, стала для него собственная обреченность, о которой он узнал за несколько лет до смерти. Чем ближе дело подходило к концу, тем счастливее видел он все, всякую мелочь, всякую обязанность. «Скоро кончится Ваше мучение», — сказала я, глядя на гору картошки, которую он чистил к приходу гостей; оставалось немного. «Блаженство мое кончится, — возразил

он. — Я блаженствую.» Я посмотрела на него и увидела, что это правда.

4 сентября 1982—30 мая 1989

Владимир Иванович Хвостин (1937—1982) — пианист, концертмейстер, преподаватель фортепиано. В 70-е годы работал с Зарой Александровной Долухановой, Викторией Ивановой, сестрами Лисициан, Марком Осиповичем Рейзенем. Записал несколько пластинок с З. Долухановой и М. Рейзенем. В последние годы начал выступать с сольными фортепьянными концертами в Москве.

Еще несколько лет после смерти В. И. Хвостина его друзья, слушатели, ученики собирались на ежегодные вечера его памяти в музее Голованова. Потом этот круг рассыпался.

О. СЕДАКОВА

МАРУСЯ СМАГИНА

— Сейчас они обменяются, а переезжать пока не будут, передут, когда Маруся умрет.

Когда Маруся умрет — это просто срок, спокойно! это такой же срок, как: когда снег растает. Все мы, как известно, умрем, но это пока не срок, это за скобками или в уме, как при сложении в столбик: два пишу, один в уме. Для Маруси скобки раскрылись, все перемножается, все складывается, первая цифра «из ума» выводится на бумаге, под чертой, в первом столбце суммы. Метастазы в кости, позвоночник переломился пополам и колени подкосились. При ней говорят про метастазы, она таких слов не понимает. Ее повезли из московской квартиры в Ливны, к себе, по дороге *туда*.

Квартира таким образом *не пропадет* и, когда Маруся умрет, там поселятся ее орловские сестры или племянницы. И чем меньше до этого срока, когда Маруся умрет, тем лучше, говорят: меньше мучиться.

* * *

Есть известный путь спасения от жизни и от ее смерти. От ее известий, которые смешивают наши карты и выбивают почву из-под ног, которые бьют без промаха по нашему инстинкту выживания любой ценой. Путь этот состоит в том, чтобы воспользоваться происшедшим как сюжетом — для картины, пьесы, элегии. Многие мои знакомые верят в этот путь; я знаю человека, который, едва похоронив мать, написал об этом веночек сонетов. Вялый веночек. Быстрее Гертруды! — подумала я. Не то что не сносив башмаков, а возможно, и не успев их расшнуровать. Что же, есть такой путь. Мне не нравится только если его принимают не за спасение от жизни, а за спасение самой жизни: дескать, в этом-то виде, в обретенной форме они, наши умершие, станут даже больше того, чем были: были смертными, а станут бессмертными, ибо форма бессмертна.

*И это было как преображенье
Простого горя и простого счастья
В прелюдию и фугу для органа.*

У меня было в распоряжении все, что упомянуто в этих стихах Арсения Тарковского. Но минуту! кроме простого горя у меня было очень непростое омерзение, происходившее от слов о квартире. Неужели ближние наши и в самом деле так низменны и циничны, как в прозе Трифонова? и кто кому подражает? они посредственной и тяжелой прозе — или она им? и что с этим делать? Трифонова я могу в конце концов не читать, но ближнего, говорящего о квартире, не выключишь, как радио. И диктору этого радио вряд ли объяснишь, что случилось...

Но простое горе в конце концов важнее и обширнее. И прелюдия, и fuga, и даже орган (правда, электронный) были рядом. Я открыла хорошо темперированный клавир и попробовала уйти туда от Маруси: туда, в божественный океан формы, в дом без окон и дверей, занятый своим делом, как водопад, который не отвлечешь ни на что другое, в окончательно живое пространство великолепного самостоянья. Я придумала, конечно, что это не я бегу от известия о Марусе — но это ее хочу перенести из ее невразумительной беды в ясный покой звуковой работы.

Это была неправда. Клавдий — не Второй Король, и то, что от нас требуют отдать простому горю, нужно отдать целиком. Другое, совсем другое бывает зерном, из которого вырастает прелюдия и fuga для органа. Форма растет из формы, а бесформенная и горькая жизнь и ее совсем уж бесформенная смерть знакомят наше сердце с самим собой: с тем, что никогда не слыхало о форме и слушать не будет, что плачет и не утешится, «ибо их нет». Нужно было ехать в Ливны.

* * *

Самое очевидное в Марусе было то, что она похожа на копилку.

Бывают копилки деревянные и открывающиеся, у которых можно время от времени отвинчивать крышку и проверять, сколько там собралось. Но это, по-моему, унижение идеи копилки. Ее замысел трагичен. У настоящей копилки все видимое и исчислимое навсегда осталось позади — внутрь ведет только щель. Настоящая копилка должна быть хрупкой, что-

бы ее можно было разбить, как задумано, — а до этого только слух рисует положение дел внутри, в темноте, ни с чем, вероятно, не сравнимой.

И тот же слух, который рисовал старым докторам картину легких, изображает нам таинственную каморку с тихим сиянием: медные деньги испускают там круглые волны света, отражают и умножают друг друга, как все на свете сияет, если его опустить в щель и убрать от зрения.

Настоящая копилка — глиняная кошка со слепыми нарисованными глазами и острым глазом монгола-циклопа между ушей, жертвенное животное Маммоны.

Копилка не должна быть ни домиком, ни бессмысленным грибом — нет, это прекрасная кошка с человеческими глазами. Такие красивые глаза бывают у продавщиц на рынке. Ее должно быть очень жалко. С ней нужно долго жить и не по многу в нее бросать. Ее должно быть до невозможности жалко хлопнуть о пол.

О постыдный век, мелочный во всех мелочах! Ты даже Маммоне не можешь поклоняться, и она тебе не божество, а высчитываемый противник. Ты построишь себе свой искусственный мозг, ты сделаешь прозрачную копилку своим детям, ты испечешь свой хлеб в прозрачных печах, и ум, когда-то умевший любить тайну, заснет за проверками собственных предположений. Если из А следует В, а из В следует С, то из А со всей несомненностью следует...

Родная копилка, задуманная достойным зрителем Царя Эдипа и Гамлета! ты не следуешь ни из чего. Сумма в тебе не состоит из слагаемых: она равна запертой темноте, и терпению, и вслушиванию, и испытанию, и отказу, и соблазну, и слезам над крупными черепками вокруг медной лужи. Молочные реки, кисельные берега. Глиняные горы, медное озеро. Три царства: Медное, Серебряное и Золотое. Туда несет охотника пощаженный им орел. Несет и бросает, и над самой землей подхватывает, и так три раза. Три волшебных сундучка из русской сказки.

Неужели нам не за что будет жалеть друг друга, и астронавты с геронтологами откроют дверь в прозрачную вечность Федорова?

* * *

Но Маруся была из другого времени. Она не умела читать и боялась телевизора. Она не сразу решалась сесть на трамвай, когда мы гуляли с ней по другой еще Таганке, направляясь к саду Прямикова. На ее лице остановилось время: оно показывало орловскую степь при татарах.

Глаза у нее были узкие, черные и еще припухшие — глаза, не различавшие букв. Она не умела думать молча и поэтому всегда шевелила губами и пришептывала, как будто читала ей одной видную книгу — и на некоторых местах улыбалась, не разжимая губ. Улыбалась она не как другие, когда им что-то нужно выразить — нет, она улыбалась, когда ее спрашивали и она хотела что-нибудь *не* выразить.

— Маруся, у тебя много денег?

— Атонеж, — улыбается.

— А хватит на такую шубу, как у мамы?

— Атонеж! —

она улыбается, не раздвигая губы, а собирая их к середине, и эту середину передвигая чуть вправо, смущенная тем, чего сама не знает и этим же гордая, лукавая и честная как никто. Мне очень нравилось задавать ей вопросы про деньги. Мне казалось, что на этом месте она *превратится*. Не могу объяснить, что это значит, но я всегда ждала, что Маруся *превратится*. Хотя ничего более устойчивого, чем она, придумать нельзя.

*Денежки денежки
Все до копеечки
Касса закрыта
Ключ у меня! —*

этой непобедимой песне она меня научила, на потеху гостям. Ну-ка, Оля, про денежки! И про золотой зуб:

*Самолет летит
А все крылом крылом
А мне понравился
А с золотым зубом!*

А про болезнь, Оля, про болезнь!

*Пойду в сад, в самый зад
Где трава немая*

*Не болезнь меня сушит
А любовь проклятая!*

И, наконец, последняя, неотразимая — Васятка: ну уж пожалуйста, Васятку!

*Любила Васятку
Плясала втриядку
А теперь Васятку
Под левую пятку — их!*

Здесь нужно показать, как это делается, как нам все нипочем! и при этом не перепутать левую пятку с правой. Впрочем, если перепутать, будет еще смешнее.

Во всяком случае, при гостях она не будет меня трогать. Мне не нравились марусины руки. Они не разгибались до конца, и концы пальцев были твердые, как железо, — такой рукой не погладишь. Таким голосом ничего ласкового не скажешь. Он не гнется, как должен гнуться голос на ласковом слове. Но сидеть на ее коленях, на широких коленях, на цветном ситце-штапеле даже зимой и слушать, как она приговаривает:

*А ты моя пышная!
Ты моя пашанишная! —*

это приятно.

* * *

Когда я хочу подумать о себе, ведь если теперь я — не я, то была же когда-нибудь собой, и мне хочется застать себя на этом месте — я вижу не себя, а множество людей, на которых я гляжу, как тогда, снизу и издали: кто-то из них сидит один за столом, облокотясь и с той печалью, которой можно не бояться только если забудешь, что тебя видят; кто-то выходит из реки, разгоняя перед собой тину; кто-то с ужасным лицом кричит что-то обидное другому, забыв, что «здесь ребенок»; кто-то поднимает рюмку и непонятно шутит, а все смеются и поворачиваются к другому — по одному, по двое, большими группами, в темноте и при свете ночной лампы и утром на перроне, все они что-то заслоняют от меня, и мне кажется, будто они исполняют какое-то трудное задание, стоят

на посту, терпеливо и самоотверженно, и мне хочется поблагодарить их и просить, чтобы их отпустили, чтобы они отдохнули от вечного холода и мокрого ветра, сказать, что я уже не боюсь и буду ждать одна...

* * *

Маруся Смагина, моя няня, молится вечером, а я подглядываю.

Я знаю, как это делает бабушка. Она выпрямляется и даже будто встает на цыпочки, чтобы смотреть на что-то перед собой, выше лица. Ее руки со всей силой опущены вниз. Она как будто удерживается от того, чтобы их протянуть — зачем? Она выговаривает каждую букву непонятных мне слов и останавливается внутри каждого слова, прислушиваясь как будто к ответу и если не слышит, тревожится и поджидает, а услышав, кивает или крестится — это как будто одно и то же, знак согласия — и как будто слезы у нее бегут по щекам, но никаких слез точно нет, и как будто сильный ветер раскачивает перед ней какой-то свет, и потому так виден прекраснейший на свете очерк от лба к подбородку... Я прикусываю подушку и закрываю глаза, чтобы не плакать вслух, и снова гляжу на нее: она уже кончает, кланяется, как будто прикасается к следу только что ушедшего человека. Видно, ей жалко расставаться, но пора.

Она подходит и целует меня, и я уже плачу вслух и придумываю объяснение: плохой сон приснился.

* * *

Маруся молится лежа на раскладушке, и я понимаю, что она молится, а не «думает», как всегда, только потому, что она при этом быстро крестится. Говорит она при этом что-то несусветное: *йижыси нябysi* и видимо и не предполагает, что это что-то значит, но всхлипывает, всхлипывает, потом зевает и засыпает.

И я думаю, каким это образом старая некрасивая Маруся — девушка. У нее был муж, его убили на войне, и бабушка сказала, что кто жил после мужа двадцать лет один — снова девушка.

Кроме того, Маруся сирота. Сироты — это дети в старых книгах у дверей, в лохмотьях и со светлыми волосами. Они просят хлебушка. Про них мы с бабушкой учили стихи, про горемык-сирот и про малютку: «Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал». Но Маруся ничего не попросит, даже если будет умирать с голоду. Когда она болеет, то отказывается есть, ее не уговоришь: «Я сегодня валялась весь день и ничего не заработала!» Да и не дойдет дело до голода, она умеет беречь деньги, как говорит мама.

Таинственные марусины деньги шуршат за окном, в небе мне мерещится что-то вроде мясорубки, в которую Маруся пропускает печенье: медный кусок, как тесто, выходит из прорезей готовыми пятаками, они гнутся, тихо падают, это медный снег, это мне снится и означает во сне будущие слезы.

* * *

Я не поехала в Ливны и не видела, где положили Марусю и есть ли над ней

крест и тень ветвей.

Должно быть, есть. Я не знаю, какие деньги она собрала в конце концов и кому досталась ее квартира, что она думала и надумала, шевеля губами, как разговаривала она со своим мучением, ни название, ни причина, ни смысл которого были ей неизвестны. Но с тех пор, как я помню себя, помню я и Марусю, Марию Павловну Смагину: запертый сад, заключенный колодезь, запечатанный источник.

А. ВУСТИН

МУЗЫКА — ЭТО МУЗЫКА

...Мы не знаем, что такое музыка.

Г. Гейне

Моим первым учителем был Григорий Самуилович Фрид, исключительный педагог, духовное воздействие которого на учеников было очень велико. Это человек, вокруг которого создается аура, среда, к нему тогда тянулись именно молодые. Среди тех, кто был в сфере его влияния, назову Алика Рабиновича, Колю Корндорфа, Борю Тобиса, Гену Гладкова; даже этого перечисления вполне достаточно. Собирались, как правило, не в учебных стенах, а у него дома, играли в четыре руки (до сих пор помню, как Алик с Фридом играли бетховенские квартеты!). Тогда как бы впервые открывались новые произведения Шостаковича и Прокофьева. Таким открытием для меня была Шестая Шостаковича, которая до сих пор остается одной из моих любимых симфоний. Было очень много музыки и, конечно, разговоров обо всем: о живописи (Фрид, как известно, сам рисует, и у него есть множество интереснейших художественных альбомов), о жизни, о проблемах культуры.

Затем, попав в стены консерватории, в класс Владимира Георгиевича Фере, я ощутил принципиально другое: свобода как главенствующая идея определяла годы обучения. И эта последовательность была замечательной. Инструментоведение я проходил у Николая Петровича Ракова, покойного ныне, которого очень люблю, анализ — у Юрия Николаевича Холопова, по сей день остающегося значительной фигурой. А дальше мой педагог по специальности давал мне возможность делать все что угодно и не запрещал ничего, что очень ценно. Замечу, это было еще в 60-е годы, когда довели какие-то смешные представления о том, что запрещено, а что нет. И в том, что он предоставлял свободу, была определенная позиция. Как-то В. Г. Фере показывал свою Фортепианную сонату, написанную в духе авангарда 20-х годов. Не так уж он был однозначен, как может показаться на первый взгляд. Учился я в основном, слушая музыку в замечательной консерваторской фонотеке. В первое время почему-то слушал много Хин-

демита, композитора в высшей степени немодного в наши дни. А на меня действовали и «Художник Матис», и «Гармония мира». Еще очень любил онеггеровского «Царя Давида». Тогда же познакомился с Айвзом, музыка которого начинала понемногу открываться.

Послевоенный авангард как таковой я еще не знал, скорее знакомился с этими идеями через нашу московскую школу; сочинения Э. Денисова, А. Волконского были тогда подлинными событиями музыкальной жизни. Я помню исполнение Л. Давыдовой «Сюиты зеркал» Волконского; конечно, и «Солнце инков» Денисова — одно из ярчайших впечатлений того времени. Чуть позже, в 70-е годы — опыты молодой С. Губайдулиной, в частности «Quattro» для двух труб и двух тромбонов, произведение очень на меня подействовавшее, без которого, может быть, не было бы моего «Слова» для духовых и ударных (1975). Особенно помню один из вечеров авангардной музыки в ЦДРИ, где были Алеша Любимов, Марк Пекарский, просто обожаемый мною человек, и Константин Кримец — блестящий дирижер, совершенно не оцененный у нас. (Он родился дирижером, руки и вся его пластика — это органика дирижера. Есть много прекрасных музыкантов не дирижеров, которым есть что сказать, и они стоят за пультом, а он — дирижер от природы, как бывает пианист от природы.) Они исполняли Kreuzspiel Штокхайзена. Конечно, сейчас я помню все довольно-таки смутно, и все же то, что произошло на этом концерте, — незабываемо. Казалось бы, много авангардных сочинений, но именно тут возник особый эффект *событийности*. Музыка превратилась в акт, событие, переживая которое мы не просто сидим и слушаем то, что нам предлагают, но и сами в этом участвуем. Потом исполнение этого сочинения вылилось в непосредственное действие, хотя это не обязательно должно было выразиться так уж прямо. Но тогда исполнители, сцепившись руками, самым естественным образом стали двигаться по кругу, увлекая за собой публику. Я, как человек немного скованный, не принял участия, но важен сам факт: музыка, выходящая за рамки пассивного созерцания, слушания, музыка как ритуал (или это слишком высокопарное слово?), в общем — с о б ы т и е. Тогда меня это потрясло. И каждое наиболее сильное впечатление в те 70-е годы от лучших концертов, пожалуй, было связано с таким

ощущением. Это было и в «Рубайт» Губайдулиной (у нее музыка вообще чрезвычайно действенна, она просто берет вас и властно ведет), и с Первой симфонией Шнитке.

Кстати, так же действуют фольклор и вообще национальная музыка, скажем, индийские раги. Я понимаю, что музыка, по крайней мере лучшая ее часть, всегда ритуальна. Но фольклор — это нечто большее. Я был на Севере и слышал, как пела плакальщица: такое нельзя изобразить, это уже как необходимость, просто как судьба. Я плохо все это могу объяснить, но хочу сказать, что этого же ищу, когда сам пишу.

— *Поэтому Вы так любите ударные инструменты?*

Конечно, они ведь ритуальны по своей природе. Это настоящая магия, искусство барабанщиков, например. Я испытал что-то вроде звездного часа, когда слушал свою «Меморию» для ударных, клавишных и струнных (1978) — страшную, оглушительную. Мне повезло с исполнителями: М. Пекарский, В. Кожухарь, хотя, может быть, они чуть-чуть перегромчили. Было это в Доме композиторов 25 декабря 1978 года. После я слышал свою музыку и в более известных залах, но тогда я испытал как бы пик своей жизни, самые высокие переживания (в том, что касается моих сочинений, конечно).

— *А до этого у Вас не было сочинений, связанных с идеей действительности?*

«Слово» — с него-то собственно все и началось. Это мое первое «действенное» сочинение, и ведущая роль принадлежит в нем ударным. Их партия разворачивается как солирующая, причем не только ритмически, но и тематически. Еще одним открытием было то, что ударные с неопределенной высотой звука привлекают меня гораздо больше чем с определенной, хотя в дальнейшем я обращался ко всем видам ударных. Скажем, на пяти разновысотных том-томах (это те же барабаны в широком смысле слова) можно создавать целые мелодии — ритмотемы. И эта неопределенность звука, высоты почему-то меня очень вдохновляет. Вместе с тем я чувствую, что это четко выраженный тематизм. Можно создавать настоящую ритмомелодическую, звуковысотную линию развития, варьировать ее, обогащать. И когда я это отчетливо понял, то попытался сочинить мелодию.

— *Оба эти произведения, «Слово» и «Мемория», показались мне близкими по принципу соотношения инструментов. В первом случае ударным*

противопоставлены духовые, а во втором струнные. Мне показалось, что в «Мемории» на струнных лежит смысловая нагрузка человеческого — того, что принадлежит субъективной, психологической жизни. А ударные, наоборот, объективная, нечеловеческая сила, в конце забивающая струнные. Вы их поставили в неравные условия, в конце концов, струнные оказываются побежденными, они тонут в этом нетемперированном шквале.

Да, потом, в конце, они взвиваются, эти несчастные струнные. Кстати, их было всего 25 (!) на такую батарею, как 33 ударных инструмента. Струнные как бы чисто зрительно что-то изображают, присутствуют, создавая тем самым инструментальный театр. Исполнение «Мемории» у нас было для меня незабываемым переживанием. А в словацкой записи получилось наоборот: чисто микрофонным путем струнные в конце задавили ударных. Напрасно исполнители это сделали. Они хорошо играли, за что им спасибо, но ведь я был далеко, в Москве, и не мог объяснить им, как нужно. После этой записи я сделал комментарий в нотах: звук ударных должен преобладать. Тогда я понял (так учишься писать музыку!), как важно, чтоб тебя играли. Иначе варишься в собственном соку и постоянно совершаешь просто школьные, непростительные ошибки. Я обозначил один темп от начала до конца, как в «Болеро» Равеля. Но ведь «Болеро» никогда не играется в одном темпе: он должен сжиматься, если это живое исполнение, но незаметно. Слушаешь и думаешь, что все идет в одном темпе, а на самом деле он сжимается. Запись «Мемории» осуществили буквально по моей партитуре, что получилось очень странно. Я тут же понял, что в текст нужно вносить дополнительные обозначения, и поставил в начале один метромом, а в конце — другой. Нарисовал стрелочку от начала к концу, чтобы показать движение темпа: это не *accelerando*, а именно *сжатие*.

А что касается объективного и субъективного в интерпретации тембровых групп, то здесь можно услышать многое, и по-разному. Ведь музыка самое обобщенное из искусств, такова уж она по природе, как числа. Музыка это игра чисел, но не в каком-то вульгарном смысле, не «алгебра, поверяющая гармонию», а в смысле древнейшего ощущения числа как наиболее доступное человеку выражение какого-то всеобщего закона. Правда, я не философ и говорю исходя лишь из своего опыта. Силу числа я почувствовал на такой вещи как

«Мемория» чисто опытным путем. И понял, что уйти от этого невозможно. И что самое поразительное, в рамках этого числа еще возможна и какая-то свобода. Там есть определенная эволюционность, и вместе с тем я должен был соблюсти некий неукоснительный закон. В этом и была вся прелесть моей работы над этим сочинением.

— *Вы говорите сейчас о своем принципе 12-кратности? Объясните, что это такое?*

Это вроде бы очень просто. Мне хотелось перенести принцип Шёнберга со звуковысотности на время. Долгие годы 12-кратность шла у меня по линии ударных, но организуя структуру всего произведения. Причем именно структуру, а не форму, которая может быть сонатной. Вариационной или сонатно-вариационной, как в «Возвращенье домой» для голоса и ансамбля на стихи Д. Щедровицкого (1981). 12-кратность была принципом, проявляющимся и в малом, и в большом, все время укрупняющимся в прогрессии. У меня были такие произведения как «Посвящение Бетховену» для ударных и оркестра (1984), где я соединил совершенно разные сферы, но ударные своим напором вытесняли все. Вместе с тем я чувствовал, что с этим можно что-то сделать. Наконец, где-то на грани 89—90 годов в «Письме Зайцева» для голоса, струнных и большого барабана (1990) я решил опробовать этот принцип по линии не ударных, в данном случае струнных инструментов. И получилось что-то любопытное — на мой вкус, конечно. Я сейчас говорю не о качестве музыки, а об ощущении работы — приятно было работать. Я вдруг почувствовал, что материал заиграл, ткань ожила, появилась свежесть какая-то. Ободрившись этим, я написал произведение совершенно нового типа, «Белую музыку» для органа, вообще без ударных (1990).

«Музыка для десяти», для фортепиано, духовых, струнных и дирижера, где используется текст Ж.-Ф. Лагарна (1991), это редкий случай (что мне даже понравилось!), поскольку здесь тоже нет ударных. Основная нагрузка падает на рояль, который и осуществляет всю эту 12-кратность, нигде не отступая от своей функции. Остальные немного отклоняются в область какой-то изобразительности, но рояль выдерживает свое до конца. Буквально все, за редким исключением, что я написал с тех пор, с 90-х годов, находится в этом русле. Опять же, не

думаю, что это открытие принадлежит мне. Заглянув однажды в журнал «Советская музыка», я с восторгом обнаружил там статью Л. Переверзева об африканской музыке. Он писал о том, как совершенно незнакомые ни с пифагорейцами, ни с философией числа люди, играющие на барабанах, *бессознательно* воспроизводят 12-кратные структуры. Узнать это для меня было просто наслаждением. Вот что такое сила числа! Она в природе. А откуда 12 месяцев, 12 часов? Это значит, что наша кровь по этому принципу в нас играет, наверное, и сердце бьется соответственно, что в свою очередь идет в ритм планетам и всему круговороту жизни. Надо просто этому подчиниться, а не изобретать что-то все время. И мир Шёнберга — не изобретение, но открытие, абсолютно естественное. К его музыке я отношусь с величайшим благоговением. Мне кажется, это просто великий композитор, совершенно не оцененный у нас в силу множества причин, о которых и говорить не хочется. Его оплодотворяющее воздействие на музыку 20 века (даже на тех композиторов, которые и не подозревают об этом), подобное воздействию А. Эйнштейна на современную физику, совершенно очевидно.

Шёнберга я люблю разного, особенно зрелого, скажем, его Скрипичный концерт. Но, с другой стороны, и Шёнберга-предтечу, когда он *накануне* своих великих открытий: период 16-го опуса — Пяти оркестровых пьес, просто умопомрачительных. Я вообще люблю состояние *пред-*: ощущение перед чем-то, ожидание чего-то, что должно произойти, какого-то потрясения. Это есть вообще в музыке 10-х годов и в России, и в Германии. Подобное ощущение необыкновенно ценно, оно создаст великие произведения... Сейчас все эти определения: авангардисты, традиционалисты, явно устарели, ничего не объясняют и стали уже немного раздражать. Сейчас мы переживаем более серьезную фазу. Мне кажется, что уже можно оглянуться на весь исторический путь, который стал виден с какой-то новой высоты. Не потому что мы превзошли классиков, это не так. И дело не в знаниях, а во взгляде. Я вижу весь путь, воспринимая например самую древнюю музыку как абсолютно живую.

— *Все это созвучно мироощущению конца, когда уставшая культура не стремится больше вперед, но оглядывается назад. Так обычно происходит в конце века, и сейчас, и ста годами раньше.*

Да, это кризис, но не в отрицательном смысле, а как завязка чего-то совершенно неслыханно нового. Того, чему названия еще не дано. Я абсолютно отчетливо ощущаю какие-то необычайные перспективы, у которых пока еще нет имени. И музыка это предчувствует, она находится в *состоянии предчувствия*, как у раннего Шёнберга. В этом смысле мы живем в изумительное время для искусства.

— *Вы себя чувствуете в конце старого или в начале нового?*

То и другое взаимосвязано: конец это и есть начало. Как в какой-нибудь сонате Бетховена происходит сцепление: конец фразы накладывается на начало, а последний такт одновременно является первым. Вот мы как раз попали в такой такт.

* * *

Детство мое прошло под знаком Чайковского. И сейчас, когда уже минуло какое-то время, я слышу эту музыку в новом качестве. Обожаю позднего Чайковского: «Щелкунчика», Пятую симфонию. А Мусоргский был просто потрясением, настоящим открытием. Все, что связано с ним, я буквально коллекционирую: собираю его издания, вышедшие еще в 20-е годы, тома из полного собрания сочинений в ламповском издании, «Бориса», «Хованщину». На меня Мусоргский оказал колоссальное воздействие, да что там на меня! на весь 20 век. Он из той редчайшей породы художников, которые черпают исключительно из себя. И он прошел через всю мою жизнь, можно даже сказать, в чем-то его отношение к оправданной словом мелодии было для меня просто учебой. Мне кажется, то, что он сделал в последней опере, до сих пор не осмыслено в полной мере. Мы отдаем должное «Борису», и это справедливо. Но тот уровень, который задан в «Хованщине», этот путь к осмысленной/оправданной мелодии (выражение Мусоргского), эта тема... Я далек от реакции ортодокса в религиозных вопросах. Нет, я говорю о духовном плане решения темы, ведь «Хованщина» опера о раскольниках. А какая музыка в финале, непревзойденная по своей красоте! Последний хор раскольников, вообще *весь* этот акт — пик русской музыки. Мусоргский вообще стал частью меня. Уникальный художник, у которого все растет само из себя. Мне кажется, что вообще в русской музыке (не поймите меня вульгарно!) есть две

линии, две тенденции по отношению к звуку: «немецкая» и «французская». Мусоргский это «француз», исходное начало у него звук, тембр. В том, как он понимает звук, колорит, есть у него и что-то восточное. При том что, это можно считать парадоксом, геометрическое чувство у него тоже очень сильно развито («Картинки с выставки»). А Чайковский «немец», у него другая исходная, звук только повод.

— *Безукоризненно геометрически выверенным мне представилось Ваше «Посвящение Бетховену».*

Должен сказать, что «Посвящение Бетховену» было порождено зрительными впечатлениями гораздо больше чем какими-то другими. Вообще моя музыка, как ни странно (конечно, я не могу делать обобщения), проистекает из немзыкальных источников. Для меня это подтверждение того, что на самом деле все едино. У нас разные органы восприятия, слух, зрение, обоняние, осязание, но есть какой-то общий источник. Для меня он зрительный: иногда я вижу произведение. Самое потрясающее высказывание о том, как возникает произведение, я встретил у Хиндемита в «Мире композитора». Он писал о том, что композитор может увидеть свое сочинение, как мы видим озаренный вспышкой зарницы ночной пейзаж. Мы увидели все, хотя в деталях ничего описать не можем. Но если произведение оказалось охвачено таким внутренним взором, то можно начинать.

— *Мне показалось, что у Вас есть так называемая «простая музыка», к которой относятся детские шотландские песни, фортепианные пьесы для детей, но и «Блаженны нищие духом» тоже.*

В какой-то момент мне показалось, что та линия, по которой развивается современная музыка, это обман, вернее, не обман, а что-то более серьезное. Нам не дано знать, что на самом деле важно. И, может быть, эта «простая музыка» гораздо важнее «Мемории» или чего-то другого. Конечно, так прямо нельзя говорить, важно и то и другое. Но Вашу мысль я понимаю: писать блаженно, без усилия, человеческого напряжения. Так я писал «Блаженны нищие духом» — абсолютно свободно, очень легко, за три дня. Это не значит что они лучше или хуже «Слова». Просто я знаю, что многие годы тяжелого труда могут быть не связаны со значением получившейся музыки. Совершенно отрешившись от другой музыки (хотя параллельно шла работа и над другими сочинениями),

я писал их с радостью. Чувствую, что не могу передать это словами, но я очень люблю простую музыку и рад, что Вам понравились эти песни, такие шубертовские по состоянию.

— *А платоновские песни?*

Если помните, в «Чевенгуре» герои поют песни. Может быть, это даже народные тексты, не могу сказать точно, по крайней мере очень похожи. Платонов такой мастер, что никогда не определишь, что принадлежит ему, а что нет. Я взял два четверостишия и третье стихотворение побольше. Они тоже легкие.

— *Над Россией тяготеет традиция повышенной смысловой ответственности и в литературе, и в музыке...*

Мне кажется, дело не в этом. Я не знаю ни одной европейской культуры, которая не задавала бы себе вопросы жизни и смерти. В России действительно эта функция передалась литературе, но мне кажется, самое главное все-таки в другом. Я глубоко уверен, что у нашей культуры своя судьба, в каком-то мистическом смысле. Она в предощущении, ожидании. Возьмите Чайковского, Мусоргского, Скрябина, Рахманинова. Ожидание основное состояние нашей культуры. Наверное, это лейтмотив творчества и Толстого, и Достоевского, и Чехова.

— *Но все равно смысл современной музыки, той, которая сегодня пишется у нас и на Западе, более нацелен на конструкцию, схему...*

Не верьте! Это легенда! Недавно на хоровом концерте я слушал Лигети, «Eterna», можно только мечтать об этой небесной красоте! Какая конструкция, что Вы! Это всё наши призраки из 48-го года. А что «Моисей и Аарон», а «Свидетель из Варшавы» Шёнберга — это конструкция? Нет, просто у нас какой-то порожденный нашими условиями комплекс, предубеждение, что если человек задумывается над смыслом музыкальной материи, значит он не композитор, а компьютер. Это неверно.

— *И все же на Западе искусство это просто искусство. Оно не должно задаваться теми вопросами, которые...*

Искусство ничего не должно. Вообще никто никому ничего не должен. Это у нас люди, заведовавшие искусством и направлявшие его, считали возможным диктовать — кто, кому и что должен. Человек обязан сам решать эти вопросы на уровне своего дела, а не на уровне разговоров. Я понимаю, Вы хотите сказать, что у нас художник несет большую ответ-

ственность, в силу исторических причин. Мне трудно об этом говорить, потому что я сам вырос в этой стране и в этой обстановке. Я чувствую себя не только жертвой, но и ответственным за это. Да, можно объяснить, почему русское искусство терзается вопросами бытия, и они поставлены здесь острее, контрастнее и динамичнее чем в какой-нибудь более спокойной стране.

— Меня поразило в Ваших сочинениях присутствие тех самых вечных тем, которые так свойственны именно русскому искусству, быстротечности жизни, равенства рождения и смерти. В сочинении «Памяти Бориса Ключнера» это проговорено открытым текстом. Но та же тема и в «Героической колыбельной», где рождение оказывается обращенной смертью.

Когда Миша Ермолаев спросил меня о программе этого сочинения, то я ответил, что если она и есть, то весьма спонтанная. Предыстория его была почти хулиганством. В Министерстве культуры мне заказали сочинение. «Как оно будет называться?» спросили меня. «Героическая колыбельная», говорю. Ну, такое у меня было настроение. «Ну, а жанр?» «Секстет». «Какой состав?» «Большой барабан (смеюсь), валторна, рояль, три струнных...» Потом пришлось все это писать, как киномузыку. Писал на это название. Как всегда, очень трудно давалось начало. Но что удивительно, меня просто потрясло, что не все потом шло по плану. Мне открылась одна очень важная вещь: как прекрасно нарушать свои же собственные установки! Нарушение порождает форму, нарушение и есть собственно говоря форма.

— А что вы там нарушили?

Во-первых, свою пресловутую 12-кратность... Мне надоело о ней говорить. Я, конечно, очень ее люблю, она поддерживает меня уже много лет. Но могу же я о собственном чаде говорить... свободно! Хотя это не только мое чадо. Ее нельзя изобрести, хоралы Баха тоже 12-кратны, если хотите. Повторение квадрата, а затем — еще один неповторенный квадрат, это и есть 12-кратность. Но вернусь к «Героической колыбельной». Там нарушена 12-кратность и звукоряд, которые я нарушил и нечаянно, и нарочно. Например, в плане звуковисотности включение голосов в последнем разделе было нарушением звуковисотной системы. Просто вдруг зазвучала обертоновая музыка, то есть обертоны от звука *d*. Таким

образом, у произведения получилась совершенно ясная тоника. Это первое нарушение, оказавшееся таким прекрасным. И потом, в самом конце я совершил ошибку — нарушение 12-кратности — и оставил ее. Эта ошибка стала прообразом какой-то вариации, из-за которой произведение вроде могло бы быть и продолжением. Бывают, конечно, ошибки, которые нужно исправлять. Недавно я нашел такую в той же «Колыбельной» и немедленно исправил, совершенно не задумываясь и не сомневаясь. Но нарушение какой-то детали в 12-кратном законе оказалось ошибкой, касающейся формы. Тем самым я нашел какой-то новый закон, вектор, устремленный куда-то в неизвестность, потому что произведение на этом кончается.

Оказывается, форма это нарушение, и в этом диалектическое единство канона и его нарушения. Это и есть то, что дает жизнь, — действие, вмешательство в порядок вещей. Хотя такой путь очень опасен, так можно дофилософствоваться Бог знает до чего. Поскольку мы что-то делаем в этой жизни («рисую»), и вообще живем, то самим фактом своего существования мы уже вносим какой-то новый рисунок. И он становится новым законом. Фактом своей жизни мы уже что-то меняем во вселенной. И в этом смысле когда я писал «Колыбельную», то понял что-то новое о жизни... Нарочно ничего не делается, да и невозможно так сделать специально. Все происходит само собой, в процессе, поэтому творчество я считаю актом познания. А когда приступаешь к чему-то, то перед тобой возникает картина — та самая, которую описал Хиндемит. Вот видишь, произведение, и эта греза, это видение настолько прекрасны, что ты стремишься к ним, идешь шаг за шагом, медленно пробираешься...

— Вы несколько раз говорили вскользь (но не хотели подробнее останавливаться на этом), что Ваш мир остался немножко в прошлом, и сейчас вы находитесь на перепутье. Попробуйте все-таки объяснить.

Мне не хотелось бы, чтобы так буквально воспринималось все, что я сказал, потому что адекватно передать все это все равно невозможно. Ни от чего, что я сказал, я не отрекаюсь, все остается при мне. Но в последнее время ко мне приходит ощущение, что будет что-то новое. Это я еще только нащупываю — и через «Героическую колыбельную», и через «Белую музыку». Безусловно, происходит что-то в высшей степе-

ни непредсказуемое. Вероятно, это объективный процесс. Я чувствую это (не потому что перестал писать музыку, нет, пишу и сейчас). Могу только что-то предположить и передать это, уж конечно, не словами. Для меня вообще творчество это познание. Конечно, не только творчество, но и одно, другое, третье... Но больше я узнаю о жизни, когда пишу музыку.

Февраль 1993

Беседу вела Е. Пальдева

(Муз. Академия 3, 1996, 20—29, в сокращении)

О. СЕДАКОВА

ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ

Во Францию два гренадера из русского плена брели.
В пыли их походное платье и Франция тоже в пыли.

Не правда ли, странное дело? Вдруг жизнь оседает, как прах,
как снег на смоленских дорогах,
как песок в аравийских степях.

И видно далеко, далеко, и небо виднее всего.
— Чего же Ты, Господи, хочешь,
чего ждешь от раба Твоего?

Над всем, чего мы захотели, гуляет какая-то плеть.
Глаза бы мои не глядели. Да велено, видно, глядеть.

И ладно. Чего не бывает над смирной и грубой землей?
В какой высоте не играет кометы огонь роковой?

Вставай же, товарищ убогий! солдатам валяться не след.
Мы выпьем за верность до гроба:
за гробом неверности нет.

А. ШМАИНА-ВЕЛИКАНОВА

О НОВЫХ МУЧЕНИКАХ

ЧАСТЬ I. НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЧЕНИК

Миллионы убитых задешево

Протоптали тропу в пустоте.

Стихи о неизвестном солдате

Строки Мандельштама, поставленные эпитафией, не просто очерчивают тему моей работы; в каком-то смысле они ее исчерпывают, поскольку моя задача состоит в том, чтобы попытаться осмыслить может быть неразрешимую и на мой взгляд очень важную проблему церковного бытия нашего столетия: существование неизвестного мученика.

В нашем случае представляется совершенно излишним рассказывать о том, кто такой христианский мученик, или вспоминать историю мученичества от апостола Стефана до греческих новомучеников. Поэтому, мне кажется, не нуждается в подробных доказательствах утверждение, что мученики «классического типа», такие, как священномученик митрополит Вениамин Петроградский, то есть святые, известные своей праведной жизнью и правильной православной верой, добровольно исповедавшие эту веру перед гонителями, претерпевшие неправый суд и мученическую кончину в присутствии свидетелей, короче говоря, несомненные и верные свидетели Господа Иисуса Христа, составляют среди убитых безбожной властью в XX веке невинных людей незначительное меньшинство. Разумеется, в XX веке и этого меньшинства хватает на великий сонм мучеников. И Церковь в деле прославления новомучеников вполне может сосредоточиться исключительно на том, чтобы находить свидетельства о все новых священномучениках, об обстоятельствах их подвига, о чудесном открытии их мощей и исцелениях, совершающихся на этих мощах. Это необходимое, правильное и святое дело. Но проблема большинства так не решится. Откроем наугад для примера страницу Бутовского мартиролога. Даже если нам посчастливилось найти на ней кого-то известного нам и подходящего под классическое понятие мученика, что делать с остальными? Неужели их объединяет только алфавит? Мне кажется, что решить проблему большинства можно либо забыв обо

всех бесчисленных людях, именитых и безымянных, кто был замучен и брошен в безвестную могилу при неведомых и навсегда остающихся для нас тайной обстоятельствах, либо попытавшись ответить на вопросы: кто они, эти невинно убиенные? Каков их церковный статус и роль в истории XX века?

Прежде всего подчеркну, что я хотела бы исключить из дальнейшего рассмотрения сразу две группы людей. Об одной только что было сказано: мученики, подобные первохристианским. Другую, находящуюся на противоположном полюсе группу, обозначим как нераскаянных палачей. Я разумею под ними всех тех, о ком известно, что пока их самих не захватил маховик террора, они добровольно служили злу, и нет никаких сведений об их раскаянии в содеянном хотя бы в тюрьме или перед казнью. Я не знаю, что сказать об этих людях, и оставляю этот вопрос в стороне.

Все прочие были самыми разными людьми, но их объединяет то, что они не совершали тех преступлений, в которых их обвиняли. Если в редких случаях они все же были убиты за то, что сделали, то были не преступления, а добрые дела. Например, в советских концлагерях во время второй мировой войны полагался расстрел (в лучшем случае — 10 лет нового срока) за то, что человек пронес тайно в зону с работы, скажем, в сапоге, немного зерна или овощей и спас товарища от голодной смерти. Этот пример я привожу из собственного опыта (так получила новый срок тетка моего отца). Людей, действительно виновных пред этой властью, боровшихся с ней с оружием в руках, начиная с двадцатых годов практически не бывало.

Мне кажется, важно понять, как в данном случае работает механическое мышление тоталитаризма. Солженицын отчетливо показывает это на примере «пленников», то есть вернувшихся на родину русских военнопленных времен Второй мировой войны. Почти все они были осуждены за «измену Родине», и понятно, насколько абсурдным было это обвинение. Но их посадили не *потому что* они изменили Родине, а *чтобы* они не рассказывали в России о том, как живет свободный мир, *чтобы не* вернулись в колхозное рабство прошедшие войну обозленные мужики, *чтобы не* награждать и не платить пенсий и проч. Короче говоря, схема тоталитаризма такова: он избавляется от людей не по какой-нибудь причине, но чтобы

их не было. Конкретная подоплека может меняться, да и не так она важна для нас (к тому же ее не всегда можно установить. Например, понятно, что невозможно спрашивать «за что нацисты убивали евреев?» Миллион младенцев не убивают «за» что-то. Но хотя спрашивать «зачем нацисты убивали евреев?» нужно и на эту тему написано множество книг, ясного ответа у нас до сих пор нет.).

В этом заключается коренное отличие невинно убиенных XX века от раннехристианских мучеников. Если человек обвиняется в чем-то, что он сделал, он может, например, отречься или обещать, что больше не будет, то есть у него есть выбор. Но если его хотят убить, чтобы не было больше, скажем, монахов или неполноценных детей, или цыган, или крестьян, он ничего не может с этим сделать, у него нет выбора. Соответственно, эта тоталитарная механика изменила все поведение невинных страдальцев. Раннехристианские мученики добровольно исповедовали Христа, зачастую совершая при этом с точки зрения Римской власти государственное преступление: отказ принести жертву или отказ от службы в армии, и за эту вину или за само исповедание бывали казнены. Невинно убиенные XX века это люди, о которых кто-то решил, что их не должно быть. Миллионы лишних людей.

Кто они, эти лишние миллионы? По моему глубокому убеждению, они — жертвы. Два значения этого русского слова составляют цельное утверждение: жертва насилия (*victim*), это искупительная жертва (*sacrifice*) приносимая невинным страдальцем за весь мир. И как искупительная жертва, каждый из них, всякий невинный страдалец причастен жертве Христа. Все эти безымянные толпы — чистая жертва, святые мученики.

ЧАСТЬ 2. ОБЫКНОВЕННЫЙ МУЧЕНИК

К святым своим, убитым, как собаки
Зарытым так, чтоб больше не найти,
Безропотно, как звезды в зодиаке,
Пойдем и мы по общему пути.

Ольга Седакова

Почему же святые эти несчастные жертвы? Что может вдохновить в горах трупов? Какой пример подадут нам безмолвные стада обреченных, идущие, как овцы на убой?

Древнее мученичество было литургическим. «Я пшеница Божия, — писал Игнатий Богоносец, — пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я стал чистым хлебом Христовым». Новое мученичество тоже литургично. Древние латинские служебники не случайно называют чистой жертвой Исаака, первого и главного мученика в иудеохристианской традиции. Акета (связывание) Исаака — это бескровная и кровавая жертва, прообраз Евхаристии. И новые мученики XX века следуют за безмолвным и уподобленным агнцу Исааком, не имевшим ни выбора, ни особого исповедания веры. Они становятся пищей мира, жертвой, дающей ему *прощение*, и прощение позволяет миру существовать дальше.

В иудейской традиции, накопившей огромный опыт мученичества, не один раз встречается такой сюжет: мучение невинного страдальца (например, мудреца, казнимого за веру) настолько нестерпимо, злодеяния мучителей (например, римских властей) настолько ужасны, что чаша долготерпения Господа переполняется и Он решает все разрушить. Бог как бы ставит мученику условие или задает ему вопрос: «Продолжать ли?» Тот, кто страдает, тот и должен решать: хочет ли он, чтобы мир существовал вместе с мучителями или больше не может терпеть? — «Если рабби Ишмаэль крикнет в третий раз, говорит Всевышний в одном древнем предании, Я истреблю этот мир и верну его в воды, из коих он сотворен». Но рабби Ишмаэль не крикнул третий раз, он умер молча. Итак, именно невинному страдальцу Бог предлагает решить судьбу мира, и тот решает благословить его, а не проклясть. Это желание мученика быть жертвой, то есть благословением для мира, его, если позволено так сказать, Евхаристией, обеспечивает, по моему глубокому убеждению, дальнейшее существование мира. «Да будет смерть моя благословением ваших путей» — молился другой древний еврейский праведник. Мне кажется, мир XX века, мир полного насилия, абстрактного, абсолютного, химически чистого зла (примерно так описывает Пастернак коллективизацию и Пауль Целан — нацистский лагерь) не имеет права сам пожелать себе жить. Не только мы не смеем, как говорил еще Иван Карамазов, простить генерала, который затравил ребенка собаками, но мы сами не можем простить себя за то, что мы живы, простить дереву, что оно — после этого — растет, реке — что она течет.

Примерно об этом, по-видимому, говорит известное изречение о стихах после Освенцима. Вместо стихов здесь можно подставить все что угодно: после Освенцима нельзя есть кашу, нельзя молиться Богу, нельзя родить детей, нельзя ходить босиком по берегу — все будет верно. Но неужели вся неведомая нам, сложная, прекрасная жизнь тех, от кого не осталось ни имен, ни фотографий, вся их молчащая и не сопротивляющаяся смерть завещает нам только одно: коллективное самоубийство? Если мы задумаемся над тем, что хотели сказать те, кто ничего не сказал, что до сих пор говорят нам бесчисленные тени мертвецов, мне кажется, мы услышим их молитву о продолжении нашего бытия, молитву, которую Господь исполнил.

Говорить о богословии жертвы, мне кажется, можно в этой ситуации только одним способом: пытаться расслышать голоса самих жертв. Жертвы, о которых мы говорим, были безымянны и, следовательно, безмолвны, но за них говорит поэзия, по своей природе способная говорить о том, о чем иначе нельзя догадаться и нельзя рассказать. Она, как ни странно, говорит о том, что «язык уцелел», о том, что «беззвучная проказа сходит с неба и на язык ложится свет, свет». О лагере смерти она говорит как о месте, «где прах в свет превращается». Итак, «голос выжившего», как определяет голос Целана критик Жан Стробинский, передаст нам как завещание жертв все-таки жизнь, возможность жизни.

Более того, поведение жертв, если вникнуть в него при свете неясных слов выживших и погибших, приоткрывает нам, как мне кажется, «тайну домостроительства нашего спасения», то есть тайну благодати. Каким образом жертва содействует непогибели мира? Тем именно, что она жертва, что она не дает сдачи. Качание вечного маятника возмездия, соответствие наказания преступлению давным-давно привели бы к тепловой смерти, но благодать нарушает этот механизм. Она, по слову Симоны Вейль, неподвластна закону тяготения: «Кто взял меч, погибнет от меча, а кто не взял меч или выпустил его из рук, погибнет на кресте». История осуществилась в Том, Кто умер на кресте, и все причастные Его смерти причастны и Его способности даровать жизнь, искупление. Невинное страдание нарушает «тайное равновесие ночи», сказала Нелли Закс. Кровь Авеля вопиет к небу, и небо отвечает. Мне ка-

жется, что именно об этом говорит одно известное место из книги Экклезиаст (3:15): «Что было, и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет прошедшее». В подлиннике стоит слово «нирдаф», буквально: «гонимый», «преследуемый»; и можно понять смысл этого стиха (и в какой-то мере всей книги; в таком случае ее тональность гораздо ближе к тональности книги Иова) примерно так: что было, и теперь есть, и что будет, то уже было; *но гонимого призывает Бог*. То есть, все безнадежно в этом мире, но невинного страдальца Бог все-таки услышит. Невинная жертва освобождает новую благодать, чистую энергию любви, и этой энергией движется следующий шаг истории, жизни мира.

ЧАСТЬ 3. ПРОСЛАВЛЕНИЕ БЕЗЫМЯННОГО МУЧЕНИКА

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Б. П.

Но для нас, ныне здравствующих, богословие мученичества возможно прежде всего как прикладное. Оно должно помочь разрешить задачу: *как* жить в мире, подаренном нам жертвами? Если мы согласимся с тем, что все жертвы безбожной власти — святые мученики, забрезжит какой-то ответ: жить, прославляя их, жить благодарностью.

Тут же возникает новая, еще более прикладная богословская задача: *как* нам их прославить, то есть как не забыть? У этой задачи, по-видимому, два аспекта, догматический и литургический.

Догматическая новизна новых мучеников в сравнении с первохристианскими мучениками заключается, по-моему, в том, что новые мученики свидетельствуют другую истину или, точнее, другую сторону той же истины о Богочеловечестве Иисуса Христа. Древний мученик был свидетелем Воскресения, свидетелем *Божественной* природы Христа. Его мученичество было свободным исповеданием Иисуса Христа Господом ценой своей жизни. Новый мученик — свидетель Голгофы — свидетельствует *человеческую* природу Христа. Его мученичество — это просто гибель невинного человека.

Соответственно, к прославлению новых мучеников долж-

ны быть применены другие критерии. Для мучеников Голгофы так же не важна конфессиональная принадлежность, как не имеет значения расовая или классовая. Мученики XX века это те самые паскалевские свидетели, которые дали себя резать, но засвидетельствовали они самую первую и очевидную вещь на свете: святость *тварного* человека.

В создании догматических форм их почитания может помочь, во-первых, опыт почитания Вифлеемских младенцев, во-вторых, «богословское новшество Древней Руси», по слову Федотова — почитание страстотерпцев Бориса, Глеба и Игоря, и наконец духовный опыт иудаизма — почитание безымянных жертв; целых общин, отдавших жизнь за освящение Божьего Имени, и в XX веке — всех шести миллионов, начисто лишенных выбора, речи и могил. Таким образом, на мой взгляд, можно выразить богословское предположение о том, что святой XX века — это живой человек, которого власти не удалось расчеловечить, и она его насмерть замучила. Безбожная власть хочет развоплотить этот мир, а страдалец выражает предельную воплощенность — терзаемую плоть; поэтому святой и человек в данном понимании — одно.

Литургическую задачу прославления новых жертв пока что разрешает, по-моему, только светская поэзия второй половины XX века. Собственно церковной работе: сочинению служб, изменению в церковной практике и педагогике, указывает путь поэзия закатастрофического мира, поэзия похвалы и защиты жизни. Искусство, по слову Ольги Седаковой о Борисе Пастернаке, «говорящее не о Смерти, о Суде и Ином мире, но о творении, исцелении и жизни». Новое христианское искусство — это искусство прославления новых жертв. И я позволю себе еще раз повторить эти два имени: Борис Пастернак и Ольга Седакова.

Заканчивая это сообщение, мне хочется попытаться ответить на вопрос: какой образ, почти зрительный, какая икона мысленно возникает перед нами, когда мы задумываемся о почитании новых мучеников? Проще всего было бы ответить: младенец (дети раскулаченных, дети переселенных народов, дети в лагерях, в противотанковых рвах, в газовых печах). Но это страдание невообразимо и неизобразимо. Я решаюсь поэтому предложить другой, конкретный образ и пример: мать Мария Скобцова. Как говорила Марина Цветаева, «поэт это

просто утысячеренный человек», и мать Мария, мне кажется, может быть таким примером. Ее жизнь по каноническим меркам была «человеческой, слишком человеческой». Она не совершала подвигов постничества и безмолвия, не удалилась в пустыню, не умертвила свою душевность даже в такой мере, что продолжала после пострига писать и печатать стихи. Но ее душа (то есть конкретная способность сострадания и любви к людям, свойственная ей, в общем, как доброй матери семейства) расширилась, чудесно вмещая *каждого* человека, до размеров абсолютного самопожертвования. И не случайно, я думаю, мы не располагаем достоверными сведениями о ее конце. Заместила ли она добровольно другую жертву или просто погибла «с гурьбой и гуртом», она в любом случае явила миру, что в жертве, беспомощном человеке, замученном безбожной властью, живет Человек Иисус Христос.

В. БИБИХИН

СТАРЕЦ ТАВРИОН

Старец Таврион, духовник, подвизается в Спасо-Преображенском женском монастыре под Елгавой. Одна паломница по знаменательной ошибке назвала это место Оптиной пустынью. Хотя в России никогда не было пресемства старчества, его святая непрерывность все же существует. Поскольку монастырь маленький — здесь меньше 20 монахинь, — его называют пустынкой. Больше, конечно, по душевной любви к нему. Он в 20 минутах езды на автобусе от центра Елгавы. Надо ехать в сторону Калнциемса до остановки «Школа». Оттуда, возвращаясь метров 300 по шоссе назад, видим по левую руку грунтовую дорогу через ржаное поле в лес. Таким путем в пустынку идут паломники, которых в хорошее время и за пятьдесят в день, не считая нескольких иереев из разных мест, которые здесь нередко подолгу живут и служат.

6 августа 1976 года в пустынку пробирались, неся необходимые свертки в авоськах, две женщины из Тамбова, одна уже довольно пожилая худая с тонким и растерянным лицом, другая помоложе полная с благолепием в голосе. В Тамбове у них было раньше 22 храма, в конце концов остался только один, да и то сперва все совершенно были закрыты, лишь после многочисленных прошений разрешили отремонтировать бывшую военную церковь, в которой раньше солдаты принимали присягу. Из Тамбова женщины приехали в Троице-Сергиеву лавру, потом в Печоры. В Печорах они неделю работали. Монастырь там сдает свиней и получает взамен рыбу, очень вкусную. Молодой игумен — лет 35 — очень душевно поет. За время их пребывания в Печорах оттуда отправили на Афон пятерых, затем еще троих монахов для, так понимают женщины, усмирения бунта. Возмущение там начато Израилем. У женщин такое ощущение, что везде за границей стоит тревога, волнения и смута и только наша страна держится среди всего этого хаоса сиротливым островком покоя. Из Печор женщины поехали в Пюхтицкий женский Успенский монастырь в пос. Куремяэ в Эстонии. Но пробыли там не больше двух дней. Их не смогли покормить из-за приезда загранич-

ных священников. Эти священники договариваются с нашим патриархом об объединении православия с католиками и протестантами. Из литургии будут исключены Отче наш, Верую и Херувимская, усмирненно сообщили богомолки. Вера теперь у нас уже будет не христианская. На три года на престол воссядет диавол, говорили женщины приготовившись. Но ведь протестанты и католики тоже христиане? Нет, недаром они и крестятся всей лапой, как бесы.

Небольшой храм с открытыми дверьми среди чистого подворья рядом с кладбищем стоит в полной лесной тишине. Немногочисленные монахини кажутся одутловатыми, некоторые как бы в упорной и длительной ацедии. Одна молодая с пухлыми губами, с парализованной правой стороной, страшно размахивая широкими черными рукавами, выгоняла мать с взрослой дебильной дочерью, толкала их картинно, как в кино, и, что-то косноязыча, выдвигала их наружу из храма дверью. Потом крестилась левой рукой и была испуганно-неприступна. Дело в том, что дочь начала кричать и метаться и мать не умела ее приглушить. Обе вскоре вернулись спокойные. Обеспамятела и была выведена, но быстро тоже вернулась веснушчатая девушка, прозрачная как свечечка. После вечерней трапезы я хотел ей помочь, когда она среди других несла два ведра на кухню, но она кратко и мягко отказалась. Как-то она улыбнулась своей матери просто и жалостливо, и я подумал, что в ней воплотилась русская женственная душа. Далее, в церкви был мужчина в сапогах и халате кладовщика, старом и уже продранном. Низенькая нестарая женщина, для простоты ходившая всегда в брезентовом плаще, залитом маслом, так что уже никто не мог позариться, и с выражением себе на уме. Старушки называли ее соблазненной. Молодой москвич стоял в джинсовом костюме и пляжных тапочках — как позже выяснилось, это был известный Т. Пение было нестройное, из женщин кто-то от увлечения легонько подвывал на каждом слогe. Музыкальному уху отца Н., налаживавшего, но так и не наладившего хор, это было наверное мучительно.

Голос старца в службе как бы неровен. Вечерняя служба начинается в 5 часов. В конце ее архимандрит Таврион обратился к молящимся. Он говорит ясно и внятно. Ему скоро исполнится 79 лет, но в его как бы округлившемся благоле-

пии не чувствуется дряхлости. Он не часто вскидывает глаза. По густоте усов и бровей, а больше по акценту узнаешь украинца. Наверное, в свежей живости, мягкости и пластичной картинности речи тоже есть украинское.

Но старец не украинский и никакой. Он отрешенный. Слушая его, я не знал, где я, и правда ли все это, не сон ли. Розанов писал в «Из последних листьев», книге, параллельной «Апокалипсису нашего времени», что было ли принято христианство при Константине? По монетам с зороастрийскими символами царства этого например не видно. И в наше время Розанов стоит на богослужении — и вот, умственное и книжное, христианство, ему мерещится, только и прозябает что в тонкой пленке богослужения, а вне ее, в природе, истории никакого христианства нет. «Стою на службе в церкви Красного Креста. Стою, слушаю, слежу. И мне кажется, что ничего этого — *нет*... Я слушаю ее (литургию) и берусь за руки, пробуждая себя, думая: не сплю ли я?.. Кажется, „христианство приснилось“ и только приснилось человечеству». Розанов здесь в букве и духе совпадает с Толстым «Записок сумасшедшего», где он «стоял обедню, и хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просвиру; потом пошли к кресту, стали толкаться; потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть — что этого нет... Тут я роздал, что у меня было, тридцать шесть рублей, нищим и пошел домой пешком, разговаривая с народом». Толстому важно было расквитаться с несправедливыми, которые сами роскошествуют и угнетают крестьянина. Эти задачи были так настоятельны, а церковь так слишком косвенно относилась к ним. — Толстой скорбно стоял перед необъятными общественными и историческими задачами, и казалось, что кружевные плетения церковных слов не задеты этой скорбью. Но случилось так, что высвобождение из-под церковной опеки для полнокровного делания истории выбросило нас на историческую отмель, и мы сейчас фактически лишены истории, только стоим в ней как столб. Мы выметены в значительной части за пределы истории. В каком-то лагере начальству попались описания зверств в императорском Риме. Начальство было возмущено, но скоро успокоилось, узнав, что это из истории древнего мира. В Государственной публичной библиотеке ис-

торик изучает историю по исследованию о литературе, запрещенной при царизме. На обложке изображена чудовищная картина костра, сжигающего книги. Между тем подвалы этой библиотеки полны неразобранными остатками разгромленных библиотек. Впрочем, это слабые примеры. Верно пишет Иоанн Сан-Францисский: «*Вера христианская* словно „не очень видна“ в истории. Плетения сети истории слишком широки и главное уплывает от историков: они не замечают *пневматологического* процесса жизни. „Христианство“, которое они видят в истории, это лишь облегченная история сосуществования Церкви с миром. Кто видит изгнание бесов? Кто видит опьянение истиной? Кто видит сияние богопреданности?» Кто-то посмеется: какие бесы? Но я знаю человека, который тоже смеется, а сам ничтожным образом ходит под мелким бесом. Какие трутни ни толстели в Церкви, они хотя бы все-таки спасали нас немного от бесовщины, которая принесла нам в тысячу раз больше мерзостей чем прогнившая цезаропапистская Церковь.

Я говорю, нереальность, но только как бы посунувшегося и пошатнувшегося мира въяве ощущаешь, когда впервые слушаешь старца Тавриона. Альтюссер говорит о *субриге*, отсекающей историческую цепь вещей при переходе к свободе. Студенты Сорбонны требовали в 1968 году — от кого? чуть ли не от своего правительства — *de la présence*, т. е. живого присутствия бытия. Вообще мир очень много говорит, почти всегда только и говорит что об экстазах. Но это только вредит. Даже вспоминать эти мирские тени вечных вещей кажется здесь неуместным, потому что они имеют свойство как снежный ком обрастать причинно-следственными цепями и невольно начинаешь думать, как мы все привыкли, в терминах развития, просветления, самосовершенствования. Но дух не продукт усовершенствования.

То, что говорит о. Таврион, не продукт совершенствования. И старец не представляет «выразителя» чего бы то ни было. Он не смотрит, кто его слушатели. — Вы пришли сюда, любезные братья и сестры, и многие из вас пришли издалека. Это труд и подвиг. Но многие прийти не смогли, их нет с нами по независящим от них обстоятельствам, хотя они очень хотели бы быть в храме вместе с нами. Пропоем же за них молитву — (песенной скороговоркой) поём всю церковь!

*Отче наш, иже еси на небесех!
Да святится имя Твое, да придет царствие Твое,
Да будет воля Твоя яко на небесех, и на земли...*

— Теперь. Есть многие, который прийти уже не могут, наши близкие, принявшие кончину, наши воины, погибшие на поле битвы, и все, кого некому вспомнить. Они особенно нуждаются в молитве за них. Поэтому мы снова всю церковь пропоем:

*Со святыми упокой,
Христе, души раб твоих
Иде же несть болезни, печали и въздыхания...*

— Вот мы и совершили правило, кратчайшее, но необходимое для всех христиан. И всегда, если будет у вас хотя бы малая возможность, вы должны ежедневно совершать по крайней мере это кратчайшее правило: прочитав *Отче наш* и *Со святыми упокой*...

— Милые братья и сестры. Совершив усилие и придя сюда, вы ждете от нас христианской помощи... Мы эту помощь должны вам дать. И мы делаем то, что иереи обычно не делают, за неимением возможности... Каждый день у нас на литургии все причащаются. Мы приобщаемся к самой честной крови и плоти Христовым. Что же это такое — кровь и плоть Христовы? Мы должны это глубоко осознать. Каждый из нас тяготится грехом совершенных преступлений. Господь зовет: приидите, каждый из вас ценен настолько, что сам Сын Божий идет на смерть, искупая ваш грех. Если мы вспомним о себе — какой ужас открывается нам в глубине наших сердец, — то поймем, что ничто меньшее не смогло бы нас освободить. Мы боимся даже посмотреть на себя, такие мы жуткие. Рядом с этой жутью лишь добровольная жертва Господа спасает человека, в ней искупляется полнота человеческой души.

— Хорошо. Но если Бог отдал своего единородного Сына за нас, за наше спасение, то вот, значит, как он возлюбил человека! Ты возлюбленное дитя Божие, возлюбленная дочь Божья, вот что ты такое! Раньше было много тяжелого труда, придя с работы, занимались трудным домашним хозяйством. Теперь у всех много свободного времени. Все могут думать, читать, становиться просветленными. Посмотрите, что

это! Он отдаст за вас жизнь — а вы будете неблагодарно предавать Его? Неужели мы будем такими жестокими. Впрочем, что я говорю? Ведь, казалось бы, Христос был давно, и все до нас уже сделано за нас? Но нет, каждый должен заново принять в себя Господа...

Вот некоторые слова из этой первой услышанной нами речи старца, мягкую убедительность которой мы не можем передать. В ней были две мысли, как бы выпуклые. Надо увидеть, какую жуть мы собою представляем, которой соразмерен лишь Господь. И надо понять, что Христос беззавестно и бесстрашно выступает к нам навстречу, всецело поручась за нас и соглашаясь страдать за каждого, как верный друг. И оттого что мы знаем, да, наша природа жутка, и в миру мы заняты всевозможными средствами сокрытия и заглаживания этого, только здесь, в храме слыша открытое признание, а потом оттого что в мире нам жутко от нашей жути, нас несомненно подстерегают предательство или охлаждение и только здесь, в храме нам открыто делает шаг навстречу Кто-то никогда не изменяющий и давно измеривший всю нашу неожиданность — от этого мир начинает казаться нереальным, уходит в сон.

Христианство и всегда вне мира, но в речах многих своих представителей оно нечаянно выступает в виде некой безопорной пустоты, манящей и изматывающей, как бы только отрицательной. Христианство многих соблазняет своим отрицанием мира и явной справедливостью этого отрицания. В самом деле, оно впервые как бы взвешивает мир в своем воздушном пространстве, подмывает и подтачивает его самостояние. Тем оно дает бескрайнюю свободу в обращении с миром. Христианство дает и всегда давало своим слушателям совершеннолетнюю властную руку на мир. Из этого властного чувства все проекты социальных и революционных переворачиваний мира. При этом забывают, что христианство не *меньше*, а *больше*. Оно призвано не отнять от мира, а прибавить к нему. Не всегда за освобождающим порогом христианства вселяется равная миру и даже бесконечно более весомая плотность милости и благодатной любви. Если говорить о них словами, то получается та же отрицательность. Когда они есть в действии, мир не становится еще большей тяжестью как у тех, не перешедших порога, кто христианское освобождение

от мира бросает на самый мир, а облегчается, как бы выходит из тяжелого забытья к светлым разграничительным линиям сна и бодрствования. Всякое истинное христианское благовествование звучит на грани сна и бодрствования. Ты еще не знаешь, где сон и где явь — ты ведь свободен считать сном речи о любви Иисуса Христа, — но ты уже освобожден от кошмара, то есть тяжелого переплетения сна и яви. Ты уже вырвался на волю: в твоей воле, видеть явь или сон.

Оказывается, старец Таврион и художник. У него есть и мастерская. Поэтому в пустынку не приглашают иконописца. Заалтарный образ старцу принадлежит. Он изображает юного воздевающего руки Христа с темным лицом.

Говорят, что старец иногда очень суров. Он обвиняет паломников: ваше «христианство» подрывает последние корни веры. Если вы, цвет верующих, таковы, то что остальные в России? Монах, священник, семейный, не читающий божественного, не размышляющий — блудник и разбойник. Действительность современного священства жуткая потому, что сами священники слабы, шатки, не живут по-христиански. На исповеди старец якобы может резко одернуть или даже просто замахнуться на женщину, выставляющую все тот же грех: съела яичко в пост... Он может упрекнуть монахинь: «Эх вы, черные головешки». Или спросить об истеричной экономке матушке А.: «Где же эта зверюга?» Возможно, что он, окруженный всякими людьми, иногда крут. Когда в 7.40 восьмого августа он один шел к поздней воскресной литургии — народ молча собирается в маленьком храме пораньше, шутят, что у старца Тавриона часы всегда на 15 минут вперед — к нему подкатилась монахиня с ключами. Она приклонилась к нему для благословения, но он не остановился и кажется даже не перекрестил? У архимандрита сложные отношения с монастырем. Это очень традиционно. Вспоминается, как интриговали против прямолинейности Николая Кузанского реформированные им монастыри. К той же монахине в самой середине литургии обратилась паломница с просьбой об определении ее на работы при монастырском хозяйстве: батюшка-де благословил. Ответом было по-монастырски едкое «нет». «Не имете права так говорить! не вы здесь распоряжаетесь, а батюшка!» Мы потом еще скажем, что монастырь это бездонный колодец страстей. И старец обязательно должен быть крут.

Но как понять тогда лучащуюся милость в его задушевных обращениях?

Он вступает со своим словом перед главной частью литургии, в конце вечерней службы и в другие моменты службы. Кажется, что он держится как-то неловко. У него совершенно нет постоянной позы и постоянной интонации. Он был бы похож на о. Дмитрия Дудко, если бы не полное отсутствие той настойчивой устремленности в голосе, которая составляет стиль последнего. Старец будто бы просто не умеет повернуться. В «Разговоре о Данте» Осип Мандельштам уверяет, что «Дант не умеет себя вести, не знает, как ступить, что сказать, как поклониться... То, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью». У старца тоже движения неподготовленные, он и поворачивается и движется словно его окликнули. Возглашает, поет, приглашает петь словно схватившись: вот оно что! Затягивает резко, постариковски громко выкрикивает, не жалея сил и не заботясь о благолепии нисколько. Но — и тут черта, которая, возможно, была и у Данте, но не угадана Мандельштамом — в этой сырой непосредственности говорения и делания нет смущения. На ней, как на простом холсте, вырисовываются выразительные и ясные фигуры. Старец вскидывает глаза, улыбается, берет, отдает крест, книгу, чашу, приглашает народ к пению ладно, целеустремленно, нет, даже с неожиданным лаконичным изяществом. Наверное, старец давно оставил всякую земную гладкость и все делает или по усилию или по благодати.

— Вот мы поем: святой Боже, святой крепкий, — говорил старец утром 8 августа. — Вы знаете, что идет большая борьба за мир. И для этого люди крепко (с украинским оттенком и легким ударением «крэпко») вооружаются. Хотят этим укрепиться. Но крепость в мире только одна, Христос. И здесь в храме Он близок к нам... Мир нуждается в крепости. Чтобы он мог процветать, мы должны дать ему эту опору, Христа. Освящение миру должны дать мы, затем мы и беседуем здесь с вами. Все мы любим жизнь. Жизнь — это такое благо! Но ведь жизнь хороша, когда человек может ей радоваться. Вот вы здоровы, вам сопутствует успех, все дела у вас идут отлично, у вас есть талант, способности, счастье. Очень хорошо! Но

кто вам все это дал? Христос. Потому что всякое благо и всякое богатство от Него.

Старец хочет придать миру светлую ясность. Возможно, что он при этом и бросает вызов миру, видя перед собой серых паломников с напряженными и как бы испуганными лицами. Но если это и вызов — все равно: в великодушном *вы и мы*, в живом участии к людям с их мизерностью и спотыканием есть несомненная милость. Мне даже показалось, что старец, как Константин Леонтьев, хочет для мира цветения и красок, хотя, в отличие от Леонтьева, скорбит о его нищете (ведь Леонтьев был готов видеть часть человечества в нищете, лишь бы не было нивелирования). Как должно быть мучителен обшарпанный и, еще хуже, постоянно пригнетенный вид собравшихся, даже в воскресенье, даже после причастия. Сам старец был на этой воскресной службе в золотканой ризе, и его ровная бодрость не оставляет места для уныния.

В понедельник 9 августа владыка архиепископ Рижский и Латвийский Леонид приехал к вечерней службе. Насколько гремели голоса 3 диаконов и 5 священников, настолько прикишим даже более обычного было малое стадо, десятка четыре женщин, детей и несколько мужчин. Владыка раза три, грозно глядя, пытался поднять народ, но народный голос упал, стоило ему отворотиться. Старец стоял почти 4 часа без малейших признаков утомления, смиренно, и, как всегда, прежде всех громко схватывался, когда подходила минута возглашать или петь. Он один явно не участвовал как бы в разыгрывании театрального спектакля, но, как это ни странно, ничем не выделял себя из прочих. Каким светлым и улыбчивым взором он взглянул снизу вверх на владыку, когда тот для какой-то надобности приблизил его жестом. Читали акафист Богородице.

В конце службы, когда владыка и все иереи вышли из храма через алтарь, к народу снова вышел старец. Он говорил опять о причастии, зовущем всех к Христовой любви и жизненному преображению. Про него говорят, что он дает всем ежедневную исповедь и причастие из-за совершенной открытости и доверия: чтобы еще раз, на каждый день, дать человеку возможность тоже открыться Богу, преобразиться.

— Посмотрите на самих себя, ну какая жалкая у вас жизнь! Ничего-то хорошего в вас нет, только жуткие грехи и пре-

ступления тяготят на душе. Нет у вас ничего ни в настоящем, ни в прошлом, и в перспективе тоже ничего не предвидится. Одно мучение и тоска. А жизнь все уходит, и вот вы уже понимаете, что ваш век идет к закату, и последние силы уходят. Что же вам делать грешным? Что мы ни предпримем, что ни придумаем, всякое наше предприятие все равно обречено на неудачу. Человек всегда совершает в мире грехи, всевозможные глупости в своей нелепой жизни. И вот теперь вас зовет здесь Христос. Он зовет открыться для него, для его горячей любви. Ничего не нужно делать специального для его любви. Надо только хотя бы на краткое время оставить свои вечные намерения и планы. Дайте Ему самому делать. Он лучше вас знает, что вам нужно, Он видит всё. Вспомните о мытаре. Он пришел в храм... Ведь тоже был мытарь, жуткий неправедник, притеснитель. И ничего он не просил, только одно повторял: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Вот как! Значит: Ты, Господи, видишь, какой я; отдаю себя в Твои руки, делай что знаешь, будь только милостив, если сможешь, ко мне. И Господь оправдал этого мытаря. Или разбойники. Они по справедливым римским законам были распяты рядом со Христом. Разбойники: они распяты, их жутко пригвоздили, ни ручками, ни ножками они не могут пошевелить, ни малейшего движения уже не могут сделать. Очень хорошо! И вот один разбойник поносил и злословил Его, говоря Ему: если Ты действительно Христос, сын Бога, то сойди со креста, сойди, и нас спаси. И вот другой разбойник говорит первому: что же ты ругаешься над Ним? Мы с тобой за дело погибам, а этот невинно. Понял, значит, что совсем ни за что, безвинно страдает Христос. И сказал Иисусу: Ты помяни меня, когда будешь во Царствии Своем. Этот благоразумный разбойник не просит даже «Возьми нас с Собою», или «Спаси нас», потому что чувствует что он грешник. Не надеется на такое за свои грехи. Но он понимает, что рядом с ним сын Бога живого, и просит: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое». И Христос отвечает: «Истинно, истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раи». Он не говорит что помянет, а говорит, что если помянет, то это будет то же самое. Как мытарь и как благоразумный разбойник, оставим Господу действовать, предоставив себя Его силе, могущественной реальности Его.

Наутро во вторник 10 августа служба началась в 5 утра общей исповедью. Служил владыка Леонид, вельможено мягкий, настойчиво внимательный. После литургии, на которой пелось величание архимандриту Тавриону, владыка сказал, что сегодня его день рождения: исполнилось 79, пошел 80-й год. Мы все знаем, что делает архимандрит Таврион. Это две ежедневные службы, каждый день, кроме малых дней в году. Сил уже очень мало. Помощи — никакой. И архимандрит Таврион ждет лишь от Бога помощи, которая нужна ему и для себя, и для других. Пожелаем же ему многая лета... Многая лета, с радостью загремела церковь. Было подарено старцу Тавриону разное, много цветов, клали и деньги, кто сколько мог, некоторые и полтинничек. Говорят, что ему вообще много присылают, и он ведет свою мудрую икономию, справляясь и с местными властями.

В среду снова начались будни. Еще в 4.50 утра старец снова с бодростью, в которой не чувствуешь напряжения, вошел в храм, где уже собрались молящиеся — уже немного не те что накануне, каждый день люди уезжают и приезжают — и начал служение. Проповеди не было, он лишь поздравил причастившихся. Но после вечернего богослужения он говорил.

— Вы знаете, что есть Церковь торжествующая, это Богоматерь, апостолы, мученики и святые, ликующие на небесах. Есть Церковь воинствующая, это мы с вами на земле, ведущие борьбу за христианскую веру, за Христову истину. И есть Церковь жаждущая. Это кто умер, не получив прощения грехов, и теперь нуждается в наших молитвах чтобы спастись. Христос обещал прийти, но вот уже две тысячи лет он не приходит, все в будущем. Это потому, что еще не все наши молитвы принесли плоды; Церковь воинствующая еще не выполнила подвига за усопших, и много еще душ, жаждущих, чтобы вспомнили их и молились за них. В чаше действует небесная сила; ей причащаемся мы все здесь на земле; и мы причащаемся не только за себя, но и за усопших. Так что в чаше объединяются все эти три Церкви. Когда же совершился факт утверждения чаши, и тем самым утверждения Церкви? На тайной вечери, в последний час пребывания Христа со своими учениками. Как Меня Отец возлюбил, говорит ученикам Христос, так Я вас возлюбил; как меня Отец послал, так Я вас посылаю. Он послан с любовью пасти верных, и как пастырь

кладет основу Церкви. И Церкви, которая его продолжает, поручено от Бога любить и пасти верных. Каждый священник продолжатель Христов; священник это тот, кто до предела возлюбил свою паству. Как Меня послал отец, и Я отдаю за вас жизнь, так и вас Я посылаю, и вы должны отдать жизнь за Меня и за Отца, говорит Христос.

Теперь. Вы немощны и бессильны. Но вам Господь сказал: Я возлюбил вас. Он молился за Своих учеников — начало Церкви — чтобы они пребывали в Нем, как Он пребывает в Отце. И эту молитвою Иисуса и Его Церкви мы сильны, потому что пребываем в Боге.

Теперь. Мы знаем, что есть великие и славные люди. В них действовала великая сила, но не думайте о ней чего-либо необыкновенного. Эти люди любовью прославились. Подумайте, какой был Павел гонитель христиан. А стал первым из апостолов. Потому что возлюбил, и любовь дала силу.

Теперь. Петр по человеческой немощи трижды отрекся от Господа. Ведь такой же был человек, как мы все. И что же? Разве не стал он великим апостолом, основанием Церкви? Это сделала сила его любви. Господь и спрашивал его: Петр, любишь ли ты Меня больше чем другие апостолы? Да, отвечает Петр. И второй раз его спросил: Любишь ли Меня? Так, Господи! отвечает Петр. Ты знаешь, что я люблю Тебя. И в третий раз спрашивает его Господь: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня? Петру стало горько, что в третий раз спрашивает его Господь. «Ты», говорит, «Господи, все знаешь; ты знаешь, что я люблю Тебя». А ведь отрекался! Но он предоставил себя божественной вере: Ты, Господи, знаешь, что я люблю Тебя! И силою своей любви он знал: Господь меня возлюбил, хотя я по немощи моей и изменил ему.

Так все наши помыслы и чувства предупреждены силою возлюбившего нас Христа. Что бы мы ни делали, мы знаем, что нас Господь возлюбил, да еще так крепко, что жизнь свою за нас отдал. Эта любовь будет учить человека. Апостола Павла никто не учил, и он ни у кого не спрашивал совета. Любовь одна научила его, что и как нужно делать ¹.

¹ Гал 2, 6: И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.

А что мы сами от себя? Одна только немощь. «Я слепой почти, глаза плохие, желудок болит»... Апостол Павел сам был полуслепой, и мешочки со снадобьями, которые он прикладывал к глазам, исцеляли потом от слепоты других. Но — сила в немощи совершается. Вы вот от немощей бежите, скрываете их, не любите, а между тем ведь в этом сила Божия совершается. Человек слаб и немощен, но вот каков он: Сын Божий за него распинается.

Братья и сестры! Это основа нашей веры. Петр при немощи своей возлюбил Бога, и стал великим апостолом. Кающаяся жуткая грешница пришла к Иисусу и омыла его драгоценным миром. Возлюби любящую тебя! просила она. Я жуткая и страшная грешница: но вот мое сердце. Отдаю тебе мое сердце; вот и все! Все возмутились, что Христос позволяет ей это делать. Ведь она великая грешница! Иуда Искариот считал, что это драгоценное миро можно продать за триста динариев и раздать вырученные деньги нищим. Но Христос сказал иначе: истинно говорю вам, что где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет и о ней, что она сделала для Меня.

Эта грешница принесла Господу природу души своей. И если мы поймем природу своей души, как она, то будем просить у Господа уже не «прости наши грехи», а «возлюби». О прощении и оставлении грехов она не просит. Что трудности, неудачи, неудовлетворенность, совесть грызет — это она заслужила, это у нее покаяние и всегда останется с ней. Но она просит от Господа любви в ответ на свою любовь. Так и мы поймем: Господи, ведь ты это за меня страдаешь (мы не можем здесь передать простоту и задушевность, с какой говорит это старец); как же мне не любить тебя от всей души?

Так вот, братья и сестры, будем и мы в душе своей копать и поручать себя Богу.

А пока — усердной молитвеннице и предстательнице за нас Богородице пропоем всю церковь: Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятельнице сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна...

Позволим себе так истолковать слова старца о том, что трудности, неудачи, угрызения совести — это покаяние грешни-

цы. Как нищих мы всегда имеем с собою, так всегда останется при нас и никогда не прекратится человеческая мизерабельность, жалкая человеческая слабость. Прося о прощении, мы все же знаем, что от ошибок, немощи вполне не избавимся. Но зато наша мизерабельность не мешает нам любить и, стало быть, принимать любовь (потому что сколько бы мы ни любили, нас встречно любит любимый безмерно больше). Ведь Бог не обещал нам свое участие только тогда, когда мы становимся сильными, счастливыми и безгрешными.

12 августа снова еще до 5 часов утра старец, ровно и без напряжения бодрый, как всегда, провел исповедь и начал литургию.

— Благодарю вас за усердие, милые братья и сестры. Вот видите: раненький утренний час, а вместо того чтобы сладко спать в постельках, вы все уже здесь, на молитве. Но как же мы должны молиться? Лучше произнести не тысячу слов без смысла, а 5—6 слов с глубокой мыслью и переживанием.

Теперь. Здесь за нас сейчас в церкви реально, на самом деле Иисус идет на крест. В этом была Его любовь и служение — принять крестные муки за всех нас. Но очень мало кто понимал Его правильно. Многие думали, что Он идет в Иерусалим на царство. И даже просили Его — мать сыновей Зеведеевых просила Его о своих сыновьях, чтобы один сел от Него по правую, а другой по левую руку. Не знаете, чего просите! ответил ей Христос. Можете ли пить чашу Мою? А это чаша страдания и мученичества. Так и все в христианстве: кто хочет быть первым, пусть будет последним. Больше той любви никто не имеет, чем тот, кто положит душу свою за други своя. Это идеал для каждого из нас. Надо жить не только для себя, но и для людей. На войне на поле битвы пали многие юноши, не знавшие брачной радости, разнообразных удовольствий жизни. Но они погибли за друзей своих, за близких. По этой внутренней жертвенности павшие в юном возрасте, принесшие себя за отечество имели больше радости чем оставшиеся в живых и прожившие долгую жизнь. Они лишились внешней, но приобрели внутреннюю красоту, умерли за други своя.

Поэтому мы должны осмысленно относиться к факту смерти. Одни рождаются такими, что как бы предназначены к успехам, другие как бы неполноценны, лишены многого. Но Господь сердцеведец! Он даст каждому то, что ему нужно,

потому что знает сердце каждого, и Сам положил душу Свою за спасение мира. Конечно, христианам надо быть во всем впереди — в науке, в труде, в помощи людям. Есть такая вещь как гармония. Надо, чтобы мы своей жизнью, своими поступками складывали гармонию вокруг нас, мудро подходили к жизни, чтобы из всего, что нас окружает, получался один гармоничный аккорд. Для этого иногда нужно применить милосердие, иногда кротость и смирение, иногда действовать строго. Но во всем этом не знай, что ты лучше всех, а знай, что ты должен собою жертвовать.

Раненькое утречко, а мы собрались здесь в храме Христовом и слышим великие истины. Конечно, это великая радость, блаженные минуты. Радость от того, что слышим истину. А истина эта та, что есть единая истина Иисуса Христа.

Теперь. Христос созывает нас на брачный пир, приносится кровь и тело Господне о всех и за вся. Значит, и за нас самих. Тут огромная ответственность и опасность. Судится наша минувшая жизнь, решается наша будущая. Но надо довериться Господу, который сердцеведец, который — видите! — собрал нас всех сюда, позаботившись о нас Своим провидением. Какая великая радость! Так если будет у вас минутка, то придите в сознание самих себя, подумайте, что это значит: о всех и за вся. Господь всех нас объединяет и всех спасает Собою. Из такого сознания мы приходим к чаше.

И после причастия старец говорил.

— Мы подходили сейчас к святым иконам, к чаше, причащались... Все это символы, указывающие на божественную реальность. Их надо осмыслить. И если мы поймем, какая это радость, близость к Господу, тогда мы будем, принимая плоть и кровь Христову, подходя к чаше, чувствовать свою силу, здоровье, красоту своего тела. Человек не знает своего будущего, не может рассчитать и распланировать ничего заранее, он жалкий и несчастный, он постоянно в тревоге. Это неверующий. А верующие? И мы тоже слабы, и тоже не знаем своей будущей жизни, и спотыкаемся. Но — мы знаем: ядый Мою плоть и пияй Мою кровь пребудет со Мною навеки.

* * *

«Можно сгнить рядом со святым». Подвиг Тавриона в том, что его не понять. Он берет на себя тяготу как Святогор тягу зем-

ную. В 27 лет архимандрит: «за будущие страдания». Потом немислимо долго, десятилетие за десятилетием, в сибирских лагерях, какое-то время за уборкой трупов. Он давно не в этой жизни.

Среди монахинь и паломников отягощенность и пригнетенность, болезненное чувство греха. На общей трапезе скудость, посреди лета никакой зелени на стол. «Пусть корова пьет (молоко?): она не такая грешница как мы». Вид интеллигентных верующих. Показное сожаление, раскаяние, что опоздал к причастию. Окрики и одергивания. Малое чувство собственного достоинства. Крайняя приниженность, как бы смирение. Больная стоит на службе, с лихорадкой, томлением. Горбатый старик нищий, которого вводят к причастию двое, тащат, он упирается — «вот, значит, не понимает» — после причастия, посаженный опять на свою скамью, как бы в обиде отворачивается.

Обостренное бесовидение. «Я сразу увидела, что он униат». «Загрязнит ведро». «Перекрестить колодец, пищу». «Никого не подпущу к старцу Тавриону» (крестя плошку). Дикая ненависть ко всякому «ино». Монастырская едкость («Чем это поможет?»). Правый хор продолжал упрямо петь. «Католики».

«Для нее бог — райисполком». Старая монахиня требовала от паломников выключить единственную тусклую лампочку, «государству тяжело». Никогда никакое недреманное око не уследит за этим народом так, как он за собой уследит. Коммунизм далеко, Бог высоко, власть реальна и близка.

Но и самая крайность страстей составляет мир. Связь всего внутри единства, сплоченность, понимание взаимозависимости и осмысленной направленности всего. Верующий оказывается в таком мире. Космос, а не пустыня с вихрями и ветрами, какую представляет внецерковное пространство. Церковь едина. Мир вокруг нее единый. Как магнит, сила притягивает. Внемирная религия впервые создает мир.

Когда люди разошлись, вокруг храма тишина, мир и покой. А до старца и паломников не было. Дуб над полем. «Вы пользуетесь свободой воли...»

Август 1976

О. СЕДАКОВА

В ОЖИДАНИИ ОТВЕТА

Апостольское послание папы Иоанна Павла II непосредственно обращено к чадам Католической Церкви; его вдохновляет горячее желание преодолеть разнь христианских Церквей, которая представляется прямым противоречием воле Спасителя, выраженной в первосвятительской молитве на Тайной Вечере, и, тем самым, тяжким грехом и «соблазном (скандалом) для мира» (Раздел 17).

Тема послания — красота и богатство Восточной традиции, любовь к которой Римский Пастырь хочет разделить со своей паствой, убеждая ее в насущности знакомства с другим духовным путем. Читая послание, невозможно не чувствовать глубоко личного характера этой любви и этого восхищенного почтения к «Свету с Востока» — и огромного опыта изучения, который стоит за сжатым и стройным очерком Восточного христианства в его отличительных чертах. Наследие восточной духовности описано в послании не как реестр каких-то экзотических для современного западного человека качеств, а как центрированная органическая цельность; каждый из даров, составляющих эту сокровищницу, связан с другими, порождает их и порождается ими: евхаристический опыт и обожение, умная молитва, трезвение и апофатика... Обобщение этого образа можно, вероятно, увидеть в заключающем первую часть послания Разделе 16: «В этом смиренном приятии тварной ограниченности перед лицом бесконечной трансцендентности единого Бога, непрестанно открывающего Себя как Бога-Любовь, Отца Господа нашего Иисуса Христа в радости Духа Святого, я вижу выражение молитвенной установки и богословского метода, который Восток избрал и который он продолжает предлагать всем верующим во Христа».

Многое из того, что говорит о восточной духовности «*Orientalis Lumen*», составляет постоянную тему православных богословов и историков Церкви — и обычно излагается в полемическом контексте: как то, что разлучает нас с Римом и противопоставляет ему, делая всякий компромисс невозможным. Послание, развивая линию Второго Вселенского Ватиканского Собора, хочет видеть различия Церквей не как взаимоиск-

лючающие, но как взаимодополнительные (Раздел 5). «Здесь мы найдем ответы на многие *наши* вопросы, здесь есть то, в чем нуждаемся мы, западные христиане и люди современности вообще», — такой жест видится в изложении многих тем своеобразия Востока. Так, говоря о монашеской традиции духовного отцовства (Раздел 13, «Духовный отец»), послание отмечает: «Наш мир испытывает крайнюю нужду в отцах»; из сокровищницы Восточного опыта сиротствующая современность может узнать, «каким утешением и какой поддержкой может быть отцовство в Духе». В Разделе 16, посвященном исихастской традиции, сказано: «Мы все нуждаемся в этом молчании, исполненном возлюбленного присутствия... В нем нуждается современный человек». «Все, верующие и неверующие, имеют нужду обучиться этому молчанию, которое позволяет говорить Другому, когда и как это Ему угодно, а нам воспринимать это слово.» Во многих других положениях послания, где комментарий такого рода отсутствует, мы можем угадать, что сама оценка и само описание восточных сокровищ, как они даны в послании, предполагают взгляд на них ввиду мятущейся и опустошенной «современности»; они несут в себе ответ на ее вопрошания. Так, чудесное описание монастыря как «пророческого места, где творение становится хвалой Богу» (Раздел 9) как бы отвечает на отчаяние современности в смысле существования. Слова о послушании, смысл которого очищается от рабства и нерассуждающей покорности: «послушание, то есть слушание, которое изменяет жизнь» (Раздел 10) предлагают выход из того тупика, в который современного человека заводит радикальное требование индивидуальной независимости. Слова о преображении самого вещества в литургическом переживании: «В литургии вещи открывают собственную природу, природу дара, предложенного Творцом человечеству» (Раздел 11), отвечают современному отчуждению человека от космоса, акосмичности нашей цивилизации, самым явным проявлением которой стали экологические катастрофы.

Конечно, православного человека не может не обрадовать то, что именно в нашем наследии Римский Архипастырь ищет и обнаруживает ответы на самые болезненные вопрошания современности, что именно здесь сохранено то, что в других местах утрачено. Но в самом этом изложении есть урок: со-

поставление Восточного и Западного опыта не составляют самоцели послания, поскольку его окончательным адресатом, его самой глубокой заботой является весь мир: «современный человек, ожидающий радостной вести» (Раздел 4). И христианский Восток, и христианский Запад, призванные «перед лицом ожиданий и страданий мира дать согласный ответ, животворящий и просвещающий» (там же), предстают в мысли послания прежде всего как Церковь *служащая миру*. В присутствии этого «третьего», мира, отношения «двух» измеряются другой мерой.

Настоящим ответом на апостольское послание «*Oriente Lumen*», которое — по меньшей мере, в первой своей части — представляет собой вдохновенную похвалу духовным сокровищам Восточного христианства, могла бы быть такая же хвала Западной традиции: столь же открытая, почтительная и внимательная — и сложенная лицом, авторитетно представляющим Православную Церковь. И что же, такой ответ в нынешнее время представить себе почти невозможно! Больше того, если бы такой ответ явился, в любой форме, даже в форме молчаливого доверия к христианскому Западу в настроении православных, можно было бы сказать, что разделение по существу преодолено. Но каждый, кто хотя бы немного знаком с церковным обиходом в России, знает, как далеко до такого. Почти каждый знает это, часто не рационализируемое, отчуждение в себе самом.

Критика тех или иных сторон собственной традиции в православном богословии обыкновенно объясняет их природу как «западную», как следствие «вестернизации», «проникновения латинства» (о. Георгий Флоровский, Христос Яннарас и многие другие). Благодаря этому устойчивому мнению мы, и не зная по существу аутентичной западной традиции, можем, как само собой разумеющийся факт, перечислить эти негативные «западные» воздействия: подмена жизни в вере — «религиозностью»; Церкви — институцией; знания по соучастию — рациональным познанием; созерцания — медитацией; образа — понятием или аллегорией, «сердца» — разделенными чувством и мыслью и т. п., и т. п.

Справедливы или нет такие представления о «западном», но они и входят в наше нынешнее самочувствие, в написа-

ное благочестие обычного прихожанина, не особенно посвященного в исторические и догматические проблемы (к каким относится и автор этих заметок). А это неписанное благочестие, душевный обиход — вероятно, приблизительно то, что западные авторы называют spirituality, а в народном языке называется «верой», — не компонента местной культуры, одной из многих культур (вопрос культурного многоязычия христианства сам по себе не менее ясен Востоку, чем Западу: ср. высочайшую оценку труда Учителей Славян в Разделе 7 Послания, «Евангелие, церкви и культуры» и в энциклике «Slavorum Apostoli»). Это, быть может, самая сердцевина православной церковной традиции; во всяком случае, ближе и непосредственнее всего выражающая сердцевину, сердце этой традиции часть — и извлечь из ее плоти некую надъязыковую, надкультурную «суть» вряд ли возможно, вроде того, как извлечь вербализованный «смысл» из музыкального или поэтического сочинения. Она прочнее всего, и на нее вряд ли так уж прямо воздействовали бы даже схождения в формальных, вербальных выражениях вероучительных истин, поскольку за каждым словом в этих формулах стоял бы разный опыт.

Вероятно, само место этого неписаного благочестия в современной церковной жизни Востока совсем не то, что на Западе: во всяком случае, этим может быть объяснен тот факт, насколько по-разному видится *объем общего* с Востока и с Запада. Католические авторы часто высказывают мысль, близкую к утверждению послания (Раздел 3; со ссылкой на Постановление Второго Ватиканского Вселенского собора «Unitatis redintegratio», 14—18): «У нас общее почти все». Тогда как православные и в наши дни готовы повторить за Василием Розановым, который в 1901 году так обобщил свои римские впечатления: «Да, это не разделение церквей, как пишут учебники... это совсем разные религии — православие и католичество». Легко представить, что сближение с традицией, в которой постоянно отмечается нечто опасное, грозящее «духовным снижением» — и почти никогда по-настоящему привлекательное и возвышающее, не может вызывать горячего энтузиазма. Тех в российской истории, кто пережили «католический эрос», он обычно просто уводил за пределы Православия, и их голоса уже не доносились до соотечественников. Так что сердечная

похвала христианскому Западу изнутри Православия и в наши дни — слишком мало подготовленная вещь.

При этом символика Запада на Востоке не пуста и не негативна: одно из прекраснейших древних литургических песнопений, «Свете тихий» (φῶς ἱλαρόν) воспевает Воплощение как *вечерний свет*: «Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца и Сына и Святаго Духа Бога». Образ в Православии, как известно, несопоставимо выше, чем любая дефиниция; образ приоткрывает будущее. И быть может, этот изумительной красоты образ «тихого (буквально: ясного, веселого) света на западе», слова, живущие с детства в памяти каждого православного, когда-нибудь наполнятся конкретным осуществлением. И красота Запада, пока неизвестная нам, станет ясна и желанна.

Что бы мог значить этот образ западного света, «света вечернего»? Понятнейшее истолкование несоизмеримо со смыслом образа, как прямая с окружностью, но на что-то оно может указать. И если с образом «восточного света» («Востока свыше», по-славянски) больше всего связывается переживание надежды и радостной новизны, то утешение вечернего света больше всего, мне кажется, связано с освобождением от какого-то долгого бремени, с легкостью свободы. И в самом деле, если из наших долгот говорить благодарность Западу — не церковному Западу, которого мы по существу, повторяюсь, не знали, а Западу светскому, европейской культуре — то, несомненно, она начнется с этого слова: свобода.

Быть может, тема светской культуры покажется в таком контексте странной. Но можно вспомнить, что и Запад (а в девятнадцатом веке для России это означало: Европа) впервые узнал и полюбил православную традицию не в церковных выражениях, а в «русском романе», в Толстом и Достоевском. Европейские учителя России (и не только России: из бесед Вселенского Патриарха Афинагора мы знаем, какое значение в его духовной жизни имели «Отверженные» В. Гюго), могли чувствовать себя чрезвычайно далекими от всякой церковной традиции и от Рима — подобно тому, как и связь русских писателей с родной Церковью бывала небеспроблемна. Они могли даже бунтовать против нее, но то, что несли их сочинения, было впитано из этой многовековой христианской школы; они выражали ее красоту и ее творческие воз-

возможности — что, может быть, особенно ясно для взгляда со стороны. «Святая русская литература» (как назвал ее Томас Манн), благодаря которой Запад впервые ощутил вкус православной духовности, Толстой и Достоевский и Чехов и многие другие — и воплощенная в их письме особая человечность и одухотворенность, поглощенность «последними вещами», «чем люди живы» (то, что для европейцев уже традиционно связывается с русским началом в искусстве) — были бы невозможны без своих европейских учителей, Диккенса, Гюго, Руссо, Шиллера, Рафаэля... Тех, в чьих созданиях европейский дух обнаруживал себя как дух христианской цивилизации, христианского социального гуманизма с его ценностями, в общем-то почти экзотическими в российской действительности: с безусловной ценностью свободы и ничем не отменяемым уважением к человеку. Дух христианской Европы, как его узнавали писатели, художники, мыслители крепостной России, как его узнавали и мы в годы коммунистического рабства, был отрицанием унижения и насилия. И если за детским и юношеским чтением европейской классики мы вряд ли могли дать себе отчет в том, в каком отношении эти вещи находятся с истоком христианства и с его европейским развитием, мы несомненно узнавали лицо Г.-Х. Андерсена или лицо Ч. Диккенса как христианское лицо, и, тем самым, мы узнавали свободу как христианский дар, ту «тайную свободу», о которой говорил Блок в связи с Пушкиным: в поэтическом языке это означает «таинственную свободу». Ведь свобода не менее таинственна, чем другие дары, которые, как сокровища Востока, перечисляет энциклика.

Я позволила бы себе связать свободу с реальным переживанием настоящего момента. В начале Восьмого раздела энциклики, «Между памятью и ожиданием» говорится: «Мы зачастую чувствуем себя сегодня пленниками настоящего; человек как будто утратил сознание своего участия в истории, в том, что было до него и что будет после. В этом усилии отыскать собственное место между прошлым и будущим, с душой, благодарной за уже дарованные и за ожидаемые благоденствия, Церкви Востока открывают нам дар особенно острого чувствования преемственности, которое носит имена Предания и эсхатологического ожидания». Как мы знаем из опыта, с таким обостренным чувством великого прошлого и

грядущего может связываться невниманием к настоящему, к тому, что явно требует нового ответа или новой формы ответа. Мне кажется, что чувствовать настоящее как еще небывалое и уже решающее — то есть, помнить, что и прошлое было рядом таких настоящих, и будущее будет ничем другим как настоящим — помогает именно свобода как фундаментальное основание личного существования. Я имею в виду свободу человека от нечеловеческих структур: социальных, исторических, государственных, этнических и т. п., от того в них, что репрессивно по отношению к интимной глубине личности, от безвоздушного пространства фатальности, которое они несут с собой. И еще серьезнее — свободу от фатального выбора между двумя возможностями: властвовать или быть зависимым; выбора, который превращает нехристианское существование в безысходную борьбу за власть или против власти под самыми разными лозунгами. Свободу не властвовать и не покоряться, счастье которой — в возможности «даровать свободу» другим, так глубоко переданное Пушкиным.

Несомненно, мы могли бы найти ключи этой свободы и в собственной традиции, в древних патериках, в рассказах о старцах и подвижниках, которые достигали головокружительной высоты такой — освобождающей — свободы, в живом опыте встреч с духовными людьми Церкви, в проповедническом слове нашего современника Антония Митрополита Сурожского. Но, к сожалению, для рутинного церковного мнения и для многих православных публицистов наших дней свобода остается чужим и даже враждебным понятием, «западным», «интеллигентским», «нецерковным»: это некий антипод «соборности», в свою очередь понимаемой как агрессивный, антиличностный и антитворческий коллективизм. Кроме того, можно видеть, что христианские ценности свободы и человеческого достоинства на Западе из храмов и монастырей распространились в мир и стали общими основаниями гражданской цивилизации даже в ее нынешнем секуляризованном образе; в российском обществе они совсем не упрочены.

Вполне понятно, что в этой интуиции личной свободы есть риск, и что он осуществлен в той цивилизации, которая называет себя «пост-христианской» и хотела бы для полного ус-

покоения считать себя вообще «внехристианской», не имеющей никакого отношения к Кресту Христову, как говорил Папа в своем Слове после Крестного Пути, 1 апреля 1994 года. Не имеющей даже отношения противоборства. Это мир, в среде которого живет Западная Церковь и перед лицом которого с особой силой возникает необходимость единства верующих. До падения идеологического режима мы не имели никакого опыта общения с этим миром; в ситуации открытой и тотальной войны с христианством трудно было представить даже возможность такого религиозного равнодушия. И теперь, мне кажется, еще мало кто принимает эту ситуацию вполне всерьез; она еще как будто «не наша». Еще не утихла радость по поводу возвращения Церкви гражданских прав, поворота в российской истории, в котором видят победу бесчисленных исповедников Православия, новых мучеников. Вчерашние пропагандисты атеизма и коммунисты приходят в храмы; восстанавливаются приходы, монастыри, православные школы и академии.

Как недавнее гонение, так и нынешнее торжество победившей Церкви — особая и обособляющая Россию в мире ситуация. Человек, к которому в нынешнее время непосредственно обращена наша Церковь, обезбожен совсем иначе, чем западный, и его «воплъ о новой евангелизации» звучит иначе. Здесь часто довольно простого оглашения самых начал христианского учения, катехизации, в которой вполне действительными оказываются переиздания школьных пособий прошлого века; достаточно простейшего просвещения, от которого российский человек был насильственно отчужден в течение трех поколений. Достаточно для того, чтобы человек пришел в Церковь. Он не боится патернализма и учительства, не боится идеологизации и интегризма, как его западный современник: скорее он ищет их. Он не пресыщенный информацией скептик, и разговор с ним не требует интеллектуального и культурного напряжения: скорее он ждет упрощения сложных вещей. Он не чурается Церкви как властной и потенциально репрессивной структуры (а страх перед таким образом Церкви часто и питает антиклерикализм западного человека): пост-тоталитарный человек, привыкший передоверять свою личную ответственность идеологическим структурам, инстинктивно хочет натурализовать духовную власть, сде-

лать ее ответственной за все происходящее, политизировать. (Так что этот попутный воцерковлению общества ветер несет с собой известную опасность; востребованными в первую очередь оказываются совсем не те черты православного наследия, которым посвящено апостольское послание; глубокие подмены происходят при внешнем ревнительстве о древнем благочестии.) Наконец, переживший реальный социализм человек так приучен к лютой бесчеловечности советского общезнания, что самый простой знак доброжелательности и внимания тронет его сердце.

Но вряд ли уже следующее поколение России, выросшее без идеологического террора — и при воздействии самых вульгарных образцов потребительской западной поп-культуры, которые теперь хлынули к нам — будет таким, как нынешнее. Уже теперь наш культурный авангард с необыкновенной скоростью приблизился к западной модели — в той ее версии, из которой Церковь радикально исключена. Эта перспектива мало принимается во внимание — или же против нее предлагаются простейшие средства вроде информационного железного занавеса, новой цензуры.

Представить себе иной, чем то, что происходило здесь, род гонения Церкви: гонение равнодушием, уверенным в себе агностицизмом и потребительским комфортом может только тот, кто имел опыт непосредственного и близкого общения с Западом. А таких не много. И, вероятно, те из православных, кому пришлось пережить опыт западной современности, не могут не почувствовать, как холод пост-модернистской эпохи сближает христианские традиции, еще недавно представлявшиеся далекими, «яко отстоят востоцы от запад», по слову Псалма (102, 12). Как горизонтальное восточно-западное измерение оказывается перемеренным присутствием или отсутствием в человеческом существовании другого, вертикального вектора. Как мы в каком-то смысле *уже вместе* перед лицом «смерти в форме жизни» или «жизни со всеми преимуществами смерти», словами Достоевского: по одному тому, что Воскресение Господа нашего, Которым «жизнь жительствоует», составляет для нас более реальную реальность, чем все, что видит и описывает эмпирическое сознание.

И здесь мне остается только процитировать прекрасные слова апостольского послания «Orientale Lumen», говорящие

о Воскресении Христовом «как о вечном обетовании того, что *никто не может убить любовь*, ибо всякого, кто ей причастен, касается слава Божия: и такого человека, преображенного любовью, ученики созерцали на Фаворе, человека, каким все мы призваны быть» (Раздел 15).

В. БИБИХИН

ЕДИНСТВО ВЕРЫ

Об апостольских посланиях его святейшества папы Иоанна Павла II к епископату, клиру и верующим «Свет Востока» (*Orientalis lumen*, 20.6.1995) по случаю столетия апостольского послания «Достоинство Востока» (*Orientalium dignitas*) папы Льва XIII и «Да будут едины» (*Ut unum sint*, 25.5.1995).

Восток стоит высоко для всякого западного ума как ранний всеобщий исток, названный в том евангельском стихе, с напоминания которого начинается послание папы Иоанна Павла II «*Orientalis lumen*»: «...по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше» (Лк 1, 78). Захария в своей песни повторяет тут пророческие слова: «Правда Моя близка; спасение Мое восходит» как солнце с Востока (60, 1); «а для вас, благоговешные пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и възыграете, как тельцы упитанные» (Мал 4, 2); «вот, наступают дни» (Иер 23, 5).

Послание папы содержит призыв к епископам, клиру и всем верующим римско-католической Церкви иметь внимание к традициям, к опыту веры, мученичества за веру и свидетельства о вере, а также к современному положению восточных Церквей. Такой призыв правилен и нужен. Надо безусловно радоваться, что он звучит на Западе. К сожалению, подобного же широкого официального пожелания быть внимательными к богатству, далеко не только материальному, западных Церквей и непридирчиво уважать их искание, дисциплину, труд, мы в нашей Восточной Европе не слышим. Недостаток в Православной церкви искренней и широкой открытости к Западу усиливает опасность, которой (вопреки неосторожному замечанию патриарха Алексия II на декабрьском 1995 года Московском епархиальном собрании в том смысле, что его, патриарха, не может особенно тревожить возможный переход некоторых православных лиц духовного звания в католичество) должны остерегаться у нас не только церковные власти, — опасность оттока, разумеется не основной массы православия, но части его мысли на Запад. Владимир Соловьев, Вячеслав Ив. Иванов и только ли они склонились к католи-

честву именно потому что не видели у себя дома постоянно-го, ровного, позитивного внимания к разнообразию опыта и возможностей христианства.

Может ли проснуться настоящее внимание к другим без уважения сначала к родному как своей собственной судьбе? Надо ли опасаться что при каком-то слишком близком знакомстве с чужим начнется смешение и размывание своего? Такие опасения появляются только у тех, кому глубокие корни традиционности остаются пока еще неизвестны. Мы знаем из наблюдения и опыта, что при недоверии к другому обязательно будут проблемы со своим. В культуре России крайности славянофильства и западничества были только легковесным сопровождением центральной работы, которую вели Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин, Крылов, Гоголь, Глинка, Кипренский, полноценно приобщенные к европейскому добру и не вопреки, а потому умевшие поднять родное до вселенского.

Почва веры уводит к врожденному, с раннего младенчества живому в человеке благочестию. Всечеловеческая природная религия, если бы она слилась с исповедуемой верой общины, Церкви, дала бы самую прочную общность в Боге. Условий для такого вращивания Церкви в молодую жизнь, для укрепления природного благочестия во всеобщей вере теперь по разным причинам особенно мало. Надо думать, что внимание к врожденной религиозности человека придает движущий смысл экуменизму. Это слово указывает на общий дом, семейное интимное единство человечества. Совершенно ясно, как говорит Иоанн Павел II, что «путь единства не подлежит переоценке». Не потому ли, что уже и так «у нас почти все общее» (*Oriente lumen*, Вступление, 3). Какая цена единству, которое кажется легкой добычей? Единство, о котором только и стоило бы говорить, должно оказаться мощнее любого раздора. Оно существует в истине веры, вещи трудной.

«Согласованный ответ» (там же, 4) на вопрос о смысле, действительно равносильный «новой евангелизации», предлагается конечно как сверхцель, вызов, который опасно граничил бы с соблазнительным прекраснодушием, если бы не был подкреплен искренним, пусть и беспомощным порывом сердца. Иначе объединительная лексика слишком легко оказывается парением в тумане. Из-за разности языков и миров мы абсо-

лотно не готовы сейчас к такому «согласованному ответу». В поисках опоры под ногами мы снова и снова возвращаемся к своему, почвенному исповеданию. Только оно в чистоте своего замысла может претендовать на универсальность.

«Соединение во вселенском» (там же, I 7) безусловная цель, но где единящая инстанция, какова она? По-видимому, одна из Церквей, потому что любая новая международная организация окажется в сравнении с тысячелетней Церковью мало-мощной. Какая одна из Церквей? По возможностям, по праву инициативы, по запасу наработанного скорее всего римско-католическая. Этим напрашивающимся ответом развязаны новые споры. Католичество и вообще Запад скреплены своей персоналистской дисциплиной, уважением к закону и разделению властей. Разумеется, порядок известен и нам на Востоке, но он другой и больше похож на позднюю школу, которой учит опыт, а не наставники.

Как вырваться из круга благих пожеланий, которые уже по причине своей привлекательности не могут быть безвредными? Так, чтобы в любой инициативе думать только о том чтобы *дать*, уступить, сделать первый честный, пусть безнадежный шаг навстречу. Похоже, что у папы Иоанна Павла II готовность к такому шагу есть. Она остается чисто личной, будет подхвачена или не подхвачена как на Востоке, так и у него самого на Западе. Надо ценить это доброе движение и помочь ему в меру сил. Помочь можно таким же искренним и немечтательным порывом освобождения от тесноты распри.

И такое движение сердца, злобствующих оставляя в покое, со стороны нас, восточных христиан, всегда есть. Как может быть иначе. Всем христианам надо быть вместе в мире. Другие религии в их правде тоже должны быть приняты в союзники против отчаяния. Как еще может быть иначе. Почему же с нашей стороны нет широкого церковного объединительного движения. Вряд ли кто всерьез думает, что причина давнего христианского раскола косность власти, гражданской и церковно-административной, на Востоке как и на Западе, и суеверие прихожанина. Причина глубже и важнее, она стоит того чтобы ею заняться. Обстоятельства семидесятилетней советской истории или политические проблемы переходного периода, распада империи поверхностны по отношению к основной структуре западно-восточного размежевания.

Никогда, ничто по-честному не может быть для восточного христианина помехой евхаристическому общению с западным. Скорее он должен с негодованием отвергать как насилие попытки ему помешать, ощущая то, о чем напоминает еще раз и Иоанн Павел II (*Ut unum sint*, 86), фундаментальное единство вероучения и больше, уже существующее разнообразное общение. Церковная организация неизбежно оказывается несовершенной и успевает сделать много ошибок. Но ведь в мире же каждый со своей семьей, далеко не безупречной. Родителей и родственников не выбирают. Затяжной безысходный спор вокруг *filioque* вызван мнимой проблемой.

И все же никто не назовет его недоразумением. Сердце открыто единству, язык и руки скованы страхом подменить таинственное согласие, которое уже сейчас есть, как оно и всегда было, человеческим соглашением. Мы боимся неосторожным движением нарушить благодатный характер таинственно существующего и безусловно будущего единства. Невозможность принять немедленные меры, горький вкус немощи и ничтожества, мудро говорит Иоанн Павел II (там же, 92) тут скорее признак не упадка, а силы терпения, не ослабленной бесплодными расчетами и разрушительными проектами.

Никогда богатая полярность между нашими западным и восточным европейскими мирами, включая в Европу все что тянется к ней, не станет ненужной. До всякого раскола от незапамятной древности Запад и Восток различались, и права традиция, следуя которой Иоанн Павел II называет раннего святого Иринея, жившего в галльском Лионе, восточным Отцом. Это всегдашнее расслоение, расподобление европейского единства означает, что схизма тоже крик о правде, только косноязычный. Как избавиться от этого косноязычия, если замысел мира, его софийная логика едва ли человеческого ума дело. Пока мы ждем откровения о судьбоносном смысле нашей разности, раскол языком человеческого спора подстегивает нас не забывать о ее обязательной остроте. Раскол необходимое свидетельство разности, при том что сам он слеп и забыл о единстве, внутри которого эта разность только и имеет смысл.

Откуда пришло косноязычие? От онемения, от глухоты к слову Откровения, от неспособности человека терпеливо нес-

ти немощь богооставленности, от абсурдной распорядительности там, где разума не хватило? Причины зла могли быть разные, но путь возвращения только один, снова к полноте Откровения и предания и к ожиданию великой встречи, которую человек ощущает. Перед ее величием рано или поздно потускнеют и рассыплются многие или все человеческие постройки, даже те, которые сегодня могут казаться прочными, вечными или необходимыми. Наверное, только один свет еще дает теперешнему человеку не ошибиться в ориентировке, и его имеют в виду слова энциклики: предание не ностальгия о вещах и образах прошлого, не сожаление об утраченных привилегиях, но живая память Невесты, хранимая вечно юной Любовью. В любви и только в ней все уже дано. Означает ли это, что все попытки соглашения помимо любви надо оставить как бесполезные или вредные? Есть большое искушение ответить нет, тогда как единственно правильный ответ здесь может быть только да.

Другое искушение предлагает очевидный и уже упомянутый факт незначительности вероучительных расхождений. Какими бы малыми ни казались культурные различия между соседними народами, не повезет тому, кто захочет вывести отсюда возможность легкого соглашения между ними. Близость тут оказывается наоборот чуть ли не препятствием. А ведь она и подарок, незаменимый. В самом деле, не с японскими историками христианства, как они ни хороши, мы будем в первую очередь обсуждать например Фаворский свет, если не решим полагаться только на собственный ум. Мы прислушаемся здесь скорее к непривычной для нас, восточных, но тем более важной и по существу бесспорной мысли папского послания: *телесная полнота человеческого существа* была явлена на Фаворе во всей ее славе такую, какой она призвана стать по воле Отца; апостолы видели преображенного любовью Человека, каким мы все остаемся в нашей истине.

Человеку свойственно отступаться. Русское православие сейчас стоит перед опасностью нового раскола. За любую помощь в таком положении нужно благодарить. Протянутая рука помощи — заявленная римским первосвященником новая открытость большой западной Церкви, ее готовность к полноте литургического общения без требования унии, без жертвы буквой никео-цареградского символа веры. И если наша церков-

ная администрация поскользнулась в безнадежную сторону, навредив было даже тысячелетнему единству с Константинопольской патриархией, словно для сохранения храмов и общин только и есть один способ жесткой регламентации, то тем более опыт многонационального Рима становится как никогда важен. Как ему удалось сохранить единство Церкви наперекор разности интересов государств? Неужели для нас кроме крайних ошибок уравнительного интернационала с одной стороны и замыкания веры в государственной границе с другой нет срединных путей? Конечно, насущные нужды подстегивают и не дают учиться и искать. Но доводы от обычая и реальной политики не могут иметь никакой силы против правды Евангелия. Возвращение к ней из любого нагромождения ошибок неизбежно.

Естественность и необходимость единства конечно не облегчают его задачу. Помеха сближению неуловима так же, как и зло. Разорванная ткань единства должна снова стать целой, ее мало просто сшить (*Oriente lumen*, 18). Остановиться на желанном евхаристическом общении, однажды догадавшись об истинном смысле единства, оказалось бы уже невозможно. В единой религии человечества у Данте, в мире веры Николая Кузанского путь единения прочерчен с единственной возможной ясностью вплоть до безусловного единства в Боге. Но оба в своем пророчестве противопоставляли единство унификации, допускали в нем пестроту, почти немислимую в наш серый век. Многоголосие было у них не противоположностью, а залогом согласия.

То, что решающие голоса мира по-разному звучат сегодня уже не в Церкви и не из нее, заставляет понять, что теперь она должна ставить задачу единства не столько и не в первую очередь перед собой, сколько перед исторически решающей силой открыто ищущей мысли, научной, технической, художественной, философской, вовсе не всегда конфессиональной, но всегда полностью и единственно зависящей от близости к Богу. В мире, где церковное христианство давно упустило свою былую культурную инициативу, частное воссоединение Церквей и не имело бы большого смысла.

Не означает ли это что Церковь должна реформироваться радикальнее чем когда-либо в своей истории? Главным событием новой реформы станет то, что во всем мирском иска-

нии последнего полутысячелетия приоткроется непрерывная пробивающаяся сквозь шум и ярость встреча с Богом, длящегося Откровение. Церковь заложница мира, но не врага, а своего неузнанного двойника. Внутрицерковный раскол только зеркало вселенского.

Такое расширение задачи единения, когда ни воссоединение только лишь Церквей, ни вообще церковное устройство не оказываются ни первоочередной, ни главной задачей, поставит на незавидное и несущественное место тех церковных политиков, которые по бедности воображения не видят себе дела важнее чем стоять на защите тающих островков влияния и владения. Путь разоружения, расставания с мирской властью, указанный Церкви высоким средневековьем, она должна поспешить пройти до конца.

Эти две цели, признания продолжающейся работы Духа во всем человеческом искании и возвращение к раннехристианской опоре только на благодать, конечно труднее чем выработка «формулы», какой бы «целостной» она ни была (там же, 38). И нам до них еще так далеко, что какая-то другая, практическая ориентация может показаться первоочередной необходимостью. Но вера, похоже, требует всегда только одного ориентира, не видимого вооруженным зрением.

Рядом с этой трудной высотой неуместны геополитические расчеты вокруг возможных сдвигов государственных образований с их территориями, к которым исторически привязано православие. Не опираются ли сами эти образования на что-то более прочное, на чем стоят и особенности православия? Раскол мира проходит через каждого на Востоке и Западе. Остаточное единство, еще сохраняющееся сегодня, уже непоправимо слабо для громадности новых задач. Разве его восстановление или вообще что-то из человеческих проектов еще способно склеить позвонки века? Нам не дано много знать. Настает то, что не приходило нам на ум, и эта правда не просто позволяет, а велит ставить предельные цели. В наших временных постройках нам никто не поможет, вечные ведет Бог. «Реальное» состояние мира, каким бы затверделым оно ни казалось, не всегда разумно уважать даже «реальным политикам».

Ветхое человечество еще думает в терминах групп, силового давления, мобилизаций, авторитетов. Новое давно уже

тайно правит миром, умея повертывать и зло в добро (там же, 85). Это человек может конечно только с помощью Бога. Но человек и без помощи Бога может отказаться от ненужной уже власти, даже высшей, оставив себе только возможность служить, не всем, разумеется, но тем кто служит Богу. Об этой своей готовности говорит Иоанн Павел II (там же, 88). Конечно, смягчение жесткости споров вовсе еще не обещает автоматического соскальзывания в единство, скорее здесь надо опасаться теплохладного безразличия. Но, с другой стороны, возобновление старых споров еще бесполезнее (там же, 96). Решительный жест их прекращения делает Иоанн Павел II, когда в сослужении с восточными христианами читает древний Символ веры без *filioque*. По-настоящему заразительным и единящим теперь может быть только оставление властных позиций ради ранней христианской нищеты. Этот шаг конечно противоположен старым навыкам как нашей Церкви на Востоке Европы, именно сейчас проходящей искушение властью и активизмом после десятилетий онемения, так и привычкам многих на Западе, да и везде. Мы будем как сумеем напоминать у нас со всем возможным упрямством, что подозрительность и проба сил, даже если они кажутся оправданным и необходимым противодействием аналогичной же практике, неуместны.

Примеры того, как трудно новое, стоят у нас перед глазами. Как больно, когда твой храм оказывается нужен, на Украине, в Прибалтике, прихожанам другой конфессии и тебя вытесняют из него с близкими тебе людьми. От тебя естественно ждут что ты снова уступишь напору, как ты однажды ведь уже и уступил, отдав в свое время этот же храм, лишь недавно тебе возвращенный, напору большевиков. Только теперь твоя уступка будет означать уже не временное прекращение, а конец всего твоего служения, а в нем твое призвание. Неужели уйти с новыми прихожанами, меняя с ними веру? Не умножишь ли ты этим раскол, и худший, в умах?

В этой тесноте нет ни скорых, ни легких решений. Православному священнику будет однако во всяком случае радостно слышать, что из средоточия казалось бы противостоящего латинского мира идет искреннее согласие на терпение, безвластие, бессилие, страдание вместе с молением о прощении за причиненную боль.

Уходом из тупика в нераспорядительное молитвенное внимание ко всему в мире ничего эффектного сразу еще не достигнуто, но приобретено нечто намного более ценное чем даже здание храма с принадлежащим ему имуществом и более сильное чем еще одна группа решительно настроенных религиозных зилотов.

РОДОССКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ¹

Мы исходим из убеждения, что единство Европы, включающей Россию, становится не только необходимо, но и возможно в начале III тысячелетия. Мы ждем скорого конца тягостному расколу, который отчетливо разделил тысячу лет назад христианство и в разных формах также культуру и политику Востока и Запада Европы.

Одновременно мы решительно отбрасываем как вредные и несбыточные всякие иллюзии снятия полярности Востока-Запада, будь то идеальные мечты о подавляющем нравственном превосходстве православия, славянства, евразийства над западным индивидуализмом, юридизмом, техницизмом, будь то реальные планы европеизации, американизации, постмодернизации России. Геокультурные полярности в принципе не подлежат и в конечном счете не поддаются сглаживанию, при насильственном нивелировании они регенерируются в уродливой форме.

Возможен и необходим однако конец абсурдной полярности противодействия, страха, взаимной аннигиляции, механической по сути, вполне аналогичной энтропийным процессам (короткое замыкание).

Направление усилия — восстановление *мира* в полном и проясненном (намеренно проясняемом) смысле этого феномена.

Как следствие это означает, что русско-европейская полярность рассматривается как аналог, прообраз, пример европейско-азиатской, евразийско-дальневосточной, глобальной. Работа на Родосе, исследовательская и школьная, должна поэтому служить строгости границ, обусловленных полярностью. Сюда входят границы между областями философии и богословия, философии и науки, поэзии и философии. Тематизация национальных, региональных проблем подчиняется главной проблеме полярности мира. Принадлежность к традициям греко-византийско-русской культуры обеспечивается не номинально, программно и установочно, а исключительно

¹ К проекту Родосского университета.

личной укорененностью работников в этой культуре и их ответственностью за научность, трезвость, неиллюзорность своих подходов.

Региональная проблематика соответственно исключается из названия структурных единиц университета. С другой стороны, факультет философии, богословия и философской поэзии в составе своих работ может включать такую проблематику.

Возобновление прерванной богословской работы поздней Византии дает шанс для возрождения богословской мысли.

Возвращается внимание к Средневековью как эпохе школы мысли и дисциплины духа.

Остается проблемой важное отношение между философией и наукой при отказе от философии языка и философии науки как специальностей.

Открытию западной мысли для Востока поможет отказ от приспособляющих переводов в пользу переводческого стиля Кирилла и Мефодия.

ОБРАЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ В ОДАХ СОЛОМОНА¹

Текст, о котором я хочу говорить, ученые нашего столетия обычно называют загадкой. В чем состоит эта загадка? Если принять некоторые утверждения относительно даты, языка, места и среды происхождения Од Соломона (которых, в частности, и я придерживаюсь, и не я одна), то придется признать, что это совершенно уникальный документ первоначальной эпохи христианства. Если же не принимать, — то этот текст сразу отходит на периферию исследований, становясь одним из многочисленных апокрифов или протогностических текстов первых трех веков.

Попробуем в самых общих чертах охарактеризовать этот памятник. Оды Соломона — это приписываемый царю Соломону стихотворный сборник (в предисловии к переводу этой книги в «Апокрифах и псевдоэпиграфах» Charlesworth называет ее самым ранним христианским молитвенником); он состоит из 42-х од. О том, что он существовал в раннюю христианскую эпоху, было известно всегда, т. к. название «Оды Соломона» или «Оды и Псалмы Соломона» встречается в нескольких древних списках библейских книг, а также один стих из 19-й оды процитировал Лактанций, но сами тексты были открыты в начале нашего века. Существует два почти полных списка Од по-сирийски, пять входят в коптский гностический текст «Пистис София» и одна — 11-я ода — была обнаружена в 1957 году в составе папируса Бодмера XI по-гречески.

Относительно того, на каком языке написан этот текст, в ученом мире нет единого мнения: большинство исследователей (в том числе Charlesworth) склоняется к тому, что весь памятник представляет собой сирийский (или арамейский или, может быть, первоначально ивритский, но тем не менее — семитский) оригинал. Однако существует и другая точка зрения, — что текст этот греческий, и на арамейский или сирийский был только переведен. Этой точки зрения, в частности, придерживается крупнейший исследователь Од Соломона —

¹ Доклад на «Андреевских чтениях» ББИ 13.12.1999.

Michael Lattke, а также многие другие видные ученые. Если текст этот написан по-гречески, он все равно, конечно, интересен, но стоит в ряду других греческих текстов раннего христианства; если же этот поэтический сборник, подобный Псалмам, действительно дошел до нас в арамейском оригинале, — он представляет собой абсолютно уникальное явление.

Такая же неопределенность существует и в датировке памятного. Некоторые исследователи начала века считали Оды Соломона относящимися к концу II—началу III в., протогностическим или даже гностическим текстом из круга Валентина. В таком случае он, конечно, интересен, но для истории ранней Церкви важен не больше, чем, скажем, «Евангелие Истины» или «Акты Фомы» или подобные им тексты. Но в наше время большинство исследователей предполагает, что он составлен в эпоху конца правления Траяна, никак не позже 120 г. А некоторые, и я в том числе, считают, что он относится к 80—90 гг. I в. В таком случае, это один из самых ранних текстов христианства.

По поводу того, из какой среды вышли Оды Соломона, тоже не существует единого мнения. Многие ученые, например, Marie-Joseph Picqre, полагают, что это среда эллинизированного еврейства Александрии, близкая к гностикам; некоторые, как Carmignac считают автора Од обращенным кумранитом; но большинство, как Charlesworth, Brownson, Buck, Sanders, отмечает разительную близость словаря и богословских тем Од к Евангелию, Посланиям и Апокалипсису Иоанна, а также к Посланиям Игнатия Богоносца. Тем самым круг поисков среды сужается, и достаточно корректно будет предположить, что Оды написаны до сотого года, по-арамейски или по-сирийски, в Эдессе или в Антиохии (или в этом районе), человеком, принадлежащим к Иоанновой общине или к епархии Игнатия Богоносца. В таком случае уникальность этого текста становится очевидной и важность его изучения не нуждается в дополнительных разъяснениях.

Хотя этот текст принадлежит эллинистической эпохе, он мало затронут влиянием эллинизма. Поэтическая образность Од насквозь ветхозаветная. Также ощущается огромное влияние апокрифических апокалипсисов — Апокалипсиса Варуха, Авраама, Вознесения Моисея и других ветхозаветных апокрифов. Можно усмотреть значительную близость Од к текстам

НЗ и Кумрана, гностической литературе (в последнем случае, на мой взгляд, только стилистическую, но не идейную) и раннехристианским апокрифам, но идет ли речь о влиянии, взаимовлиянии или типологическом сходстве, нельзя сказать с уверенностью. Других явных параллелей обнаружить не удастся. Текст в большой мере построен на реминисценциях из Псалмов, Песни Песней, Книги Иова, пророков и начала Книги Бытия. Помимо этого принципы организации текста и цитирования наводят не только на мысль об использовании корпуса ветхозаветных и новозаветных текстов, но и на мысль о способе обращения с текстом в мидрашах или талмудической литературе (причем, скорее не Мишна, а ранняя мистическая экзегеза могла повлиять на Оды), т. е. Оды созданы внутри еврейской общины, но на самых ранних этапах становления раввинистической учености. Тем не менее можно сказать, что *христианство Од — это христианство книжников и фарисеев*, это именно то, что не сохранилось. Представим себе евангелие, — не Евангелие от Никодима, написанное в IV в., — а евангелие, которое действительно написал бы Никодим; возникшее в среде, не обладающей набором литературных приемов, необходимых для того, чтобы рассказать о конкретном человеке, но владеющей языком, нужным для того, чтобы рассказать о том, что главное для человека. (Оды не написаны для того, чтобы рассказать о Христе, но чтобы жить в отношениях с Ним. Община Од Его еще помнит и в отличие от Евангелий это тексты для внутреннего употребления.) Вот это, на мой взгляд, и будут Оды Соломона.

Мне кажется, что в этом тексте заключен исключительный опыт не только потому, что *само наличие этого текста делает очевидным происхождение христианства из иудаизма* (вопреки, как мне кажется, основному тезису весьма примечательной работы С. В. Лезова о непроисхождении христианства из иудаизма. См. С. Лезов. Попытка понимания. М.—СПб., 1999, стр. 9—20), если понимать под иудаизмом то состояние, то религиозное настроение, которое было в Иудее в то время, когда проповедовал Иисус Христос; но и потому, что этот текст, может быть, дает нам некоторую возможность прикоснуться к феномену иудейской церкви: ее жизни и ее исчезновению. Церковь, община, к которой обращается протагонист Од, и от имени которой он выступает — это никакая не поместная цер-

ковь, это не коринфяне, не римляне, — культурно — это те самые люди, к которым обращена проповедь Христа в НЗ. Там мы их не слышим, но Оды — это возможность услышать их голос, тех самых, о ком сказано: «Тогда многие иудеи уверовали»; это попытка описать, как они в Него уверовали.

Община, которая выражает себя в Одах, странным образом вообще не затронута проблемой обращения язычников. Язычники там появляются примерно в том смысле, как они появляются в ВЗ — как враги, по-видимому, без остатка отождествляясь с римской властью: «Василиск о семи головах», — так характеризуется языческое государство в 22-й оде.

Кто рассеял врагов моих и противников моих, дал мне власть над оковами, чтобы разрешить их.

Кто истребил василиска о семи головах руками моими, установил меня на корне его, да уничтожу семя его.

И ты был со мной, помогая мне; во всех Местах окружало меня имя Твое (22:3—6, перевод с коптского М. К. Трофимовой).

Единственное, чего они хотят — унижения, мучения, смерти членов общины, которая отождествляет себя как Израиль — не новый и не старый — просто Израиль. Община Од осознает свою беспомощность. Она единодушна, как один человек, и певец предстоит за нее целиком, но ничтожно мала, гонима, не имеет никакой внешней физической, социальной возможности воздействовать на окружающий мир. Одновременно она абсолютно уверена в том, что победила мир: «Все мои преследователи умерли, хотя они и живы, — говорится в последней, 42-й оде, — а я жив и воскрес» (О. Клеман. Истоки. М.: Путь, 1994, стр. 51. Здесь и далее все цитаты из сирийских од по: О. Клеман. Истоки. М.: Путь, 1994, далее Клеман. Сверено и исправлено по сирийскому оригиналу по изданиям: J. H. Charlesworth. The Odes of Solomon. Chico, California: Scholars Press, 1977; M. Latke, Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis, Fribourg—Göttingen — мною для настоящего доклада — А. Ш.-В.). А в самом начале, в 3-й оде сказано: «Тот, кто стал един с бессмертным, не умрет, тот, кто принят Жизнью, будет жив» (Клеман, стр. 50). Мне кажется, что это ощущение победы дано певцу Од опытом нисхождения в ад, как об этом сказано в 17-й и 42-й одах: «Я распахнул запертые на цепь врата, я сломал железные запоры, и желе-

зо раскалилось докрасна и потекло передо Мною; и ничто не осталось запертым, ибо Я — дверь для всех тварей. Я отправился освободить узников, они — Мои и Я не оставил никого пленным и связанным...» (*Клеман*, стр. 51). «Шеол видел меня и был побежден, смерть меня отпустила, и толпы со мною. Я был для нее желчью и уксусом, я спустился в нее, в самую ее глубину. Смерть не вынесла лика моего. Мертвых я сделал общиной живых, я говорил с ними живыми устами и слово мое не было тщетным» (*Клеман*, стр. 52). В межзаветной и апокрифической литературе, а также в Талмуде, ад описывается как место, где нет дверей, и община живых в аду, т. е. Церковь Од, не только выходит в вечную жизнь Дверью — Христом, но прежде всего *вместе с Ним образует, прорубает эту дверь из смерти наружу*. Самосознание гонимой общины — это самосознание воскресших людей среди мертвых и бояться им действительно нечего.

В связи с этим можно попробовать, мне кажется, указать на некоторые черты их очень своеобразной антропологии. Мы часто вспоминаем о том, что первые христиане называли друг друга святыми, что это было обращением к Церкви, общине, но нам трудно понять, как именно человек может ощущать себя святым, — не других, а себя самого, даже как представителя этой общины, — будучи христианином. По Одам можно попытаться проследить это самоощущение. Слово «грех» там вовсе не встречается, враги у протагониста Од только внешние. Несколько раз упоминается дьявол, искушитель, дракон, но чаще — совсем безличные «они» — предатели, гонители, преследователи, как, например, в 5-й оде:

Да падут преследующие меня и да не увидят они меня.

Да облако праха покроет их очи, и туман воздушный да затемнит их, и да не увидят они дня, дабы не овладели мной.

Да будет бессильным решение их, и что решили они, да придет на них.

Задумали они решение, и не сбылось оно для них.

И побеждены, хотя были могущественны, и что уготовили злобно, ниспало на них (5:4—8, пер. с коптского М. К. Трофимовой).

Но *внутри* этого воскресшего, находящегося в раю человека, облекшегося в Бога, — как он сам говорит, «одетого Его благодатью», — никаких переживаний, никакого раздвоения

воли вообще не происходит. «Вот наше зеркало — это Господь, — говорится в 13-й оде, — откройте глаза и узрите себя в Его зрачках» (*Клеман*, стр. 151). Внутри этого состояния Церкви человек таков, как он отражается в глазах Господа, — всецело спасенный.

Эта община находится в абсолютном единстве со всем тварным органическим миром. Несмотря на то, что она вроде бы социальное и городское образование, но вся образность и все мышление Од целиком пронизано органическими представлениями — себя автор видит деревом, приносящим плод и цветущим, и дерево это цветет в раю, и вся Церковь Од — это земля Господа, сад Господа, рай. Прочтем, например, всю 1-ю оду:

Господь на главе моей как венец, и не отделись от него.

Сплетен мне венец истинный, и побуждает он ветви Твои прорасти в меня.

Ибо не подобен он венцу высохшему, что не прорастает, но Ты живой на главе моей и пророс в меня.

Плоды Твои, налились они во спасение Твое (1:1—4, пер. с коптского М. К. Трофимовой).

Тем не менее первородный грех для автора Од существует. Во всяком случае, в какой-то мере он признает существование некоего проклятия, но проклятие это выражается в присутствии некоторых сил, которые могут, или раньше могли, все разрушить, эти силы больше всего заняты тем, что сбивают с пути: они сами сбились с пути и сбивают с пути других.

Я спасен из оков, и я бежал к Тебе, Господи.

Ибо Ты стал ошуюю меня, в то время как Ты спас меня и помог мне.

Ты удержал противников моих, и они не явились, ибо лицо Твое пребывало со мной, спасая меня милостью Твоей.

Я был порицаем пред лицом многих и брошен, я стал пред лицом их как свинец.

Чрез Тебя была дана сила мне, которая помогла мне, ибо Ты утвердил светильники одесную меня и ошуюю меня, дабы никакая сторона у меня не была бы бессветной (25:1—5, пер. с коптского М. К. Трофимовой).

В современной библеистике часто обсуждается предположение о том, что *путь* — это самоназвание христианства, например, в Деяниях. Кажется, что в Одах это тоже так: есть один путь и есть те, кто с этого пути сбивают, этот путь — это река воды жизни, текущая в Храм, а предатели — это те, кто ставили плотины на пути этой воды жизни и не пустили ее в Храм:

Забил поток и стал великим широким течением.

Он вобрал в себя все и поворотился к храму.

Не смогли его схватить насыпи и постройки, и не смогли его схватить ухищрения схватывающих воду.

Он разнесся по всей земле и схватил всех.

Испили пребывающие на песке высохшем; их жажда утихла (букв. развязалась) и погасла, когда дано было им питье из руки Всевышнего (6:1—5, пер. с коптского М. К. Трофимовой).

А в 4-й оде — это те, кто не уберегли Храм и позволили его сжечь. Из этого можно заключить, что речь по-видимому идет о людях, пребывающих целиком внутри храмового сознания. Они не усматривают никакого противоречия между тем, что Мессия пришел, и тем, что Храм должен был стоять. Но Храма нет и протагонист Од явно понимает, что ритуалы изменились; о кровавых жертвоприношениях речь не идет, и по всей видимости, во многих одах, — Danielou и Audet даже считают, что во всех, — последовательно описывается крещальная литургия. Возможно, Оды были сочинены для того, чтобы исполняться на Пасху в момент крещения новообращенных, завершающегося Евхаристией. В тексте можно найти много примеров, подтверждающих эту точку зрения, от самого частого, почти во всех одах упоминания живой воды (близкого к Учению Двенадцати апостолов — «крестите в живой воде») — до венка, который одевают на голову новокрещенного в Сирии до сего дня; также встречаются упоминания о молоке и меде, или о воде (она же — роса), которую подают новокрещенному, зафиксированные в обрядах ранней Церкви; и упоминание помазания, конечно; видимо, о том же говорят евхаристические образы, которые очень близки к евхаристическим образам Игнатия Богоносца.

Помимо крещальной обрядности Оды знают и другие обрядовые формы, прежде всего молитвенные, т. к. Оды в пер-

вую очередь представляют собой молитвы. Очень часто упоминается молитвенная поза, Оранта; причем распростирацию рук во время молитвы (опять же вспоминается Учение Двенадцати апостолов — крестообразный знак на небе) в 27-й оде дается очень прямое, решительное объяснение: «Я простер руки в жертву Господу. Когда стою с распростертыми руками, — это воздвигнутый предо мной крест» (*Клеман*, стр. 195). Наряду с достаточно сложной обрядностью в этой общине существовала чрезвычайно изощренная книжная культура, в частности, во многих одах, по-видимому, подсчитаны все буквы и их общее число или число букв в каком-нибудь слове, отзывающееся числу букв в другом симметричном ему по хиастической структуре слове, имеет какое-то мистическое значение.

Тем не менее ни специфически иудейская книжная культура общины, выделяющая ее из окружающего мира, ни ее, по-видимому, богатая литургическая жизнь, нашедшая отражение в Одах, не превращают Церковь Од, насколько можно судить, в иерархическую структуру. В Одах не встречается упоминание епископов, или пресвитеров, или народа; слова «служители живой воды» встречаются в 6-й оде, но, видимо, в том же контексте, в каком в Послании Иоанна — «служители слова», и, по-видимому, под служителями подразумеваются все члены этой общины. Местоимения *я*, *мы*, *вы*, *ты* упоминаются в Одах совершенно на равных правах, они могут заменять или переходить друг в друга на протяжении одной строки, поэтому, мне кажется, можно сказать, что *Оды выражают Церковь как состояние, а не как структуру*. То слово, которым в Одах собственно говоря именуется община, переводится по-разному разными исследователями, некоторыми как *конгрегация*, *община* — *communauté*, *congregation*, а некоторыми как *среда*, в переводе с коптского 22-й оды М. К. Трофимова пользуется словом *середина*. Но буквально арамейское слово *emtsab* значит *между, отношение* (отчасти, конечно, это и *пространство*). Мне кажется, что образ, который пытается создать автор Од, близок к тому, что физика называет *силовым полем*. Видимо, так они поняли слова о том, что «где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них», *не в каждом их них* — это тоже так, но это еще не Церковь, и не *над ними*, а именно «между» ними в том «отношении», которое образуется среди людей. Автор Од,

очень близкий, как мы уже говорили, апостолу Иоанну, вероятно, тоже считает, что единственный признак, отличающий членов общины от внешних, состоит в их отношении друг к другу: «Потому узнают все, что вы Мои ученики». В 39-й оде мир вокруг общины описан как бушующие волны, бездны водные, по которым прошел Христос, и его следы видны членам этой общины так отчетливо, что автор Од говорит о том, что эти следы как бы сделаны из деревянного бруса или из Креста, и «по этим следам проложен путь для тех, кто пойдет за Ним вслед». Церковь Од — это следы Христа на бездне этого мира.

В течение, наверно, довольно долгого периода, примерно полутора тысяч лет, Церковь занимала в мире какое-то место: много строила, благословляла христоролюбивое воинство на брань между двумя христианнейшими королевствами, провозглашала осужденных к месту казни, и закономерно, что в это время Оды были совершенно забыты. Но, на мой взгляд, не менее закономерно и то, что в нашем веке они были открыты (также как и некоторые другие памятники раннего христианства), потому что сейчас тоже можно сказать, что Церковь, сколько бы она в своей официальной или структурной части не пыталась найти себе в мире какое-нибудь безопасное место, не может этого сделать — в действительности никакого места в современном социуме у нее нет. И поэтому тот смысл, который вкладывала в слово *между* община, запечатлевшая себя в Одах Соломона, снова актуален для нас. Не в том аспекте, что для нас может быть актуальна отмена законного епископата или приходских советов, а в несколько более глубинном, мне кажется: *для нас актуально видение Церкви как образа бытия в отношениях между людьми*. В большом социуме она представляет собой гонимую общину, в малом социуме «между собой» — некое единое поле, которое не разваливается не потому, что его что-то ограничивает внешне, и в культуре выполняет роль следов Христа на воде.

С прискорбием сознавая, что отсутствие русских переводов почти всех тех Од, что дошли до нас по-сирийски, превращает тезисы этого доклада в голословные утверждения (если

сейчас в России существуют такие переводы, — они остались мне неизвестны; переводы автора данного сообщения находятся в ранней черновой стадии работы), я тем более испытываю глубочайшую благодарность к Марьяне Казимировне Трофимовой, снабдившей меня своими переводами всех од, дошедших до нас по-коптски.

В. БИБИХИН

ВЕРА И КУЛЬТУРА

О. Александр Мень сравнивал современность с первым веком нашей эры, временем рождения новой Церкви. Всякое пророчество условно, потому что говорит о том, что будет, если все будет так, как есть. Оно не сбудется если люди поведут себя иначе, хотя неверным от этого не станет, как несбывшееся пророчество Ионы о разрушении Ниневии не было ни лживым ни ненужным. В наши дни не обязательно быть даже малым пророком чтобы предсказать: современная церковь уже не сможет выйти из состояния раскола, как институт она уступит место другой Церкви, которая появится или уже появилась. Не другой вере. Вера одна, как верность одна, не бывает много разных верностей, и тупик расколотой церкви создан холодным согласием с тем, чтобы вер было много.

Это имеет самое прямое отношение к культуре, и вот какое. Церковь какая она есть, расколотый институт, стоит в *отношении* к культуре. В каком-то смысле очень хорошо, что она не дикая, смотрит куда и все, не отстает. Но тут может быть и грозный признак. Раннее христианство не имело никакого *отношения* к культуре, не в плохом смысле изоляции, а в том смысле что культура для него не была отдельной или специальной проблемой. Вся она, не в своем разнообразном содержании, а в остроте своего искания оказалась вобрана внутрь нового христианского искания. Не это ли имел в виду Мандельштам, говоря о *свободном* отношении христианства к культуре.

Одного ли вообще ищет человек или многого. Настоящее искание, как вера и верность, все-таки одно-единственное. Оно широкое и идет разными путями. Продолжающееся откровение совершается в мысли, в музыке, в словесности, в живописи, в кино. Его золото только еще не отстоялось, не отмылось от сора.

Новая Церковь, другая, но не в смысле обновления, потому что никакого обновления сейчас уже не хватит, будет открыта этому продолжающемуся откровению. Даже просто сидеть сложа руки в ожидании неизбежных перемен сейчас, по-

хоже, лучше, чем еще как-то пытаться в последней мобилизации, все менее уместной, заклеить что-то в организме, который, поскольку *относится* к культуре, оказывается уже только ее частью. Соль, какою призвано быть для всего мира христианство, необычная часть культурной пищи. Свободное отношение христианства к искусству предполагает таинственное растворение одного в другом.

В. БИБИХИН

ЭСТЕТИКА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Можно с уверенностью сказать, что если бы Лев Николаевич Толстой, придя в московский театр посмотреть, что такое «Кольцо Нибелунгов» Рихарда Вагнера, остался просто не задет ничем из шестичасового представления, скучал и думал о своих делах, не было бы трактата «Что такое искусство», которым он задел многих и во всяком случае помог утвердиться в 20 веке не оценивающему на хуже-лучше, а политическому, на принятие-отвержение, отношению к искусству.

Толстой, как было для него привычно, выкладывался, сказать словами Мераба Мамардашвили, на всю катушку, как умеют выкладываться в веселье и истерике дети. Только то, чем он был захвачен на представлении Вагнера, был скорее всего стыд, острый, обжигающий. Что к нему единственно добавлялось, это что детский стыд за то, что делают и говорят, как движутся взрослые на сцене, весь выходит в сжатые кулачки и стиснутые зубы, а потом в глухое, тупое молчание на вопросы родителей, а тут у большого ребенка, кроме той же остроты стыда, было слово неведомой силы, и опыт, и старательно отточенное мастерство, так что ему было чем отомстить за свой стыд. Тот первобытный и необъяснимый стыд ребенка или дикаря, а вовсе не какие-то готовые или сложившиеся концепции искусства, или они только вторично, стоит за эстетикой Толстого, где он заходится в гнев и мести как ребенок в плаче и как будто бы захлопывает дверь всему искусству вообще.

В казалось бы неторопливой, совсем необычной для Толстого форме научного академического исследования, с обзором и цитированием литературы, особенно в обстоятельной отстраненности описания того, что происходит на театральной сцене, — ярость до белого каления и расчетливый размах, вроде той дубины народной войны, которая действует в его главном романе.

Спрашивается тогда, какой же враг мог вызвать его на такую ярость. Кому он мстил за молчаливый детский стыд. Все-таки не актерам на сцене, вялые руки и смешной молот оперного кузнеца или пышные тела поющих красавиц его скорее

должны были забавлять. Ребенок, стыдящийся неестественности взрослых на сцене, еще не замечает своих соседей, зрителей, а Толстой замечает и рассержен на них: на то, что они согласились и привыкли проглатывать искусство порциями как обеды и ценить его на вкус, а не так, как следовало бы ценить выступление, выступание среди всех в просвете сцены, выставление людей, несущих весть, объявляющих праздник: следовало бы судить по тому, захватывает это выступление в пространстве раздвинутого театра всего человека, т. е. в меру его заражения уже не надо спрашивать, играющего теперь или зрителя, неудержимо увлекает его — примерно как совсем в другом случае Толстой рассказывает о себе, что он старался, когда учился ездить на велосипеде в большом манеже, где проходят дивизионные смотры, изо всей силы ни в коем случае не столкнуться с дамой, которая тоже училась на велосипеде совсем в противоположном конце манежа, и от этих стараний все же сбил ее — или не увлекает так.

Что-то ведь происходит все равно, хочет или не хочет человек. Сцена может быть предана актером, вышедшим на нее, но она ведь видна и захватывает все равно своей открытостью, даже молчащей. Событие в просвете между людьми происходит все равно, и если даже они высвеченные им продолжают свою суету. Разве что тогда они выданы со всей своей грязью и за них стыдно как на празднике за будничную одежду.

За то, что сцену события, единственно важного, подменили на сцене театра, как бы превратили храм в место торговли голосами, сценическими данными, режиссерскими новшествами, просто роскошью занавеса, отделкой декораций, — за это Толстой опрокидывает эту витрину, или этот музей, или эту выставку тщеславия в середине мира.

Люди умеют и знают, могут разложить много, заранее приготовившись удивить или научить. Но в высвеченной середине на сцене становится важно только одно: *то самое*. Как неуловимое *то* оно и опознается. Суть искусства в узнавании, говорит Аристотель. Другие деятели, выступающие на публичной сцене, политик, военный, журналист, все вокруг того же самого, но политик опирается на него, военный должен быть готов отдать за него жизнь, журналист будет информировать и обсуждать, а *показать* то самое, дать его цвет, тон, настроение, его краску и красоту может только искусство.

В повседневной работе выступает политик решением и поступком, военный своим телом в форме, т. е. неким образом открытым телом, и журналист скандалом и идеями — но только когда музыка, Альфреда Шнитке, Александра Вустина или может быть другая и пожалуй неслышная, как Михаил Аркадьев снова напомнил нам, что перерыв звучания это еще не перерыв музыки и непрерывное музыкальное время не только продолжается в незвучащие паузы, а эти паузы, молчания даже скорее *просветы* того музыкального времени, — только когда *тон* вдруг, непонятно как, перекрывает нагромождение дня, сливается с серым воздухом и разбросанное, беспокойное недоумение будней вдруг получает ответ в музыке, и наша растерянность, может быть совсем отчаянная и непричесанная, получает голос и делается нашим миром, — или когда Ольга Седакова читает в то же измерение, откуда она слышит всё свое, колдовские строки как эти,

*Что ослепнет, то, друг мой, и светится,
то и мчит, как ковчег
над ковшами Медведицы —
и скорей, чем поймет человек,*

или когда Екатерина Максимова достигает в своей постановке «Щелкунчика» Чайковского чем попало, совершенством хореографии или может быть одним штрихом, не предусмотренным в либретто, мгновенным движением руки дамы воспитательницы, которая хочет поправить прическу подростка и не удается, подросток грациозно уклоняется, только ей понятным волшебством добивается что на несколько минут представление упрощается до события и открывается простор, когда сцена возвращается к своему призванию быть просветом бытия и это улаживает и примиряет все вокруг и всех с этим миром, так что получают смысл и часовые у своего магнитного детектора и неприкаемые машины на Манежной площади и больше, Москва, и еще больше, вся страна, которая существует *для того*, чтобы открытие бытийного простора на сцене Кремлевского театра состоялось, — только в эти моменты, не очень частые, делается ясно, что такое искусство, незаменимое и обязательное, равное по весомости и политике и военному и ученому и священнику. Оно умеет вернуть *то самое*. Искусство тогда конечно не эстетика, как и трактаты

Толстого об искусстве не эстетика, разве что мы начнем понимать эстетику по-другому, по Аристотелю, как ощущение душой всего мирового бытия. — Уж конечно искусство не умелость и не техника, разве что под техникой опять же понимать как в античности художество.

Узнавание того, того самого требует решения его принятия, т. е. участия зрителя в открытии мира собственно на равных с художником. Он соавтор, такой же автор санкции, согласия на открытое, а вовсе не только заметок знатока, что у этого певца, обратите внимание, контртенор, и вы заметили ли как хорош первый контрабас. Поэтому в суждениях Толстого, отмечающих Данте и Шекспира, смысл по сути тот, что русский писатель сейчас *не* хочет и *не* будет выступать соавтором с ними, не даст им своей руки. Это правдивее, и больше обещает, чем принять стандартный набор великих произведений искусства и остаться от них на расстоянии любителя.

Сцена собственно крест, потому что все открывшееся автору — теперь я имею в виду известную современную писательницу с похожим именем, — услышанная тема для рассказа, увиденный персонаж, это ведь открылось ему, увиденно и услышано *сначала не для читателя же, в конце концов, а для него самого*, к нему обращено, чтобы он вынес и выносил эти увиденные как во сне лица и разгадал их как *свою* судьбу. Странно, словно отстраненно идет где-то в области сна, будто бы не задевая, диктовка задания тому кто слышит, *ему* диктуют. Но как часто бывает, что услышавший задачу не берет ее на себя и вместо того передает записав в виде «художественного произведения», рассказа дальше. Нет, услышанное всегда задание тебе, первый получатель должен первый исполнить поручение. Художник выдыхается, когда он только медиум в том смысле, что отдает дальше по инстанции уловленное и свою запись задания. Все становится тогда тонкой литературной игрой.

Настоящий художник принимает все на свой счет. Якобы отслоение персонажей от художника грозит самым большим самообманом. Персонажа — и вообще все продиктованное — надо *выжить*. Все очень страшно. Когда двойник Голядкин не захотел отслоиться от Достоевского, это прочитывается в письмах писателя того периода, то для Достоевского началась *настоящая* каторга (его собственное выражение из тогдашних

писем) задолго до сибирской, и сибирская была по сути *выбрана* им чтобы спастись от той нечеловеческой. Не отслоился от Гоголя положительный герой второго тома «Мертвых душ», благонамеренный и успешный помещик Костанжогло, автор «Выбранных мест из переписки с друзьями», и Гоголь платил за то жизнью. Застыл в конце пушкинской поэмы Медный Всадник, и жизнью платил за застывание этой молнии Пушкин. То, что задано художнику, человеку, он сам это и есть, во сне или не во сне, и вынести, а не бросать другим, должен это он сам.

ПОЭЗИЯ КАК ВЫХОД ИЗ БОГОСЛОВСКОГО ТУПИКА: «ДОКТОР ЖИВАГО» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Мое сообщение ни в коей мере не может считаться профессиональным филологическим разбором. Оно представляет собой попытку в самой конспективной форме построить некую богословскую, а точнее говоря, экклезиологическую проекцию творчества Бориса Пастернака и в первую очередь романа «Доктор Живаго». При этом я отдаю себе отчет в том, что ни сюжет, ни образы героев, ни даже словесная ткань романа не дают основания для подобного эксперимента. Даже само слово «церковь» упоминается в романе очень редко и далеко не всегда одобрительно¹. Тем не менее, мне кажется, что богословская, хотя, разумеется, не специфически конфессиональная интерпретация творчества Пастернака возможна и даже необходима.

Если бы зачем-то понадобилось эту богословскую интерпретацию определить одним словом, я выбрала бы слово «скудельница». Как все несомненно помнят, это слово взято из стихотворения «Душа»²:

*Душа моя, скудельница,
Все виденное здесь
Перемолов, как мельница
Ты превратила в смесь.*

И как все несомненно знают — имеет три значения: во-первых, это земля, глина, прах, то есть материал горшечника и отчасти сама деятельность скудельника-гончара; во-вторых, это общая могила странников (так в Евангелии), но также и погибших от несчастного случая, во время мора, нападения разбойников и прочее; в-третьих, это часовня, поставленная на таком общем кладбище — для служения панихиды по этим зачастую безымянным страдальцам, и даже по самоубийцам; по уставу такая панихида служится исключительно в Дмит-

¹ См., напр., Б. Пастернак. Собр. соч., М., 1989—92, т. 3 (ДЖ), с. 575. Здесь и далее все цитаты из произведений Пастернака даны по этому изданию.

² Б. П. т. 2, с. 75.

риевскую родительскую субботу, то есть в день памяти всех убиенных на Руси, начиная с Куликова поля³. Мне кажется, уже это перечисление словарных значений напоминает нам о двуединой основной теме искусства; по мнению Пастернака, неотступно размышляя о смерти, оно неотступно творит этим жизнь. Можно, мне кажется, увидеть и его собственную верность этой теме: от самых ранних поэтических текстов («Мельницы <...> меловые обвалы пространств *обмалывают*, И судьбы, и сердца, и дни»⁴) и ранней прозы (в эссе «Несколько положений» выясняется, что *чистая* сущность поэзии — *пере-малывание* даже вхолостую, в голодный год) до итоговой прозы и до только что процитированных последних, прощальных стихов о душе.

1. МОСТ

...Утверждена великая пропасть...
Лука 16:26

Совсем недавно Ольга Александровна Седакова напомнила о том, что в Пастернаке заговорило новое христианское искусство, до сих пор не использованные культурой возможности христианства⁵.

Пожалуй, именно скудельничная тема показывает нам, насколько это наблюдение верно, то есть, насколько исчерпанными оказались христианские возможности докатастрофического искусства. В прежнее, хорошее время, искусство чрез звуки лиры спасало от забвения то, что достойно этого спасения. Гроб, земля и прочее — были только досадным препятствием бессмертию любви. «Зову тебя не для того, чтобы изведать тайны гроба!» Все мы знаем, что стало в нашем веке с искусством, безмятежно доверяющимся голосу совести, как сказа-

³ Мне стало известно еще одно значение слова «скудельница». Так в московском обиходе называли обряд захоронения в Великий Четверг всех полюбанных на улице покойников на средства, собранные прихожанами разных московских храмов.

⁴ Б. П. т. 1, с. 99.

⁵ «Смерть, Суд, Иной мир — три эти „последние вещи“ были нервом классического христианского искусства. Его пафосом было отрешение. Его символы преодолевали преходящее.

Но в Пастернаке новое христианское искусство заговорило о другом: о творении, об исцелении, о жизни. И кто сказал бы, что эта триада „последних вещей“ менее прямо относится к христианским, чем первая?»

ла бы Лара ⁶. Мир предстал глазам культуры не как могила, а как груда безымянных непогребенных трупов, и это заставило ее замолчать. «После Освенцима нельзя писать стихи»⁷.

Единственное богословское возражение на это утверждение заключается в вести жертв, в поэзии, истолковывающей их безмолвие — прежде всего в стихах Цветасвой, Мандельштама, Целана. Так, в словах Целана о том, что «они не сложили песен, не славили Бога — они рыли»⁸, как мне кажется, поэзия жертв, вопреки Адорно, выражает надежду на то, что эти трупы будут когда-то погребены, то есть *оплаканы*. На мой взгляд, выполнять эту задачу начал Б. Л. Пастернак. Оговорюсь, что речь идет совсем не о фабуле и фактах «Доктора Живаго», хотя не должно быть забыто и то, что о сталинских лагерях, чистках и расстрелах, неудаче коллективизации как причине террора и о многом другом он сказал первый. Но задача оплакивания, приводящая жизнь в себя, оказалась единственно насущной в новой культурной ситуации, и жертвы-свидетели это поняли первые, и, как мы помним по письму Шаламова, прямо благословили его:

«Я благословляю Вас. <...> Это великое сражение будет Вами выиграно, вне всякого сомнения»⁹.

2. ЛЕКАРСТВО БЕССМЕРТИЯ

Я наподобье свхаристий
Под вкус бессмертья подберу
Промерзшие под снегом листья
И мандаринов кожуру.

Борис Пастернак открыто определяет задачу творчества как поминовение усопших: «И дальше перемалывай...» Не случай-

⁶ «Я еще застала время, когда были в силе понятия мирного предшествующего века. Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, необычайным, из ряда вон выходящим явлением...»

⁷ *Theodor W. Adorno. Kulturkritik und Gesellschaft. Prismes, 1955.* Первоначальная формулировка Адорно: «Писать стихи после Аушвица — это варварство», — приобретя поговорочную популярность, приняла в литературе тот вид, в котором мы ее цитируем.

⁸ См. *Пауль Целан. Одиннадцать стихотворений в переводе О. А. Седаковой. Контекст 9, № 4, М., 1999, с. 227.*

⁹ Из письма к Пастернаку от 12 авг. 1956 г. Переписка Бориса Пастернака. М., 1990, с. 566.

но процитированная в романе строка икоса: «надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуйя»¹⁰ — говорит именно об этом. У надгробного рыдания творчества есть форма — «творяще песнь», и есть содержание — «Аллилуйя» (этими терминами я намеренно пользуюсь вполне обывательски).

Смысл нового христианского искусства, как уже говорилось, больше не в пророчестве о катастрофе, не в свидетельстве о Голгофе, даже не в прощении, которое жертвы дарят миру. Прославление новых жертв в культуре выражается в подтверждении делом (стихами, симфониями, картинами) их безумной надежды на то, что *жизнь возможна*. То есть в двух вещах — в объяснении в любви к жизни и в напоминании о том, что счастьем существования мы *обязаны*, что оно возможно только как благодарность. Вот почему в ранней редакции романа это счастье сопоставлено с самоубийством¹¹. Благодаря им, погибшим, мы живы.

Что значит жить благодаря? Позволю себе снова напомнить общеизвестное. Благодарение — это *евхаристия* по-гречески и *аллилуйя* по-еврейски. Содержанием нового христианского искусства становится священнодействие, выражающееся в словах благодарности Богу, «приведшему нас из небытия в бытие»¹², и Церкви, созывающей живых и мертвых на «бессмертную Трапезу»¹³, и в жестах благодарности и жертвенной самоотдачи — «Твоя от Твоих Тебе приносяще»¹⁴.

При помощи этого священнодействия и славословия «жалость, правящая мирами» возвращает время и пространство нашего мира одновременно к началу творения и к вершинной точке истории — жизни Христа на земле, а

¹⁰ «А Юрочка такой благодарный повод! Он так всего этого стоил, так бы это „надгробное рыдание творяще песнь аллилуйя“ оправдал и окупил!» (ДЖ, с. 492.)

¹¹ «...искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой чего бы то ни было существующего и, таким образом, искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования... Но странно, если бы надо было подыскать нечто похожее, соответствующее этому счастью вне искусства, равнодействующая ему нашлась бы в поведении самоубийцы, который в неистовстве страдания колотится головой о стену...» (с. 614).

¹² Из первой священнической молитвы Евхаристического канона на литургии Иоанна Златоустого.

¹³ Из ирмоса 9-ой песни канона Великого Четверга.

¹⁴ Возглас священника при возношении Св. Даров на литургии.

материю нашего мира превращает в материю нетления, в дар жизни.

«Подобно тому, как упавшее в землю и истлевшее зерно приносит хлебный плод и становится Евхаристией, то есть нетленной материей, так и наши тела, насыщенные нетленной Плотью и Кровью Господа, хоть и погребенные в земле, будут изведены из нее Духом Божиим в вечную жизнь»¹⁵, — говорит св. Ириней Лионский.

Итак, содержанием нового христианского искусства в «Докторе Живаго» стала Евхаристия, а расширительно — Церковь, понимаемая не как здание, учреждение или убеждение, а как *динамическое состояние воспроизведения своего начала*, подобно тому, как произведение искусства, по словам Пастернака, рассказывает о своем возникновении; как постоянное приобщение к Чуду и «бессмертное общение между смертными»¹⁶.

Недостаток времени и места не дает возможности детально разобрать, какие именно события, фразы и образы «Доктора Живаго» позволяют делать такие и подобные утверждения, но, мне кажется, евхаристический характер повествования ощущать достаточно легко. При этом я не имею в виду, что в романе разыгрывается история, напоминающая литургическое действо. В этом было бы не много нового, вся литература об этом. Не зря указывает «Охранная грамота», что *постоянная* в цепи уравнений культуры — это христианская легенда.

Главная новизна романа, на мой взгляд, в том, что он сообщает читателю способ отношения к жизни как к евхаристической тайне, а к искусству как к участию в евхаристическом хоре (вспомним жертвенный хор цветов в сцене прощания с доктором в романе¹⁷).

¹⁵ Против ересей. Кн. 5, гл. 2, ст. 2—3.

¹⁶ «В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна» (с. 45).

¹⁷ «В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакою церемонией, давило почти ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда.

Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, оделяя всех своей душистою силой, как бы что-то совершали.

Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов, сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба

Когда в текстах, окружающих роман, например в письмах М. К. Баранович¹⁸ или С. Спендеру¹⁹, Пастернак говорит о совершенстве формы как о новой материи или алхимии, или когда он описывает свое видение вселенной и природы в образах колеблющегося занавеса, лично ему направленного послания и необычайного происшествия, он указывает именно на эту особенность «Доктора Живаго».

Впервые в истории словесность вплотную приблизилась к Церкви — не к вечным истинам христианства, сформулированным в Нагорной Проповеди, и не к сокровищнице образов, заключенной в литургической поэзии, а к «растворению нас самих во всех других», дающем каждому умереть не под забором, а в истории²⁰.

При появлении первой части Э. Г. Герштейн назвала «Доктора Живаго» книгой о бессмертии, и в дальнейшем это определение утвердилось в литературе²¹. В монографии И. П. Смир-

Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника. (Она же, мнящи, яко вертоградарь есть...)» (ДЖ, с. 486).

¹⁸ «В аналогии, в уподоблении (в прямом смысле это невозможно) это совершенство сверхформы есть попытка создания *новой материи*, алхимизм лирики, никогда не удовлетворимый, то есть не утоляющий главной жажды его создателей, но сопровождающий самые высшие напряжения творческого чувства...» (из письма к М. К. Баранович от 26 авг. 1953 г., Б. Пастернак об искусстве, М., 1990, с. 342—343).

¹⁹ «Чтобы достичь правдивого сходства подражательных приемов искусства и живого опыта реально пережитого, недостаточно передать свое представление в живом мгновенном движении. Я бы представил себе (выражаясь метафорически), что видел природу и вселенную не как картину на неподвижной стене, но как красочный полотняный тент или занавес в воздухе, который беспрестанно колеблется, раздувается и полощется на каком-то неведомом, неведомом и непознаваемом ветру.

То ли это недостаточное и обрывочное знание различных физических волн как внешней движущей силы наших субъективных ощущений или оставшийся привкус легенды о сотворении мира, или представление о жизни как об узком промежутке между рождением и смертью, но всегда я воспринимал целое — реальность как таковую — как внезапное, дошедшее до меня послание, неожиданное пришествие, желанное прибытие и всегда старался воспроизвести эту черту чего-то посланного и нацеленного, которую, как мне казалось, находил в природе явлений» (из письма к Ст. Спендеру от 22 авг. 1959 г., там же, с. 364—365).

²⁰ «Века и поколенья только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме» (с. 14).

²¹ См., напр., ДЖ, с. 659.

нова «Роман тайн — „Доктор Живаго“» он как продолжение «Братьев Карамазовых» назван теоморфным текстом, историей обожения. Мне кажется, называя «Доктора Живаго» евхаристическим текстом, мы не спорим с этими определениями, а только несколько поясняем их.

Речь в «Докторе Живаго» идет не только об изначальном бессмертии человека, и вовсе не о бессмертии души, свободной от тела, но об «усильи воскресения», которое заключено в личном участии «в общей лепке Вселенной». Такая точка зрения восходит прежде всего к святому Иринею Лионскому. По Иринею, человек не бессмертен, так как Адам утратил изначальную возможность бессмертия, пожелав его присвоить, но человек может приобщиться к бессмертию, если вкусит его в Евхаристии и затем подтвердит в своей жизни благодарную верность Христу и бессмертию. Также, Ириной не пользуется термином «обожение», так как Христос не новый демиург, а новый Адам. Крестной смертью и Воскресением Он начал восстановление разрушенного порядка истории; это восстановление продолжается в Церкви и приведет Вселенную к возвращению в первотварное состояние, то есть в Царство Божие.

Эта центральная для богословия древней Церкви идея возглавления или восстановления — рекапитуляции, *соответствует, по-моему, основной интуиции пастернаковского романа, пониманию истории как Церкви*²².

Попытаюсь пунктирно наметить и другие черты концептуальной близости творчества Пастернака к идее рекапитуляции. Основная мысль «Охранной грамоты» — о Библии, «записной тетради человечества», и истории культуры как цепи уравнений в образах — применяет к искусству концепцию «домостроительства спасения»: каждое событие, приобщаясь через таинства Церкви к жизни Христа, восстанавливается в не-

²² Здесь и в других местах этой работы, обращаясь к богослужебным текстам или сочинениям Святых Отцов, я позволяю себе обходиться без ссылок на конкретные тексты. Один и тот же образ часто встречается в разных произведениях или пронизывает какую-либо стихирю или ирмос целиком. Одна и та же тема обсуждается в разных сочинениях кого-либо из Отцов. Поэтому в рамках этого небольшого сообщения мне пришлось спрессовать множество сюжетов и превратить их описание в перечисление. Подробное сопоставление творчества Пастернака с богословием ранней Церкви — это тема большой работы, которой я сейчас занимаюсь.

поврежденности²³. О том же рассуждает Симочка в романе²⁴; о том же говорит Гордон²⁵.

Церковь — земной рай (о земном рае как об основном архетипе поэтики Пастернака говорит О. А. Седакова²⁶), сад и город, искупленная от греха Ева, возвращающаяся к началу история, очищенная от смерти природа, Сестра и Невеста Агнца. А Жених Церкви — это искупающий ее Христос, новый Адам, дающий всему имена, садовник этого сада и плотник, строящий этот город, «один праведник, оплодотворяющий жизнь во всех бывших некогда мертвыми»²⁷.

Мне кажется, что это сцепление мыслей и образов ясно отзывается в рассказе о докторе и Ларе как об Адаме и Еве²⁸, о жизни и природе как о сестре-невесте или распускающей волосы Магдалине²⁹; и об истории как о возвращении сквозь смерть в «святой город»³⁰.

Это перечисление можно продолжить. Можно обнаружить значительное сходство идей и образов Пастернака не только со св. Иринею Лионским, но и со св. Климентом Римским, св. Игнатием Антиохийским и другими Отцами Древней Церкви. Может быть, самый разительный пример этой об-

²³ «Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым — актуальный момент текущей культуры» (Б. П. т. 4, с. 208).

²⁴ ДЖ, с. 405—408.

²⁵ «Христианство, мистерия личности и есть именно то самое, что надо внести в факт, чтобы он приобрел значение для человека» (с. 124).

²⁶ «Вакансия поэта»: к поэтологии Пастернака // Пастернаковские чтения. Вып. 1, М., 1992.

²⁷ *Иринея Лионский. Против ересей*. Кн. 3, гл. 21, ст. 10.

²⁸ «Мы с тобой как два первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце сго» (ДЖ, с. 397).

²⁹ «Какая короткость, какое равенство Бога и жизни, Бога и личности, Бога и женщины!» (ДЖ, с. 408 и вокруг).

³⁰ «Счастлиное, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их и охватывало неслышную музыкой счастья...» (ДЖ, с. 510).

разной близости обнаруживается у одного из поздних греческих богословов, Николая Кавасилы, когда он говорит, что «Церковь — это огромное открытое окно, через которое Сияние Правды проникает в мир тьмы».

К сожалению, моих знаний недостаточно, чтобы сказать, какие сочинения Отцов Церкви Борис Леонидович читал, а какие нет. Он мог их прочесть самостоятельно, мог почерпнуть эти идеи опосредованно через Соловьева, Булгакова, Флоренского (черновики романа обнаруживают его знакомство с трудами о. Павла³¹) или узнать о них что-то из общения с С. Н. Дурылиным, но в сущности он мог, как большинство православных людей, совсем не читать Отцов. Ведь то неумирающее, что было в их богословских системах, воплотилось в текстах православного богослужения, а свободное владение литургическими текстами Пастернак несомненно продемонстрировал на страницах «Доктора Живаго».

Поэтому скорее важно не то, как Пастернак усвоил и выразил богословие Древней Церкви, но как он его обновил и повернул к искусству (или искусство к нему). Он сделал это, показав нам *искусство как вещь не о бессмертии только, но и о лекарстве от смерти*, о способе от нее через нее же избавиться — воскреснуть.

Как об этом говорит св. Игнатий Богоносец: «Все вы до единого, без исключения, по благодати соединены в одной вере <...>, преломляя один хлеб, это врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь во Иисусе Христе»³², — то есть, мало не умереть, надо еще жить, жить полной, а значит воскресшей жизнью. Это возможно только через самоотдачу, евхаристическую жертву, или, другими словами:

*Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И всё до нитки роздал.*

³¹ См. разговор Юры с Гордоном о богословии: «Я знаю, что выполнение устава это такой же рост, как выполнение живой тканью впадин и полостей органической формы» (ДЖ, с. 589).

³² Св. Игнатий Богоносец. Посл. к Ефессянам, гл. 20.

3. ОТЦЫ И ДЕТИ

Scul en Europe tu n'es pas antique, o Christianisme.
Гийом Аполлинер

Перефразируя памятную характеристику³³, можно, я думаю, сказать не только о романе, хотя в первую очередь, конечно, о нем: душой этих книг была по-новому понятая Церковь, и прямым следствием — новый шаг искусства. Может показаться странным, что свхаристическая интонация «Доктора Живаго» указала новый путь искусству. (Хочу еще раз пояснить, что я подразумеваю под свхаристической интонацией — например, такой отрывок: «Господи, Господи! — готов был шептать он. — И все это мне! За что мне так много? Как подпустил ты меня к себе, как дал забрести на эту бесценную твою землю, под эти твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной?»³⁴) Но мне кажется, если мы вспомним, как мелко европейская культура согласилась думать о человеке, станет понятно, каким освобождением стала для нее перспектива, предложенная Пастернаком.

В ответе на анкету журнала «Магnum»³⁵ он писал «о человеке — обитателе времени, герое постановки, которая называется история». Но история, мы знаем, это Церковь, причастные ей смертные — бессмертны. И не пропадут. «В других вы были, в других и останетесь»³⁶, — говорится в романе. Вас оплачут.

Новое богословие Пастернака дает поэзии заняться своим самым старым традиционным делом — *оплакиванием*. Достать заброшенный прах из Елабуги, из забытой могилы, и в реквиеме торжественно перенести его туда, где он должен находиться, где он необходим — в алтарь, ибо Церковь стоит на прахе мучеников³⁷. Или освободиться даже от слабой связи с клерикальным и плакать по Лину и Орфею, как предлагал Рильке. Этим занято то искусство, «которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает»³⁸ — подоб-

³³ «Душой этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием — новая идея искусства» (ДЖ, с. 67).

³⁴ ДЖ, с. 431.

³⁵ Б. П. т. 4, с. 670—671.

³⁶ ДЖ, с. 69.

³⁷ См. Б. П. т. 2, с. 48.

ным свхаристическому поминанием умершего оно доказывает на деле, что смерти нет.

Как и предвидел Борис Леонидович, принять эту новость оказалось невероятно трудно. (Вспомним отрывок из письма к Н. А. Табидзе³⁹.) Конечно, прежде всего именно художникам трудно осознать, что псалом восхождения или песенка паломника — это новый этап культуры. Гораздо легче быть эпигоном трагиков и пророков недавно нового искусства и служить наглядным пособием по формуле Адорно. Или в самом своем искусстве настойчиво пересказывать его тезис, как поступает постмодернизм.

Поэтому так безотраднa картина современного искусства. Но, хотя совершенно невозможно в рамках этого сообщения вдаваться в разбор литературных течений и имен, было бы черной читательской неблагодарностью, зная, что Пастернак сам назвал стихотворение «Сказка» «версией, принятой в духовных песнопениях, исполнявшихся русскими менестрелями»⁴⁰, не вспомнить «Старые песни», «Варлаама и Иосафа», «Элегии» и всю одинокую работу Ольги Седаковой.

Но не только художникам оказалось трудно понять, что «все стало прошлым». В жизни самого общества «Доктор Живаго» произвел глубочайшее обновление и раскол. Мы говорим о литературе, и в этих рамках следует оставаться, но к концу этого сообщения я позволю себе перестать делать вид, что только о ней и думаю, и сказать несколько слов «о человеческом», то есть о тех, для кого, как сказал М. К. Поливанов, влияние «Доктора Живаго» стало формообразующим.

³⁸ ДЖ, с. 92.

³⁹ «Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять пред нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, несслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней.

Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они, и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность... Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит» (в кн. Б. Пастернак об искусстве, с. 349).

⁴⁰ ДЖ, с. 725.

Это влияние сказалось в том, что множество мыслящих людей (и в их числе те, о ком я могу сказать — «мы», «наши», «родители», «родичи», «друзья») приняли церковность как форму выражения нашей сокровенной свободы. Не как по тем или иным причинам полезное для души рабство, но — ровно наоборот. Это было очень трудно. Мы привыкли к *другому* богословию. (Попытаюсь объяснить, что я подразумеваю, очень условно, под другим богословием. В наше время внутри христианства существуют, говоря очень грубо, два богословия. Одно, самый яркий представитель его — Борис Пастернак, утверждает, что христианство — это дар жизни. Другое — несет в себе ненависть к творению.)

Другое богословие, то есть «земские ярыги», обнесло Церковь стеной религий гораздо более толстой и непроницаемой, чем «Отца и Мастера тоски»⁴¹. Ненависть к культуре оно преспокойно выдает за любовь к истинно-христианскому искусству, при этом бездарность сходит за смирение и нигилизм за мудрость. А гностическое мироотрицание и эгоистический страх перед жизнью и свободой предстает в обличи строгой аскетической духовности и возвышенного отказа от своеволия.

Поэтому, я думаю, и сейчас «Доктор Живаго» и все творчество Пастернака воспринимается не только как «нормы нового благородства», но и как охранная грамота всем, живущим в Церкви *свободой*.

Я осмелюсь в заключение выразить наше отношение к Борису Леонидовичу слегка измененными словами Писания: «Если для других он не апостол, то для нас апостол, ибо печать его апостольства — мы все».

Ноябрь 1998 — март 1999, Москва

⁴¹ См. Б. П. т. 1, с. 97.

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ ¹

Заголовок заставляет думать об опыте футурологии. Ближайшим образом это название обозначает просто мое путешествие из России в Австрию. С апокалиптической почвы я перенесся в страну, которая уже не ставит себе планетарных задач, ни даже негативно в форме уничтожения целого мира, если этот мир посягнет на суверенитет страны.

Суверенитет часто стоит рядом с независимостью. По-настоящему абсолютные суверенитет и независимость сейчас реально невозможны и любая страна должна идти на компромиссы. Решающим однако остается написанное на знаменах, а на них современные государства пишут опять же суверенитет и независимость.

И вот, мы имеем право отказать государству новоевропейского типа как географическому, демографическому и экономическому предприятию в безусловном суверенитете. В качестве участника мировой экономики всякое государство должно отвечать необходимым условиям, при которых только и возможно человеческое хозяйствование на земле. Например, национальная экономика ответственна за вызванное промышленным ростом планетарное изменение климата.

Но иначе обстоит дело с государствами, делающими так или иначе заявку на мировое господство! Естественно, такие с самого начала встречают величайшее сопротивление, но их замысел не может считаться абсолютно неприемлемым, причем по двум причинам. Во-первых, теоретически абсолютное мировое государство (здесь уже не нужно говорить суверенное) не только вполне мыслимо, но и желательно. Мы спокойно соглашались, когда Данте в своем трактате «О монархии» настаивает: *Totum humanum genus ordinatur ad unum, ergo ad bene esse mundi necesse est Monarchiam sive Imperium*, весь род человеческий устроен единым, поэтому для благополучия мира необходима монархия, т. е. империя. И дальше: *Humanum genus uni principi subiacens maxime Deo assimilatur*,

¹ Говорилось 19.п.1998 на русско-австрийских встречах в Вене.

всего совершеннее род человеческий уподобляется Богу, когда подчиняется единому началу.

Нетрудно видеть, что государство как политико-промышленное предприятие, занятое географическим пространством, населением, продуктами земли и ископаемыми, должно натолкнуться на естественные границы, когда пространство становится тесным, население усталым, природные богатства скудеют. Сокращение возможностей нисколько не уменьшает задачу защиты суверенитета, наоборот, делает ее настоящей и тяжелее по мере того как соседние суверенные государства делаются ближе и скуднее. Для всемирного государства в смысле Данте этот тупик не существует, оно не должно опасаться соседей и его некому втянуть в материальную борьбу. Его главное дело станет другим. *Proprium opus humani generis est actuare totam potentiam intellectus possibilis, per prius ad speculandum. Quemadmodum in homine particulari contingit quod sedendo et quiescendo prudentia et sapientia ipse perducitur, patet quod genus humanum in quiete sive tranquillitate pacis ad proprium suum opus liberrime atque facillime se habet*, собственное дело рода человеческого в том, чтобы задействовать всю потенцию возможного интеллекта, прежде всего для созерцания. Как частному человеку случается, усевшись и успокоившись, следовать благоразумию и мудрости, так человеческий род в тишине и покое мира всего свободнее и проще располагается к своему делу. Собственную задачу соединенному человечеству ставит философская поэзия.

Рядом с этими теоретическими соображениями в пользу мирового государства за него говорят исторические и цивилизационные примеры греков (Александр Великий) и особенно римлян. Легитимирующую силу идеи мирового государства, пусть иногда в сбойной или негативной форме, можно было наблюдать у нас в России, в том числе в самое недавнее время, когда военные силы страны, достаточно эффективные при постановке исторических и международных задач, внешне оказывались подорваны и недействительны с утратой глобальных перспектив.

Таким образом, хотя мы тут встаем на очень спорный и конечно опасный путь, но все же приходится в каждом конкретном случае мирового размаха решать, имеем ли мы дело с притязаниями изолированного, в конечном счете нелегаль-

ного государства-предприятия или можно думать, что перед нами какая-то зарождающаяся форма мирового государства. Двоякий статус Америки в Европе и, собственно, во всем мире связан в основном с нерешенностью этого вопроса.

На противоположном полюсе, как кажется, вдалеке от всяких видов на мировое государство располагается современная Австрия. Эта страна однако никоим образом не провинция. В 20 веке австрийцы обогатили фундаментальными идеями мировую философию, музыку, языкознание, биологическую науку, математику. Несмотря на утрату прежнего военно-политического значения — *или как следствие этого* — Австрия осталась в ее современной загадочности одной из решающих перспектив мира. Обычно считается, что великим историческим силовым образованиям соответствует великая влиятельная культура. Спросим себя однако, почему она расцветает большей частью в десятилетия окончательного политического упадка и заката таких образований. Сюда относится австрийский всемирный интеллектуальный фейерверк перед первой мировой войной и непосредственно после нее.

Действительно ли великая культура всегда привязана к имперскому существованию? и угасает, когда буря и натиск, пусть спутанные и темные, сникают? Может быть, «острые ощущения» человека, за которым устроила травлю сверхдержава, сделали из меня писателя, говорит Владимир Войнович, а теперь, когда та сверхдержава резко ослабла, поблекла и литература тоже, которая сможет пожалуй возродиться с возвращением жесткой цензуры. Получается, что оптимальными условиями для писателя нужно считать камеру одиночку в тюрьме.

Связь великого государства с великой словесностью существует. Но вот что важно: успешна или не успешна государственная мощь, вблизи которой расцветает литература, для этой последней по меньшей мере безразлично! Пусть она будет даже совершенно бесперспективной. Что решает, так это веяние другого мира. Стихия тайного апокалипсиса в политике и видение мировой перемены.

Но разве политики создают этот плотный воздух вещей снов, *die dichte Luft der Träume* (Штефан Георге)? Политики редко или вообще никогда не бывают на высоте мировой монархии в смысле Данте. Политики, пожалуй, гениальные

ищейки, но настоящая принадлежность к событию мира подарена только земледельцу и поэту-философу. Политику не хватает вовсе не тонкости нюха, а скорее прилежного терпения. То, о чем однажды говорит Роберт Музиль — *«мне забрезжил закон высшей жизни, и с планом; и это значит, что в деле разбора или решения ни один момент не смеет быть пустым, ни одно связующее звено не должно быть упущено»*, — к такой тщательности политики оказываются всегда неспособны.

Время есть бытие и имеет свою историю. Моменты бердяевского прорыва требуют невероятно много от человека, требуют от него невозможного, одинаково от писателя и политика. Новый мир видят оба вдаль, но вдруг их пути расходятся, одному удастся создать мир, другому покорить его, с известным финалом. Что отличает поэта от государственного человека, это верность. Кто остается верен вещему сну, никогда не захочет стать реальным политиком. Претензия государства-предприятия иметь культуру как часть своих забот наталкивается на неприступность мира вещей снов для самих мечтателей поэтов. Можно вынудить у Ахматовой и Мандельштама оды вождю, но никогда не настоящие оды. Поэт ворует воздух.

Вся жизнь на земле складывается как продолжающаяся последовательность тайных успехов совсем другого рода чем благополучие или хорошее снабжение масс. С этой стороны театральное нагромождение кризисов в современной России не развал, а скорее его противоположность. Веет ветер высвобождения для настоящих задач. Деловой успех едва ли стоит высшего напряжения сил, не потому что кому-то удастся уйти от необходимой задачи восстановления земли или переложить ее на других, а потому что государство благосостояния новоевропейского типа *в принципе* неспособно сохранить необходимую для него технику без нарушения общего экологического равновесия. Суверенное государство этого типа оказывается не вполне легитимно. Успешные государственные образования распадаются сами, как Австро-Венгерская и Российская монархии. К сожалению, этот здоровый распад сопровождается процессами, снова втягиваемыми в узкий расчет. Шаткая реальность раздирающего мир государственного предприятия упирается в тупик — или оказывается исподволь

втянута мировой идеей. Велико искушение надеяться на плавный переход национального государства в мировое. Америка, которую Сол Беллоу назвал в одном из своих романов большим предприятием, big oragation, сейчас как будто бы близка к тому чтобы пуститься в этот водоворот, очень осторожно, хорошо наученная дурными примерами 20 века. Этот дрейф в сторону мирового государства не специфическая особенность нашей эпохи. Скорее географически очерченные национальные государства принадлежат исторически краткому периоду, теперь явно идущему к концу. Поэтому можно уверенно говорить, что успех таких государств это их распад или их поворот к миру. *Одной из* еще не вполне понятых форм этого поворота выступает странная унификация сегодняшней Европы.

Теперешнее объединение Европы не имеет настоящей экономической или политической необходимости. Большой частью искусственно выводимое основание для единой валютной системы звучит недостаточным и требует все новых объяснений. Объединение однако имеет свой затаенный мотив. Оно неудержимо идет само собой, поскольку всегда существует его латентная действующая причина, безысходность национальных государств. Мировое государство сейчас именно не существует, но тем незаметнее оно, своим отсутствием подавляет так называемые суверенные государства. Нехватка бытийного смысла раздирает общества гораздо злее чем социальные проблемы или скудость ресурсов.

Малые государства Германии или Италии вплоть до 19 века только казались политически отсталыми в сравнении с Францией, Испанией или Россией. Там правил здоровый инстинкт, нашептывавший бесперспективность национального государства. Построенное Бисмарком государственное предприятие так же инстинктивно и незамедлительно тянулось к европейским, что тогда означало планетарным задачам, и только по видимости было национальным государством, в действительности оно с самого начала ощущало себя мировым. Что у Бисмарка оставалось тайным, стало явным в энергичной транскрипции бисмарковской организационной идеи у Троцкого и Ленина.

Как бы то ни было, острота сегодняшних процессов в России показывает, по-моему, как действительно необходимо для

государственных образований с видами на мировое господство *изменение*. Брежневский проект коммунистической мировой цивилизации надломился от величия своих собственных целей. Но меньшие, национально ограниченные задачи страна не могла себе ставить из-за того же исторического инстинкта, который и Германию тоже погнал перейти непосредственно от провинциального существования к спору о целом мире.

Повсюду сегодня люди охотно говорят о своей принадлежности к Европе, хотя никто в точности не знает ни что такое Европа, ни существует ли она еще вообще как будущее. Европейская идентичность обусловлена миром, научно-техническим всемирным проектом, теперь самым важным и одновременно самым спорным моментом мировой истории. Только мировой диапазон придает теперь Европе, как впрочем было и всегда, ее конкретность.

Тогда естественно остается только узнать, что такое мир, и мы сразу начнем понимать, что ближе к миру, планетарная империя или община, остающаяся в провинции или универсальная мысль. Но стоп. Что такое мир, об этом нас не научит никакой интернет, потому что он руководствуется уже идеей *доступного* мира. Мир вся проблема философии, записал однажды Шопенгауэр.

Для Данте вся история была серией попыток объединить человечество. До сих пор всего ближе к цели подходила римская империя. Настолько счастлива была эпоха, что мир оказался в состоянии принять Сына Божия на земле. С этой точки зрения теперешние «суверенные» государства давно анахронизмы, запоздалые сомнительные или отчаянные авантюры. Они давно обречены. Упорядоченным национальным государством Россия не сможет уже стать никогда.

Но нужно различать между опьяняющим захватом, свежим ветром подлинного мира, пространство которого открывается нежданно и внезапно, как в Париже и Праге весной и летом 1968, как в России в конце августа 1991, и *неизбежной* человеческой несостоятельностью перед вызовом этих исторических откровений.

Почти всегда губительная недостаточность человеческого ответа, *даже поэтического* (я думаю здесь о судьбе «проклятых поэтов»), на вызов мира всегда бросает задним числом черную тень на исходно чистое воодушевление, загорающееся при

встрече с миром. Загадочное вдохновение августа 1914 в Германии («все стало вдруг серьезным», Гейзенберг) и в более размытых формах также в России, отчасти также в Австрии, *само по себе* было редкостной и важной встречей с подлинной глубиной человеческого бытия. Все почти мгновенно пошло кривь и вкось из-за неопытности, незнания того, что и как надо делать с проснувшейся жизнью общественного целого. Так же было и с далеким веянием немислимой свободы в России 21 августа 1991, в день мирного выхода танков из Москвы. Конечно, все тогда внезапно, буквально за часы превратилось в неразрешимую смесь глупости и хитрости. Из этого никак не следует, что подозрительным было само то первое легкое движение открытия мира.

Плотность общественной и вещественной массы, которую надо поднять чтобы впустить изначальную простоту, сегодня сильна как никогда. История 20 века хорошо научила всех тому, что прорывы нового исторического начала безнадежны или даже вредны. Но мне кажется все же важным, даже всего важнее различать между захватывающим, поднимающим веянием мира и жутью, которую мы привыкли наблюдать сразу вслед за социальными экстазами. К детским воспоминаниям замечательного историка русской культуры Юрия Михайловича Лотмана принадлежала дразнящая жуткая сцена, когда немецкая моторизованная пехота мчалась в атаку полностью вооруженная, совершенно голая на мотоциклах визжа и крича в опьянении, которое было вызвано не обязательно алкоголем. Характерным образом, хотя оценка событий войны у Юрия Михайловича могла быть лишь строго однозначной, в его описании этой увиденной ребенком сцены совершенно отсутствовало отвращение, вполне предсказуемая и политически корректная позиция для какого-нибудь Ильи Эренбурга, заранее уверенно окрашивавшего одну сторону вещей в сплошной черный цвет.

Непохоже, что Борис Пастернак однозначно осуждает доктора Живаго, когда говорит, что всей своей жизнью он должен был платить за несколько минут воодушевления. Оно было вызвано в ноябре 17 года размахом большевистских призывов ко всему миру о мире, свободе и равенстве. Рядом с этой краткой захваченностью шел конечно и испуг, и растерянность, вскоре и удивление собственной глупости. Но че-

ловеческая глупость не такая вещь, от которой обязательно всегда надо избавляться.

У Роберта Музиля, наблюдателя подобных сцен, верх брал скорее испуг. Германия в 1938 напоминает ему воодушевление августа 1914. «Жутковатое впечатление: поздно вечером полицейская машина со свастикой и поющими шупо быстро едет вниз по Курфюрстендамм. У сегодняшнего немца пугающе мало чувства реальности. Настроение опьянения победой, когда это начало работы».

Настроение опьянения как начало работы. Роман Пастернака был долгой терпеливой работой с опасным огнем. Всякий огонь сам по себе правда и заслуживает высветления. В раннехристианской литературе можно найти, что единственный грех, не имеющий прощения, это угашение духа как огня, принесенного Богом на землю.

В миру, как на пьяном пиру, говорит русская пословица; *на миру и смерть красна*. Никакой источник энергии не так жизненно важен для государственного предприятия, как огонь пробуждающегося мира. Как подъем парижской весны 1968, так русский взлет 1987—1991 годов был быстро введен в колею и использован силами организации, вооруженной всеми техническими средствами. Но грубая схема, по которой мысль и творчество входят культурной частью в современное государство, верна лишь в той малой мере, в какой всякому крупному предприятию удастся создать вокруг себя ощущение самодостаточности. Огонь, с которым работают мысль и образотворчество, используется государственными и другими образованиями всегда как подозрительная чужая сила. Создается система специальных распорядков с целью отвести опасность. Важно понять, что античный полис, средневековый свободный город и город-государство итальянского Ренессанса были ближе к энергиям мира чем современный государственный механизм.

Государственная измена, это слово не кажется неуместным, когда думаешь о мрачной хитрости, с какой новоиспеченным московским государственным предприятием в 16 веке, когда новые национальные государства на Западе тоже подавляли последние свободные города, был уничтожен Господин Великий Новгород. Предано было общественное существо, которое еще умело настроить свое восприятие на мир в его загадочной глубине. Пусть неэффективный, разнообразно ма-

нипулируемый, но по большому счету неуправляемый *тоге* еще говорил открытым голосом. Так же и теперь. Пока философия и поэзия, настоящая наука и ищущая вера упрямо пытаются в своей медлительной работе прочесть знаки бытия-времени, найти выход для жизни на планете, механическое предприятие быстро выступает вперед, чтобы со своими планетарными возможностями сделать невозможное, ошеломляющее.

Упорный отказ русских от гладкого функционирования (тот факт, что мы до сих пор по существу не приняли технику) заставляет государство-предприятие у нас спотыкаться. Издавна это подобно процессу, который на Западе ведет к ослаблению центральных режимов в пользу федерализма. В региональном, провинциальном, общинном пробует снова поднять голову мир, безнадежно потерянный на государственном и международном уровне. Перманентный кризис российского государства, начавшийся до коммунистов и даже до Петра Великого, создается неослабевающим отсутствием неизменно актуального мира, вытравленного у нас на уровне общины. Посмотрите, как интимно мы переживаем происходящее в правительстве. По сути дела никакого решения проблем мы от своего государства не ожидаем, не потому что прецеденты успешного правления в России почти неизвестны, а потому что здоровое чутье подсказывает нам, что задачи государства перетекают в нерешаемые задачи целого мира.

С этим связана подчеркнутая Мерабом Мамардашвили российская черта отталкиваться всегда от граничных ситуаций. Всякое долговечное государство стоит на какой-то своей особой добродетели, *virtus*. Такою была в Риме мужественная решимость *parcere subiectis et debellare potentes*, щадить подданных, нападая на могущественных. Несущей добродетелью русской тысячелетней истории была готовность неготовыми оказаться в крайнем положении за пределом сил и человеческого напряжения. Для Европы полярным аналогом была прусская дисциплина полной выкладки и предельного терпения, немецкая транскрипция той же добродетели, отточенная в противостоянии нашему восточнославянскому миру.

История или география причиной, мы привыкли ценить только крайние состояния. Тот же инстинкт дает о себе знать в сегодняшнем беспределе. Человек, пришедший за зарабо-

танном, остается ни с чем не потому что работодатель ненормально жаден или слишком туп чтобы понять невыгоду задержки с оплатой для него самого, а потому что политический инстинкт, русская добродетель ему говорит, что умеренность и аккуратность не пройдут и его не поймут, если он не прибавит к остроте положения, не подтолкнет к краю. Неписанный закон страны любит граничные ситуации. Пока он за работой, превращение России в рядовое государство без мировых амбиций невыносимо. Упиваясь ее нынешним упадком, новые евразийцы видят в ней планетарный организм с безошибочной стратегией неослабного осмотического проникновения, которому суждено теперь схватиться с американским промышленно-финансовым началом и в конце концов неизбежно его победить (*Т. Айзатулин, И. Тугаринов. Россия по Менделееву // Alma mater. Вестник высшей школы, 1997, 1*).

Мы давно принадлежим неписаному закону и мировому замыслу страны больше чем нации. Национальному трудно закрепиться на поверхности гладкой равнины с очень подвижным населением. Государственная или церковно-государственная принадлежность утвердилась у нас до телесной отданности, до химии и биологии, стала плотью. С ослаблением центрального начала рассыпание тела страны продолжается неостановимо, сдерживаемое только землячеством («мы с Вологды», «керженецкие староверы», «рязань косопузая»).

Племя с его привязкой к земле, земля с ее лесами, горами и реками в гораздо меньшей степени чем на Западе смогли сложиться у нас в самостоятельные голоса. Мысль и творчество в опасной мере оказались зависимы от государственного предприятия, привязаны, обычно отрицательно, к его задачам. Свободные прорывы мира в еще большей степени чем на Западе подавлялись государственной машиной. А она, мы сказали, бесперспективна как суверенная держава перед скрытой или явной мощью мирового государства, все равно, существует оно или нет! Либеральные проекты демонтажа государства в пользу общины не учитывают, что отношения между человеческой массой и землей уже давно невыносимы без организованной промышленности. Россия с ее плотностью населения в десять и двадцать раз меньшей, чем на Запад и на Восток от нее, чудом остается одной из немногих стран мира, где пол-

ный распад промышленности еще не будет означать окончательной катастрофы.

В этом плане последние российские кризисы можно рассматривать как упражнения в выживании, фактор долгосрочной стабильности. Резко сокращенное финансирование культуры задело большей частью только подсобные области идеологии. Ничуть не меньше чем раньше, нисколько не задета ослаблением государства, скорее даже с новой, неизвестной силой продолжается поэтическая, музыкальная, философская мысль восточноевропейской равнины.

О. СЕДАКОВА

ДОЖДЬ

— Дождь идет,
а говорят, что Бога нет! —
говорила старуха из наших мест,
няня Варя.

Те, кто говорил что Бога нет,
ставят теперь свечи,
заказывают молебны,
остерегаются иноверных.

Няня Варя лежит на кладбище,
а дождь идет,
великий, обильный, неоглядный,
идет, идет,
ни к кому не стучится.

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗ НАСТОЯЩЕГО

*Ольга Александровна Седакова
Владимир Вениаминович Бибихин
Анна Ильинична Шмаина-Великанова
Анатолий Валерианович Ахутин
Александр Кузьмич Вустин
Сергей Сергеевич Хоружий*

Редактура,
художественное оформление
и макет *А. В. Иванченко*
Корректор *О. Е. Лебедева*

Оригинал-макет представлен издательству авторами

Подписано в печать 12.02.2000. Формат 84 × 108/32
Гарнитура «Гарамон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,0
Тираж 3000 экз. Заказ 10

Издательство гуманитарной литературы
(лицензия ЛР № 062452 от 24 апреля 1998 г.)
127049, Москва, Крымский вал, д. 8

Типография ООО «Пандора-1»
107143, Москва, Открытое шоссе, д. 28

Замеченные опечатки

На стр. 62 пропущена последняя строка:
цы Писания о противоположном их отношении (Быт 2, 7).

На стр. 63 пропущена последняя строка:
ний (Сахаров). Письма близким людям. М.: Отчий дом, 1997, с. 54.

...в России все, не только ученые и поэты, но и монахи-затворники, служили России. И вот что удивительно: страна, которой все ее жители так самозабвенно служат, отложив прочее на потом, находя в этом свое первое и священное призвание, должна была бы стать самой счастливой, самой ухоженной страной в мире! И что же: там, где философ занят истиной, а не Германией, или живописец — светотеневыми эффектами, а не Францией, и никто не клянется, что и себя, и дар свой, и деток — как в сказке «Тараканище» — принесет в жертву Родине, там и страна получается покрепче и поопрятнее... Господа! друзья! Вы не заметили? что-то не так вышло у нас с этим служением...

О. Седакова

ISBN 5-87121-023-6



9 785871 210239